

АРТИКЛЫ

Израильский литературный
журнал

АРТИКЛЪ



№ 24

Тель-Авив

2023

מעלות
המרכז למורשת יהדות ברית המועצות

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Нателла Болтянская. Машины настурции.....	4
Элла Митина. Камера.....	32
Рена Арзуманова. Самый лучший папа.....	68
Элишева Яновская. Фридучча.....	85
Элина Свенцицкая. Крик птицы (два рассказа).....	88
Александра Ходорковская. Дедушки (два рассказа).....	99
Ирина Лемешева. Человек с попугаем.....	103
Давид Маркиш. Сага о лошади Пржевальского.....	110
Алексей Слаповский. Польза и вред прогулок на свежем воздухе.....	117
Иван Давыдов. Вернуться.....	135
Яков Шехтер. Работа для неграмотного.....	157
Михаил Юдсон. Остатки.....	166

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Этгар Керет. О дядях и чертях (два рассказа).....	171
Рои Ешурун. Overqualified	198

АРФА И ЛИРА

Произведения современных азербайджанских авторов

Этимад Башкечид. Инта.....	182
-----------------------------------	-----

ПОЭЗИЯ

Катя Капович. В саду Семирамиды	197
Елизавета Михайличенко. Военно-эмигрантское разных лет.....	202
Ирина Маулер. Душа.....	207
Елена Митрохина. Кофе.....	212
Дина Меерсон. Война затяжная.....	215
Дина Березовская. По дороге на Арад.....	219
Бахыт Кенжеев. Стихи разных лет.....	223
Дмитрий Быков. Белая полоса.....	230

Владимир Друк. Пособие как выйти из ужаса.....	240
Феликс Хармац. Этот мир еще сгодится.....	248
Владимир Ханан. Меж двух несхожих родин.....	255
Алексей Сурин. Памяти отца.....	262

НОН-ФИКШН

Наталья Громова. Хроники беглого литератора.....	266
Давид Шехтер. Президент говорит.....	281
Михаил Черейский. Не судьба.....	291
Михаил Копелиович. К столетию Бориса Чичибабина.....	296

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Андрей Зоилов. Удивительная книга для особенных евреев.....	300
Дневник событий русско-израильской литературы. октябрь-декабрь 2022.....	304

СТИХИ И СТРУНЫ

Чуть-чуть надежды.....	318
-------------------------------	------------

БОНУС ТРЕК

Александр Кабанов. Двойники.....	320
---	------------

На титульной странице картина «Военный ангел» Элишевы Несис (Елизаветы Михайличенко).

ПРОЗА

Нателла Болтынская

Мамины настурции

1.

Каблучки фрейлейн Матильды звонко цокали металлическими подковками, оповещая о ее приходе заранее. Секретарь Эрнста Лейтца вошла в кабинет Макса, формально стукнув костяшками пальцев о косяк открытой двери.

– Герр Лейтц хочет вас видеть.

– Секунду, я соберу чертежи последней модели. Правда, это еще только черновики...

– Не нужно. Он ждет вас прямо сейчас.

Матильда отобрала бумаги, которые Макс поспешно сгреб со стола, и подтолкнула его к выходу. Макс удивленно повернулся к ней. Раньше она никогда не допускала подобных вольностей. Впрочем, ее лицо с идеально накрашенными губами было безмятежным.

Макс обожал своего шефа настолько, что Митци его дразнила: «Этот человек всегда будет на первом месте в твоём сердце. И, пожалуй, мне повезло быть второй, сразу за ним».

Герр Лейтц попросил Матильду принести кофе.

– Мне без сахара, Макс, у него любимую детскую бурду.

Он помнил, что Макс любит именно такой: сладкий и почти белый от молока. А вот его собственное «без сахара» было неважным признаком: герр Лейтц предпочитал кофе с кусочком сахара. Но не разрешал себе этого баловства, будучи в скверном настроении. Хотя какое могло быть другое настроение у приличного человека в Германии тридцать третьего года?

Лейтц говорил раздраженно, словно ругал Макса. И тот прекрасно понимал, что это ерунда. Он недоволен не Максом. Он в бешенстве от того, что творится вокруг.

В начале апреля был первый бойкот – еврейские магазины блокировали, по улицам маршировали бравые

молодцы с плакатами «Немцы! Защитите нацию! Не покупайте у евреев!». Кажется, в Киле до смерти избили владельца кондитерской, пытавшегося прогнать подвыпившую шпану от своего магазина.

Позже из университета уволили группу преподавателей-евреев. Потом настала очередь врачей. Затем вышел закон о чиновниках неарийского происхождения, которых отправили на пенсию, что на фоне предшествовавших событий казалось прямо-таки либеральной акцией.

В Вецларе пока было почти тихо, но это ненадолго.

Отец Макса еще в прошлом году говорил о переезде в Вену, он даже переписывался с одним из своих коллег и вроде бы нашел профессорскую ставку в Аграрном Университете Вены. Якоб Леви был чрезвычайно умным человеком. Наука – наукой, но она далеко не всегда приносит деньги. До войны семья Макса владела несколькими домами и винодельней. В самые тяжелые времена, когда деньги стремительно обесценивались, Якоб Леви вложился в акции «Leitz AG» и не прогадал.

Компания семьи Лейтц еще с прошлого века была не только главным предприятием города, но и всемирно известной торговой маркой. Макс пришел туда работать, закончив факультет точных наук Мюнхенского Университета. И дело было не только в том, что Леви-старший являлся акционером концерна. Макс, единственный из всей группы, нашел самое остроумное решение тестовой задачи, которую им предложил лично Большой Эрни, владелец корпорации.

Тема отъезда вяло обсуждалась вечерами. У Макса окончательной позиции не было: с одной стороны, он чувствовал надвигающуюся опасность, с другой – ему нравилось работать с Большим Эрни, он ощущал себя частью мозга компании. Шеф не скупился на похвалы, да и зарабатывал Макс очень достойно.

Митци как хорошая жена готова была к любому решению мужа. Она выросла в двуязычной немецко-английской семье. Уж она-то без дела не останется – отличная машинистка-стенографистка с опытом работы и по-немецки, и по-английски.

Мать была однозначно против, она забирала свою чашку чая и уходила за столик возле окна, к настурциям. Фрау Леви всегда говорила, что это единственные члены семьи, которые никогда ее не огорчали. Да-да, она воспринимала их, как живые существа, разговаривала с ними, жаловалась

на проступки домашних. Они в ответ цвели таким пышным цветом, что, по общему мнению соседей, были главным украшением улицы.

Отец неоднократно возвращался к этому разговору, каждый раз всё с большей паникой в голосе. В начале июля он неожиданно умер во сне. И после его смерти, по молчаливому запрету матери, тема больше не поднималась. Но Макс находил всё больше резонов поступить так, как предлагал отец. А Митци была уже на третьем месяце беременности.

Лейтц сел не за письменный стол, а в угол у чайного столика, смотрел в окно и крутил в пальцах остро заточенный карандаш. Макс однажды, в самом начале своей работы в концерне, жестоко опозорился. Лейтц неожиданно нагрянул к нему в кабинет, что-то спросить. Увидел разбросанные по столу карандаши, достал из кармана красивый инкрустированный перочинный ножик и, ни слова не говоря, заточил их все до остроты швейной иголки. Максу стало ужасно стыдно, и с тех пор ни один карандаш на его столе не мог бы вызвать неудовольствия герра Лейтца.

К стеклу снаружи прилип мокрый красный кленовый лист, словно растопыренная окровавленная пятерня. Сентябрь в этом году был холодный и дождливый. Молчание затягивалось. Наконец герр Лейтц оторвал взгляд от пятерни в окне и заговорил:

– Дела неважные, Макс. За неделю до своей смерти ко мне приходил твой отец. Его крайне тревожило то, что происходит вокруг. Во-первых, он хотел продать мне свои акции, поскольку с высокой вероятностью прогнозировал, что у него их могут конфисковать, поскольку он – еврей. А у меня из-за этого же могут появиться нежелательные акционеры, те самые, что конфискуют эти акции у твоего отца. Я успокаивал и отговаривал его, но прошло всего пару месяцев, а его слова всё больше похожи на правду. Второе, о чем он меня просил – помочь тебе и твоей семье уехать. Я спросил его напрямую: если всё так плохо, возможно, вы уедете вместе с ними, обеими фрау Леви? Ты талантливый инженер, я счастлив, что ты мой сотрудник, и я найду тебе поле деятельности в любом из филиалов концерна. Его инвестиции, как бы их ни оформили, позволят вам вести вполне достойную жизнь в любой точке мира. А здесь всё больше пахнет дерьмом. Герр Леви сказал, что с тобой разговаривать нужно мне, особенно,

если есть возможность сохранить сотрудничество с концерном. Что касается его самого, он-то был бы не против, но старшая фрау Леви скорее согласится погибнуть, чем расстанется со своим домом и своими настурциями. Я не предполагал, что продолжать этот разговор мне придется уже без него. Концерн, если ты не возражаешь, отправляет тебя в долгосрочную командировку в Нью-Йорк. Вместе с семьей. Ты сможешь поговорить с фрау Леви, или твой отец не преувеличивал степень ее упрямства?

Макс задумался. Конечно, авторитет герра Лейтца в его семье был непререкаем, но мама отличалась железным характером, при всем своем малом росте и застенчивой улыбке. Она станет уклоняться от разговора, даже если Лейтц явится к ним домой... Однако шеф уже всё продумал:

– Давай сделаем так. К выходным изобрази простуду и ложись в постель с грелкой в ногах. А фрау Леви попроси выгулять твою Митци в парке, обещают солнечный день. В первой половине дня, Макс.

2.

В семье всегда, даже в самые тяжелые годы, был достаток, но жили они довольно скромно. Мама готовила сама. Пока Макс был маленьким, ей помогала сестра герра Леви, незамужняя Магда. Когда Максу исполнилось двенадцать, Магда заболела пневмонией и сгорела за неделю. Тогда в дом взяли прислугу. Линда работала у них с шестнадцатого года. В апреле тридцать третьего она со слезами пришла к фрау Леви. Ее муж служил мелким клерком в мэрии Вецлара. По закону от 7 апреля все чиновники вошли в единую корпорацию, и занятие «почетных постов» стало возможным только для лиц арийского происхождения. Тощий лысый Фридрих, муж Линды, был страшно горд оказаться представителем элитной части населения. И сразу запретил жене обслуживать расовые меньшинства. Линда вздыхала, повторяла, что не знает, как они теперь будут жить, но – уволилась. С тех пор все хозяйственные заботы легли на старшую и младшую фрау Леви. Это было не сильно хлопотно, но показательно. Другой горничной искать не стали, справлялись сами.

Макс сделал всё, как договаривались, и с утра послушно потел под толстым ватным одеялом. Мать и жена вернулись с прогулки в полдень.

– Мы встретили герра Лейтца! – с порога крикнула Митци.

– Он сказал, что отправляет тебя в командировку, и Митци едет с тобой, - с нажимом добавила мама.

Макс посмотрел на Митци, та гримаской пояснила, что ничего не знает.

Потом она принесла ему ромашковый чай и коротко рассказала, что прямо на площади Шиллера возле дома они встретили Большого Эрни с дочерью. Митци несколько раз виделась с Элси Лейтц на корпоративных вечерах, и та сразу же завела с ней какой-то необязательный разговор в то время, как герр Лейтц остался беседовать с фрау Леви.

Вечером зашла мама. Она села в ногах у Макса и прямо спросила:

– Эта случайная встреча – твоих рук дело?

– Нет, – честно ответил Макс.

Мама помолчала. Потом медленно произнесла:

– Макс, я здесь родилась и выросла. Встретила твоего отца и дала тебе жизнь. Проводила Якоба в последний путь. И здесь же закрою свои глаза, когда настанет время.

Макс посмотрел на маму. Она никогда не повышала голос. И никогда не говорила с ним такими словами. В ее обычной речи не звучал пафос и не прорывалась такая холодная отчаянная решимость.

– Ты понимаешь, что с каждым днем нам остается все меньше пространства? Герр Лейтц считает, что эта командировка не только решит некоторые проблемы концерна, но и выведет нас всех из-под удара, по крайней мере, в ближайшее время.

Он очень аккуратно подбирал слова. Мама молчала. Макс подумал и добавил:

– Отец приходил к герру Лейтцу незадолго до смерти. Просил помочь нам уехать.

– Я понимаю. Но и ты пойми меня. У каждого наступает момент, когда он сам и только сам выбирает себе дорогу. Вы с Митци езжайте. Я, как смогу, навещу вас.

– Мама, ты можешь уже не выехать никуда. Они начали войну с евреями. И герр Лейтц дает нам всем шанс не становиться жертвами в этой войне.

– Макс, по-моему, ты, следом за отцом, сгущаешь краски. Тысячи евреев жили и живут здесь столетиями. Не могут же начаться погромы, как в России.

- В том-то и дело, что могут.
- Макс, это все политические игры. Я далека от них, никто меня не обидит. Позволь мне жить так, как я считаю нужным, и не дави на меня.
- Мама! – Макс сел в кровати. – В Германии евреям становится опасно. Это заметил даже нееврей Большой Эрни. В нормальной ситуации он бы просто отправил меня в командировку. А он предлагает ехать всем вместе, оплачивает все расходы. Ему ты не откажешь в наличии мозгов и чутья?
- Но я не готова никуда ехать! Я не хочу принимать решение под твоим давлением! Я понимаю, Митци – твоя жена, ты в известной степени можешь решать за нее. А за меня – нет. Я не собираюсь никуда эмигрировать.
- Речь идет не об эмиграции, а об эвакуации. До прихода нацистов мне бы и самому не пришлось в голову уезжать.
- Не ты ли собирался ехать в Берлин на третьем курсе?
- При чем тут Берлин? Я не собирался эмигрировать, пока не возникла реальная опасность. И герр Лейтц позаботился о нас.
- А герр Лейтц считает возможным указывать, как мне жить дальше?
- Он никому ничего не указывает, он просто отдает себе отчет в том, что я буду бесконечно о тебе волноваться, если мы уедем, а ты останешься.
- Не надо обо мне беспокоиться, я вполне самостоятельна. И к вашему возвращению дом будет в порядке, и горячий ужин на столе.
- Мама, может уже не быть ни дома, ни тебя! Если уж меня ты считаешь паникером, то Большой Эрни – образец спокойствия и выдержки. Без этого с таким концерном не управиться.
- Вот пусть и управляется со своим концерном. А моя жизнь — это моя жизнь.
- На следующий день Большой Эрни вызвал Макса и, посмотрев на него, сразу понял, что миссия не удалась.
- Печально. Но я, с твоего позволения, попробую еще раз.
- Макс уныло посмотрел на герра Лейтца. Плохо он знает его маму. Шеф перегнулся через стол и похлопал его по руке:
- «Нет» у нас уже есть. А впереди две недели. Бывали у меня переговоры и посложнее.

3.

Чудо всё-таки произошло. Через несколько дней они с Митци собрались за покупками. Они только свернули за угол, как возле них притормозил «мерседес» Большого Эрни. Эту машину знал весь город. Герр Лейтц подмигнул Митци и попросил Макса не появляться дома раньше, чем часа через четыре.

– Фрау Леви – крепкий орешек. Но я верю в свое обаяние.

Они вернулись даже не через четыре, а через пять с половиной часов. Мамы не было дома. Она появилась совсем скоро. Макс посмотрел на нее и решил, что она ходила на кладбище. Как выяснилось, он не ошибся.

– Будем считать, что ваш с герром Лейтцем сговор удался. Твой шеф вцепился в меня насмерть. Уговаривал, льстил, даже свозил на своем шикарном авто к могиле Якоба... В общем, договорились, что я проживу с вами, помогу обустроиться, посмотрю, как Митци справится с маленьким, даст Бог, за это время ветер унесет тучи. И мы вернемся домой все вместе.

Последующие десять дней пролетели в суете сборов. Мама упаковала совсем небольшой чемоданчик и всё причитала над своими цветочными горшками. Помощник герра Лейтца клятвенно заверил фрау Леви, что цветы будут поливать, и только теплой водой, и только под самый корень, и уберут на зиму в тепло, и всё будет хорошо....

Как Большому Эрни удалось повернуть дело с такой скоростью, навсегда останется загадкой.

Каюта туристского класса была небольшой, но зато с собственной ванной. Макс сразу предложил матери и жене разместиться на двухспальной кровати, а сам занял узенькую подвесную койку за очень условной ширмой.

Через пятеро суток они сошли с трапа в Нью-Йорке. Шею Макса оттягивал ремешок подаренной лично герром Лейтцем новехонькой камеры «Лейка».

Еще через несколько суток Макс отработал свой первый день в нью-йоркском представительстве. Америка переживала Великую Депрессию, и на фоне ее он сам был совершенно благополучным человеком.

Спустя неделю они переехали из гостиницы в съемную квартиру – две спальни, маленькая детская, кухня – гостиная и крошечный балкончик. После отмытой до блеска лестницы в Вецларе нью-йоркские заплыванные пролеты, окурки и лужи мочи привели всех трех членов семьи в ужас. Но найти приличное жилье в Нью-Йорке было не так-то

просто. Макс надеялся, что, если все пойдет хорошо, он накопит денег, найдет небольшой домик в каком-нибудь старом зеленом районе и купит машину. Он взял несколько уроков, вспомнив свои старые навыки, и довольно легко получил лицензию. Ох, не зря Митци мучила его английским чуть не с первого дня их знакомства. Митци ходила по магазинам, принесла несколько горшков с цветами, вместе с мамой планировала установить их весной на балкончике. Вокруг не росло ни деревца, правда, в нескольких кварталах от их дома располагался довольно чахлый парк. Но они вместе, в безопасности, и никто им не бросит в спину «евреи, вон!»

4.

Макс по прибытии в Нью-Йорк отправил Большому Эрни длинное письмо, в ответ на которое шеф через месяц с кем-то из новоприбывших переслал обстоятельный ответ. Он был доволен Максом и его работой в нью-йоркском подразделении. Беспокоился о настроении фрау Леви и о здоровье Митци. Обстановку в Германии коротко охарактеризовал «гроссер шайзе». Макс и сам это знал, хотя американские газеты сообщали самые разные новости. Впрочем, Макс надеялся, что у его семьи всё плохое осталось позади.

Вероятно, герр Лейтц получал информацию о Максовом житье еще от кого-то, ибо вскоре секретарь прямо с утра положила перед Максом газету с тремя отчеркнутыми объявлениями об аренде недвижимости и велела ехать смотреть, не откладывая, прямо сейчас. Посмотрев первую квартиру, он не нашел ее много лучше нынешней. Зато по второму адресу Макс увидел именно то, что рисовал для себя в качестве светлой перспективы – полдома на тихой улице. Черные прутья голых кустов под окном к весне явно обещали стать настоящим садиком. Макс опасался, что, узнав о беременности Митци, хозяйка сразу откажет, но и врать не хотел. Услышав про молодую жену, она улыбнулась и сказала, что пусть скорей нарожают ребятишек, а то в доме после отъезда ее сына стало невыносимо тихо.

Ее звали миссис Рутенберг, и она жила во второй половине дома. Вход к ней располагался отдельно, и они друг другу не мешали. Тридцать лет назад она уехала после гомельского погрома из России. Чуть старше мамы, но очень бойкая и шустрая, она говорила на идиш, иногда

щелкая пальцами и вспоминая слова. Макс обрадовался, поскольку с момента приезда в Америку мама ни с кем, кроме него и Митци, не общалась. Английский учитель она отказалась, зато с идиш проблем не возникло – это был язык ее родителей. И слушая мамины с миссис Рутенберг беседы, Макс находил, что между идиш и немецким есть немалая разница.

Миссис Рутенберг почти каждый день звала маму в гости. А то и сама заходила с еще горячим яблочным пирогом. Мама по собственной инициативе посадила цветы, и миссис Рутенберг всё время повторяла, что у нее самой не такая легкая рука на то, что растет из земли. В общем, это была совсем другая жизнь. И теплый живот Митци становился всё круглее... И хозяйка водила маму на какие-то распродажи, приносила куски мягкой фланели, и мама по вечерам шила. По ее мнению, должен был родиться мальчик.

Ханна своим появлением на свет обманула все ожидания. Митци родила легко, за два часа. Мама откровенно расстроилась, что все голубенькие кофточки и чепчики придутся не ко двору. А миссис Рутенберг посмеялась, и достала пакет с полным комплектом экипировки кричаще розового цвета.

– Час назад я совершила обмен. Вчера дочка мистера Горвица родила чудесного мальчика, хотя по всем признакам ждали девочку. Я взяла на себя смелость договориться. А ваше потрясающее рукоделие мы подарим ей, и все будут довольны.

Митци искренне считала, что этот славный дом и приветливую хозяйку им послал Бог, Макс резонно полагал, что тут не обошлось без связей Большого Эрни. Но как же спокойно было тут жить!

Маленькая Ханна исправно плакала, пускала пузыри и пачкала пеленки; впрочем, недостатка в желающих ее покачать – с тремя-то женщинами в доме – не возникало.

Сын миссис Рутенберг время от времени звонил матери, но более никак не проявлялся.

Каждое утро в семь тридцать Макс уходил на работу. Митци при содействии миссис Рутенберг нашла подработку – перепечатывала на дому монографию какого-то юриста из хозяйкиных знакомых. Пишущую машинку она купила в первую же неделю. Не сидеть же без дела. Домой Макс приходил поздно, вымотанный, но был абсолютно счастлив.

Мама гуляла с малышкой. Дела шли неплохо. Вплоть до пятнадцатого мая тридцать пятого года. Назавтра Митци исполнялось двадцать пять. Макс задумал сюрприз. Это уже было совсем по-американски, и он страшно гордился тем, что такая мысль пришла ему в голову самостоятельно.

Миссис Рутенберг идею очень одобрила. Макс хотел заплатить девочке-подростку из соседнего дома, чтобы она посидела с Ханной, а сам намеревался взять такси и отвезти всех трех дам в ресторан.

Митци отправилась укладывать дочку, и задремала с ней вместе. Макс сидел с мамой в гостиной. Убедившись в том, что Митци уже не придет, он рассказал о завтрашних планах. Она молчала.

– Мама, честное слово, мы можем себе это позволить! Должен быть настоящий праздник, мы последний раз были в ресторане четыре года назад, во Франкфурте...

– Макс... – мама посмотрела ему в лицо, и он вдруг увидел у нее в глазах какую-то ранее незнакомую жесткость. – Я хочу домой.

Макс потерял дар речи. Какое там домой? Гитлер уже рейхсканцлер, назад пути нет.

– Я всё знаю, что ты хочешь сказать. Но там мой дом. Здесь мне всё чужое, и вы становитесь чужими. Я привыкла быть сама себе хозяйкой. Помогите мне уехать.

Мама встала и с прямой спиной ушла к себе в спальню. Макс налил себе полстакана бурбона и выпил, не ощущая вкуса. Прошло, видимо, довольно много времени. Он сидел, уставившись на мокрый круг от бутылки на столе.

– Макс, почему ты не спишь? – в дверях стояла Митци.

5.

На следующий день мама не поехала в ресторан. Сослалась на плохое самочувствие, но велела им повеселиться и за нее тоже. И малышку никому отдавать на вечер не придется.

В ресторане Макс напился. Вчерашние новости очень расстроили Митци и миссис Рутенберг.

– Может быть, я с ней поговорю? – спросила миссис Рутенберг. – Она просто не представляет себе, куда она хочет вернуться. Она не видела ни одного настоящего погрома. А они не за горами.

Митци не произнесла ни слова. Уже потом, на следующий день, обычно сдержанная в своих эмоциях, жена вечером выдала ему что-то чудовищное:

– Знаешь, я целый день наблюдала за ней. Как она берет Ханну, как целует ее. Мне кажется, ей уже не нужны ни ты, ни Ханна, ни я. Она всё для себя решила. Неужели она готова бросить внучку ради своих настурций?

Макс поморщился. Всё-таки она упрощает.

– И знаешь, я еще обратила внимание, что мама ничего не ела сегодня.

На следующий день, когда Макс пришел с работы, Митци прямо с порога попросила его зайти в спальню и торопливым шепотом доложила:

– Мы сегодня поехали с Ханной в парк, звали маму с нами. Она отказалась. На всякий случай я потом проверила, кастрюля с супом до краев, как вчера, жаркое нетронуто, даже от багета не отрезано ни кусочка. А нас не было целый день, мы пришли час назад.

– Может быть, она поела у миссис Рутенберг?

– Неужели ты думаешь, я не спрашивала?

От ужина мама отказалась, сославшись на головную боль. Вечером следующего дня мама вышла из своей комнаты, когда Митци уже легла.

– Макс, ты подумал, как мне вернуться?

Макс внимательно посмотрел на нее. Щеки запали, под глазами темные круги, губы сухие, в трещинах. Вероятно, она не ела уже третий день. С утра Макс отправил длинную телеграмму шефу в Вецлар – ему просто не с кем больше было посоветоваться. Шеф ответил очень быстро. Смысл его ответа сводился к тому, что неплохо бы привязать фрау Леви к кровати, причем ненадолго; скоро эти коричневые обезьяны вообще закроют евреям въезд в страну.

Мама продолжала голодать. Макс сообщил ей, что обсуждал ее намерения с Лейтцем.

– Мне не нужна помощь твоего герра Лейтца. Я просто хочу вернуться к себе домой. Взять билет на пароход и доплыть до Бремена.

– Он не исключает, что тебя депортируют. И считает возвращение в нынешнюю Германию безумием. В самом крайнем случае, ехать в другой город, где тебя не знают.

– Макс, я взрослый человек. Я тебе всё объяснила. Если ты не хочешь мне помогать, я буду решать свои проблемы сама.

6.

За последнюю неделю Максудалось уговорить мать снять голодовку. Он долго и скучно объяснял ей, что она

просто не вынесет пяти суток плавания, если будет продолжать демарш.

Он подходил к калитке дома, когда из тени появилась тучная фигура миссис Рутенберг.

– Макси, давай зайдём ко мне.

Она принимала его по-домашнему, на кухне. Эта мера была не лишней, ибо гостиная Максовой половины дома примыкала к ее гостиной, а звукоизоляция оставляла желать лучшего.

– Я пыталась говорить с твоей матерью. Никакие аргументы не действуют. Она в самом деле не понимает, куда она так рвется. Я вижу один выход. Надо показать ее психиатру.

– Малка, беда в том, что она абсолютно адекватна. Она просто хочет вернуться до потери инстинкта самосохранения. И кроме того, что: неужели объявить ее сумасшедшей?

– Макс, если она поедет в Германию, ты больше ее не увидишь. И коль скоро она готова рисковать собственной жизнью ради старческого каприза, твой долг – помешать ей. Подумай.

В выходные они с Митци и Ханной долго бродили по мокрому парку, бесконечно перебирая варианты, и не находили ни одного. А когда вернулись, их встретила на крыльце растерянная миссис Рутенберг.

– Я ездила к парикмахеру, на обратном пути решила позвать вашу маму выпить чаю. Стучала, она не открывала, я испугалась, что ей стало плохо, а вас нет, и вошла. Она уехала.

Она протянула Максу тетрадный лист, исписанный маминым почерком.

«Я понимаю, что, скорее всего, ты просто ищешь возможность потянуть время. Я прощаю тебе этот обман. Прости и ты, я больше не могу и не хочу находиться в зависимости от вас, в чужой стране, с чужими людьми. Я всё знаю про плохие времена. Они приходят и уходят. А чувство дома не уходит никуда. Там могила Якоба. Там мои воспоминания. Я хочу туда. Не осуждай меня. Думаю, что всё будет хорошо. Но если увидеть вас еще раз не получится, примите мою вечную любовь. Мама».

7.

Макс позвонил в нью-йоркское бюро «Северогерманского Ллойда», не обнаружил матери в списке пассажиров отплывающего «Бремена», но позже – нашел ее на

отчалившем четыре часа назад «Иль Де Франс». Через пять суток она должна была сойти на берег в Гавре.

Понятно, что собраться и уехать за те несколько часов, которые они отсутствовали, было невозможно. Значит, мама готовилась к этому. Он сам открыл ей счет в банке и регулярно клал на него небольшие суммы, чтобы она не чувствовала себя зависимой от него в мелочах. Она, согласно завещанию отца, тоже была акционером «Лейки», и герр Лейтц исправно отправлял ей ее долю. Впрочем, уже ясно, что она всё спланировала, вопрос теперь, что с этим делать.

– Ты ведь не собираешься ехать следом за ней? – каким-то не своим голосом спросила Митци вечером.

Наутро Макс проинформировал о последних событиях Большого Эрни. Тот коротко ответил, что организует встречу в Гавре.

Чего Макс не знал, так это, что встречать его маму Лейтц отправит свою дочь Элси. Она и прислала днем в пятницу телеграмму в офис. «Встретила через несколько дней едем домой. Элси Лейтц».

Целый день Макс не находил себе места. Он беспокоился, как мама въедет в Германию под присмотром Элси. И ему страшно было даже подумать, что она сделала бы это одна. Да и вообще, он не понимал, как им теперь продолжать оставаться близкими людьми. Мама одним движением отбросила всё, к чему он так долго шел, чего добивался и добился. Оказывается, он ее совсем не знал. Она, всегда рассудительная и спокойная, совершила эту сумасшедшую эскападу, пренебрегая в первую очередь своей собственной безопасностью. Или она не понимает, что происходит в Германии? А главное - ради чего? Ради минутного каприза? Ради горшка с цветами в окне?

Митци стала с откровенной неприязнью реагировать на любое упоминание о фрау Леви. Макс понимал причину и предпочитал обсуждать всё, что его тревожило, с миссис Рутенберг.

– Не сердись на Митци. Она страшно боится, что ты уедешь выручать маму, и пропадешь там... – Она задумалась. – Твоя мама почему-то не предполагает, что эта ситуация возникнет, а зря. И конечно, она сделала глупость, жестокою по отношению ко всем вам.

Макс ежеминутно ждал плохих новостей. А их не было никаких. День, два, неделя. Потом – телеграмма от Элси: «Пришлось задержаться. Выезжаем Вецлар завтра».

Еще через две недели снова возникла оказия с письмом из Германии, в котором Большой Эрни сообщил, что в путешествии мама подхватила тяжелую простуду, и им с Элси пришлось остаться в Гавре еще на целую неделю.

«Волноваться не надо, там был хороший доктор. А сейчас ее наблюдает мой личный врач. Ради Бога, не совершай глупостей и не вздумай ехать следом. Я ей предлагал пожить в нашем доме на озере в Швейцарии, но нет, только домой. Несколько раз пытался донести до нее, что еврейке лучше сейчас не возвращаться туда, где ее еврейство известно каждому. Она в ответ заявила, что готова умереть, но в родных стенах»...

В этом длинном письме Лейтц, наконец, ответил на мучительный вопрос, не слишком ли много частных проблем Макса сваливается на голову Большого Эрни:

«Четыре года назад мы потеряли мою любимую жену Бригитту. Считаю, что я помогаю тебе в память о ней... Текущая диспозиция такова. Поздно вечером мы потихоньку привезли ее в вашу квартиру. Два раза в неделю Элси будет завозить ей продукты, и раз в неделю приводить нашего врача. Она уже практически здорова, но в ее возрасте лучше держать такие вещи под контролем. Проблема заключается в том, что нетерпимость в Германии растет. С апреля евреи в Германии лишены права на медицинскую страховку. Сегодня официальная версия такова – евреи Леви уехали из дома на площади Шиллера. Вот и отлично, говорят нацисты. Квартиру снимает концерн «Лейка» для своих надобностей. А если бы твоя мать вернулась открыто, то герр Ланге со второго этажа сказал бы, что в доме снова завоняло чесноком. Эта скотина теперь главный ревнитель расовой чистоты в городе. Фрау Леви знает, что ей теперь предпочтительнее оставаться в четырех стенах и даже цветочные горшки лучше держать внутри квартиры. Она считает, что долго такое продолжаться не может, а какое-то время она выдержит без проблем. И да, она просила передать привет вам всем – тебе, Митци, малышке и миссис Рутенберг».

8.

Конечно, Большой Эрни снял с Макса львиную долю забот и беспокойства. Но у него в голове по-прежнему не укладывалось, как мама могла совершить такую опасную глупость.

Спустя некоторое время от нее пришло письмо, в прежнем задушевном тоне, словно ничего и не произошло.

А в сентябре в Германии были приняты Нюрнбергские законы. Не то, что мама сильно интересовалась политикой, хотя в тридцать втором голосовала за Немецкую Демократическую Партию, и даже агитировала за нее своих приятельниц. И, наряду с еврейством, ей вполне могли припомнить эту деталь. Хотя сейчас ее словно бы и не существует: она не выходит из дома, не принимает гостей, не общается с соседями. И сколько это еще может длиться, неизвестно. И главное, ветер дует только в одну сторону.

Митци, оказывается, потихоньку изучала возможность устроиться на работу. После трех месяцев активной переписки ее пригласили в адвокатскую контору секретарем. Ханну за чисто условную доплату взяла на себя миссис Рутенберг. В июне они купили подержанный автомобиль.

Мамины письма продолжали приходиться, с теплыми пожеланиями, описаниями прочитанных книг. Внешнего мира для нее как будто не существовало. Видимо, Лейтц как-то договорился с ней, ибо ни его имени, ни имени Элси в письмах она не упоминала. Еще несколько обстоятельных отчетов Макс получил от Элси. Все в порядке, здоровье у мамы дай Бог каждому в ее-то возрасте. Пару раз Лейтцы поздно вечером увозили ее к себе в загородный дом.

В марте тридцать шестого в Нью-Йорк неожиданно приехал Гюнтер Лейтц, один из трех сыновей Большого Эрни. Он пригласил Макса и Митци в ресторан и подробно рассказал, как происходило мамино возвращение. Оказывается, с трапа она сошла совершенно больная, с высокой температурой. Элси вызвала врача в отель, и маму отправили в дорожную клинику. Она пролежала там четыре дня, за которые ее состояние значительно улучшилось. Элси уговаривала никуда не ехать, пока она окончательно не выздоровеет, но мама рвалась домой так, как будто у нее там плакали маленькие дети.

В собственную квартиру ее привезли поздно ночью. Объяснили правила безопасности. Два раза в неделю Элси появляется там с продуктами и всякими бытовыми мелочами, а раз-два в месяц заглядывает доктор Штральман. Правда, недавно его вынудили отказаться от клиники, и теперь с медицинским контролем стало много сложнее. Они не могут пригласить доктора-арийца, с большой вероятностью он или откажется, или разболтает, к

кому он ходит в этот дом с визитом. Но пока вопрос решается – Элси поздно вечером увозит маму в дом к Лейтцам, куда приезжает и доктор Штральман.

Общий фон безумия становится все гуще и плотнее. Газеты читать невозможно. На улицах маршируют и поют. Пахнет пивом, потным энтузиазмом и завтрашней большой кровью.

Полным ходом идет подготовка к летней Олимпиаде. А незадолго до зимних игр к началу февраля из газетных киосков исчез одиозный «Дер Штюрмер» с откровенно антисемитской риторикой. Лейтцы всей семьей ездили на открытие зимних игр в Гармиш и были поражены имперским размахом церемонии.

Митци толкнула Макса коленом под столом – он отвлекся от разговора. Принесли рыбу, Гюнтер заказал еще белого вина.

– Собственно, я хочу с тобой обсудить несколько кандидатур тех, кто летом поедет на Олимпиаду в качестве тестировщиков новых моделей из нью-йоркского филиала «Лейки». Это должны быть хваткие ребята, мы регистрируем их через ассоциацию фоторепортеров, и их задача – отснять не только то, что наци захотят показать, но и то, что не захотят. Последнее – очень аккуратно.

Митци внимательно посмотрела на Макса. Она поняла, о чем он думает.

Макс Леви уже год как сменил фамилию на Лайт... По словам Гюнтера, на время Олимпиады наци сами приструнили своих антисемитов... Риск, безусловно, есть, но всё же поговорить с матерью лицом к лицу крайне важно, ведь и она сама видит происходящее вокруг... А уж кто, как не он, снимет самый лучший репортаж, зная все возможности этой камеры... Во время игр в Германии будет чертова прорва народа, вряд ли кому будет дело до него и его мамы. И в Нью-Йорк они вернутся вдвоем, и больше не будет грызущего беспокойства за ее судьбу там.

– Макс, – обратилась к нему жена, – принеси мне, пожалуйста, шарф из гардероба, тут невыносимо дует.

В зале было даже душновато, но Макс послушно поднялся, и на выходе из зала оглянулся. Митци что-то настойчиво втолковывала Гюнтеру. И он хорошо знал, о чем идет речь.

Наутро Гюнтер заглянул к Максу в кабинет и предложил днем сходить вместе на ланч. И оказалось, что вчерашний разговор был только предисловием.

– Во-первых, клянусь тебе, что поднимаю эту тему исключительно по собственной инициативе, мне никто не поручал вести этот разговор, и мои родные вряд ли одобряют его, если узнают о нем. Речь пойдет о твоей матери. И мой отец, и моя сестра, они оба к ней очень тепло относятся, не только как к члену семьи перспективного сотрудника и акционера. Но – ее абсолютно нерациональное решение возвратиться в Вецлар, необходимость соблюдать особые условия – всё это создает излишний риск. Есть огромное количество тех, кто мечтает, чтобы мой отец помог им уехать из страны. И Большой Эрни может подставить плечо отнюдь не всем желающим. В то же время он и Элси тратят кучу сил и времени на, прости тысячу раз, человека, не способного оценить то, что было им получено без малейших усилий. А кроме того, дальше в стране будет только хуже, и в один прекрасный момент помощь, оказанная твоей матери, может дорого обойтись моей семье...

Макс опустил голову. Конечно, Гюнтер прав. И, конечно, ему необходимо еще раз поговорить с мамой. Глаза в глаза. И, следовательно, вчера Гюнтер попросту предложил техническое решение задачи.

Макс отметил, что Гюнтер тоже нервничает: у него порозовели щеки, он промокнул лоб платком и залпом выпил свою минеральную воду:

– Ты скажешь, что мне легко, я ничем не рискую. Но это не так. Во-первых, помочь тому, кто нуждается, и тому, кто, по сути, отвергает помощь – разные вещи. Во-вторых, с каждым днем выполнять подобные номера становится всё опаснее. И, в-третьих, мне не безразлично, что будет с концерном. Так что, давай-ка ты приедешь и попробуешь сам разобраться со своей матушкой. Папа вместе с Элси будут до хрипа утверждать, что им не составляет никакого труда поддерживать фрау Леви. Но и ты услышь мои аргументы.

– Спасибо, Гюнтер. Это справедливо, никакой обиды, и ты всё правильно разложил.

– Подумай, чем я могу тебе помочь прямо сейчас, я здесь еще неделю.

Только если связать Митци...

Паркуя машину возле дома, Макс решил пока никому и ничего не говорить.

До отъезда Гюнтера они виделись еще трижды, обговорили некоторые детали, а еще Гюнтер велел Максу

перекрасить волосы, купить очки с простыми стеклами и отпустить усы. Выполнение всех этих рекомендаций требовало все-таки открыться Митци. Макс вполне резонно нервничал и отправился посоветоваться к миссис Рутенберг. Она выслушала его, не прерывая.

– Знаешь, мой покойный муж всегда говорил, если вокруг твоего носа машут палкой, рано или поздно тебя ударят. Всё, что там, в Германии творится, просто так не рассосется. Маму нужно оттуда увозить любым способом. Пока она была здесь, ты не смог ее убедить. Вряд ли тебе удастся это сделать там. Хотя, с другой стороны, за тот период, что она там находится, евреям не стало лучше. Может быть, она это уже поняла. Но скажу тебе прямо, Митци до смерти боится, что ты поедешь вытаскивать фрау Леви и пропадешь там. И это тоже не исключено. И последнее – в словах твоего Гюнтера мне слышится вот что: если Лейтцы по той или иной причине больше не смогут ей помогать, будет совсем худо. И он призывает тебя к этому подготовиться, сам или по поручению своего отца... Я не знаю твоего босса, по твоим рассказам он очень хороший человек, но не всесильный.

– Вы изложили равное количество «за» и «против».

– Я не ставила своей задачей убедить тебя в чем-то. Да и шел ты ко мне не за этим. Ты уже всё сам решил, а от меня ждешь помощи и совета, как преподнести эту пилюлю Митци.

Переговоры с Митци стоили нервотрепки им обоим. Один раз Макс даже впервые за всю их семейную жизнь, хлопнув дверью, ушел из дома. Миссис Рутенберг со своей стороны вела агитацию в его отсутствие. Наконец, жена сдалась.

9.

Макс с любопытством оглядывал приближающийся берег. В последний раз он был в порту Бремерхафена пять лет назад, когда Лейтц взял его с собой на деловую встречу.

Их было три представителя американского филиала концерна. Двое остальных – Гюнтер об этом позаботился – были из Чикаго и Лос-Анджелеса. Макса они увидели накануне отъезда впервые, и ничего о его немецком прошлом не знали.

Формальности длились довольно долго, Макс опасался, что в какой-то момент его узнают. По новым документам, полученным опять же с помощью Гюнтера, он был на три года старше, чем на самом деле, родился и вырос в

Детройте. Впрочем, офицеру, похоже, хотелось просто поболтать и рассмотреть знаменитую камеру «Лейки», счастливыми владельцами которой были все трое приезжих.

По договоренности с Гюнтером, Макс ехал вместе с коллегами прямо в Берлин.

Такого размаха Макс даже не предполагал. Идея с эстафетой олимпийского огня была великолепна, открытие – помпезным. За церемонией наблюдали двести тысяч зрителей. Если бы не вскинутые в нацистском приветствии руки, могло бы показаться, что всё прекрасно, и никакой опасности нет, и он по-прежнему гражданин этой страны... Трибуна прессы находилась совсем близко от центральной арены. Макс щелкал фотокамерой. Неожиданно он увидел неподалеку Гюнтера, который подмигнул ему, но не подошел и даже не помахал рукой. Так они и договорились заранее.

В четыре часа дня они вернулись в отель – переодеться к вечернему приему, на который они получили официальные приглашения. Портье окликнул их, передав телеграмму из центрального управления концерна, которая предписывала Лайту немедленно выехать на вокзал и прибыть для участия в тестировании новой модели. Всё шло по плану.

– Мне предстоит тяжелый уикенд. Мистер Лейтц явно не член нью-йоркского профсоюза, – пошутил Макс, прощаясь с коллегами. – Он намерен выжать из меня все соки прямо завтра, а к понедельнику вернуть меня сюда.

Макс вызвал такси. Джим Спенсер из чикагского отделения вышел его проводить. Садясь в машину, Макс увидел в глубине салона Гюнтера. Такси остановилось на тихой улочке Шарлоттенбурга. Они вышли и пересели в отнюдь не новый, но ухоженный и блестящий БМВ.

– Если бы ты знал, какой дубиной меня бил по голове Большой Эрни, узнав о нашем заговоре, – улыбнулся Гюнтер. – Как настроение, мистер Лайт?

Они подъехали к дому на площади Шиллера в половине третьего ночи. За это время Гюнтер останавливался только заправить машину. Он проводил Макса до двери их квартиры и распрощался.

Они с мамой не виделись больше года. Она похудела, лицо ее стало бледным, кожа словно истончилась. Еще бы, столько времени без солнечного луча. Она обняла Макса и заплакала.

– Как же я соскучилась...

И ни слова о том, как она сбежала из Нью-Йорка, как держала голодовку, как рискованно было Максу приезжать сюда...

– У меня как раз готово тушеное мясо.

Она отстранилась, погладила Макса по щеке и пошла в кухню. Макс обратил внимание, что мама сильно прихрамывает.

– А что с ногой, мама?

– Ну, послушай, что с ногой? Твоя мать уже старая женщина. Доктор говорит, отложение солей. Я сейчас мало хожу...

Макс понял, что ни на какие вступления у него нет ни времени, ни сил. Малодушно разрешил себе поесть, прежде чем начать разговор. И волевым усилием заставил себя начать этот разговор сразу после тарелки мяса, под рюмку коньяка.

– В понедельник я должен уже быть в Берлине. То есть, завтра ночью я уеду. И это всё время, которое у нас есть. Поэтому...

– Поэтому, – мама, улыбаясь, прервала его, – мы не станем тратить время на бесполезные аргументы. Ты ведь приехал забрать меня в Америку, верно? И ты хорошо знаешь, что я про это думаю.

– Когда ты собралась уезжать сюда, еще не было Нюрнбергских законов.

– Макс, ты так ничего и не понял. Я приехала домой. Здесь мой дом. Что касается законов, то это не имеет ко мне отношения, я не собираюсь поступать на государственную должность, и не собираюсь выходить замуж, за еврея или за нееврея. Я сделала то, что считала нужным. Равно, как и ты, уехав в Америку, сделал то, что считал нужным сделать ты.

– Мама. Давай ты дослушаешь до конца. Во-первых, я как раз женат на нееврейке и тем самым нарушаю их чертовы законы, что может вылиться в неприятности не только тебе, но и Лейтцам, которые тебе помогают. Пока нет никакой надежды на то, что ситуация улучшится, и нужно просто пересидеть этот опасный период там, где, по крайней мере, наше достоинство никто не унижает. Ты больше года безвылазно сидишь дома. И что, эти стены стоят того, чтобы твой мир ограничился только ими? А если завтра Лейтцы решат, что с них хватит забот о тебе? Ты понимаешь, что ты уже не справишься одна?

– Я прекрасно справлюсь одна. У меня есть всё, что мне необходимо, и я живу рядом с могилой моего Якоба, и я знаю, что у вас всё хорошо.

– У нас не хорошо. Мы беспокоимся о тебе. Мы переживаем, и ты не можешь не понимать этого.

– Мы пишем друг другу письма, Элси рассказывает мне, что ты успешно продвигаешься по службе. При этом я вам не мешаю, и вы мне тоже. У меня есть сложившиеся привычки, и мне поздно их менять. Что касается Лейтцев, я им безмерно благодарна за всё, что сделано для тебя, за всё, что они делают для меня, но клянусь тебе, я не потревожу их лишней раз...

С утра заглянула Элси. По словам мамы, она иногда несколько раз в день заходила просто так, чтобы создать впечатление, что в этой квартире живет именно она. Элси же по всем вопросам общается с Ланге, который теперь руководитель местной ячейки нацистов, а недавно стал управляющим домового хозяйства. Мама под каким-то предлогом удалилась к себе, и Макс на незаданный вопрос молча покачал головой. Элси вздохнула.

– Макс, конечно, это нерациональное решение. Но она приняла его в здравом уме и сама. Ты понимаешь, что мы ее не бросим. И не только потому, что отец считает тебя гением оптики.

– Прости, но, пока она знает, что вы ее не бросите, она и не изменит своего решения. Я не имею права ни в чем упрекать вашу семью, вы мои спасители. Но так продолжаться не может. Я не знаю, как ее убедить в том, что необходимо вернуться.

– Боюсь, что пока никак. И я очень сержусь на Гюнтера, что он вообще поднял эту тему. Сам бы ты на такую авантюру не решился.

– Гюнтер совершенно правильно поступил. Ты пойми, это может нанести вред и вам лично, и концерну в целом.

– Макс, это смешно. Работа концерна также важна этим коричневым обезьянам, как и нашей семье. Они не станут резать курицу, несущую золотые яйца.

– Элси, ситуация ненормальная. Коль скоро мне, еврею, стало небезопасно оставаться в стране, и, спасибо герру Лейтцу, что он помог выехать мне вместе с семьей, то, следовательно, пожилой еврейской женщине тоже не стоит здесь оставаться.

– Реальность такова, какова она есть, Макс. И пока мы можем поддерживать фрау Леви, мы будем это делать, даже не сомневайся. Гюнтер заедет за тобой около восьми.

К счастью, скотина Ланге имел весьма удобную для конспираторов привычку ложиться спать очень рано, поэтому риск был минимален.

Гюнтер сначала отвез Макса к Большому Эрни. Тот мало изменился за последние три года, что они не виделись. Тот же острый взгляд и быстрые движения. Хотя, приглядевшись, Макс заметил и напряженную морщину между бровями – раньше ее не было, – и еле заметное дергание левого угла рта. Похоже, герр Лейтц постоянно находился в нервном напряжении.

И снова Лейтц приготовил Максу королевский подарок. Он всё понимал и тоже не хотел опускать руки. И понимал, что Макс, несмотря на постоянную и сердечную помощь Лейтцев, все равно станет беспокоиться за мать.

– У меня сейчас есть временная позиция в Базеле. Там проект не больше, чем на два года. Но ситуация станет понятна гораздо раньше. Или этим придуркам надают по шее, или... или они нас всех сожрут под прокисшее пиво. По крайней мере, ты будешь недалеко, если фрау Леви образумится. Пойми еще раз, она нам не в тягость, но, во-первых, это ненормально – вдове ветерана мировой войны сидеть, как крыса в подполе, и бояться выйти на свет... Во-вторых, я сам не знаю, что с нами будет дальше. Но, пока мы в силе, ты можешь на нас рассчитывать. Ты сейчас вернись в Нью-Йорк, обсуди с Митци мое предложение и реши. Только решать нужно быстро. Я тебя беру не за красивые глаза, и не хочу, чтобы работа простаивала. Если сочтешь верным остаться в Нью-Йорке, так и будет. Но в Базеле надо начинать не позднее начала октября.

10.

Митци, как и боялся Макс, наотрез отказалась ехать в Европу.

– Рано или поздно там будет война. И я хочу оказаться от нее как можно дальше. У меня здесь работа, мне нравится жить здесь и растить Ханну. Я не буду тебя отговаривать. Может быть, я и сама бы вела себя точно так же, как и ты, если бы речь шла о моей маме, но и участвовать в этом не хочу. В конце концов, герр Лейтц сам сказал, что это временная позиция. И, я так понимаю, что ты ему нужен, то

есть, когда закончится работа там, ты получишь ее здесь или в другом месте.

Миссис Рутенберг изумленно развела руками:

– Бывают же на свете достойные люди. Я никогда не видела таких, как твой босс и его семья. Конечно, ты примешь его предложение и, не знаю как, но попробуешь повлиять на свою мать.

Через месяц началась Максова жизнь «на одной ноге». Он как никогда так много работал. Гюнтер наезжал в Базель регулярно. В первый же свой приезд сказал, что отец велел ему не высовываться пока; что обстановка в Германии мрачная; что фрау Леви здорова и упрямится, как обычно. В начале тридцать седьмого Макс всё же съездил к маме в Вецлар. Со всеми возможными предосторожностями, главной из которых был его американский паспорт. Большой Эрни вместе с Элси уехали на несколько дней в Лондон. Скорее всего, младший Лейтц именно так и подгадал Максому поездку, ибо герр Лейтц вряд ли бы одобрил подобный риск. Гюнтер встретил его во Франкфурте на своем БМВ. Разговора о необходимости влиять на маму не возникло. Они лениво пили в каком-то маленьком ресторанчике почти до закрытия, потом сели в машину. Максому было неловко даже смотреть в глаза Гюнтеру, но почему-то складывалось впечатление, что Гюнтер рад его видеть, вопреки всему.

Разговор с мамой был крайне тяжелый для обоих. Казалось, ей отказал всегдашний здравый смысл. Ее не пугала ни растущая вокруг ненависть к евреям, ни перспектива больше не увидеть сына, ни полная зависимость от семьи Лейтцев.

Гюнтер на прощанье обнял Макса, слегка стукнулся лбом о его лоб и велел не переживать. По его собственному признанию, он сам предпринял несколько попыток поговорить с фрау Леви, но без малейшего результата. Впрочем, Большой Эрни тоже уже играл в эту игру, и тоже потерпел фиаско в итоге.

Жизнь продолжалась. Дважды Макс ездил в Нью-Йорк. Соскучившаяся Митци и подрастающая Ханна ненадолго отвлекали его от постоянного беспокойства за мать. Но оно никуда не уходило. Миссис Рутенберг сломала ногу, после чего все три девушки, как он их называл, стали жить одним домом.

В последний раз он был в Нью-Йорке в сентябре тридцать восьмого. Митци повела Ханну постричься, вечером они

все вместе собирались в ресторан. Миссис Рутенберг не в первый раз заговорила с Максом, что так больше продолжаться не может. Молодой женщине нужен муж. Митци скучает без него, но в один прекрасный момент найдет себе кого-то другого. Мама тоже должна осознать, что бесконечно уговаривать ее никто не станет. Как ни больно это признавать, необходимо сделать выбор.

Макс и сам это понимал. И безжалостное утверждение миссис Рутенберг было просто отголоском его собственных мыслей на этот счет.

Двадцать седьмого октября он приехал во Франкфурт, известив Гюнтера телеграммой. Тот встретил Макса на вокзале и был явно не в духе. Макс предложил пройтись, каждая повязка со свастикой на рукаве у встречного виделась ему человеком, который, согнувшись, прислушивается к их беседе.

Гюнтер, в свою очередь, первым делом спросил, что не так у Макса, что его физиономия черна, как у негритянского победителя Олимпиады.

– Гюнтер, я просто меж двух огней. Бросить маму я не могу, как всякий нормальный сын. Но, если я буду жить за углом в ожидании, когда она примет единственно верное решение, это разрушит мою собственную семью. Я хочу увидеть Большого Эрни и попросить его прекратить помощь моей матери.

– Боюсь, с этой просьбой ты опоздал. Ее нужно было высказывать, когда твоя мать была чужим для нашей семьи человеком. Сейчас она почти член нашей семьи, и она в беде, и я буду первым, кто станет помогать ей, сколько сможет. Это чудовищно, и линейного выхода из ситуации нет... Да, моего старшего брата вызывали в гестапо на допрос по подозрению в том, что концерн дает работу нелегальным иммигрантам. И, чем хуже положение в целом, тем больше мы должны помогать фрау Леви, пока она здесь. Хотя, я не знаю, как мы будем переправлять ее за границу сейчас. Осталась буквально одна ниточка. Давай-ка мы поедем сейчас к фрау Леви вместе, и я изложу всё, что тебе неудобно ей говорить, будучи ее сыном.

– Попробуем. Спасибо тебе, Гюнтер. Ты был на стороне здравого смысла с самого начала. И все же не потерял сердца.

– Меньше пафоса, больше дела. Мы еще успеем поужинать.

На дороге в Вецлар было почему-то много полиции, машину трижды останавливали, но даже не проверили у Макса документы. Они добрались в Вецлар почти на час позже, чем рассчитывали.

Мама стала еще сильнее хромать. Запасливый Гюнтер извлек из кармана пальто армейскую фляжку и коротко изложил фрау Леви все, что столько раз говорил Макс:

– Поймите, уже сегодня вы с каждым днем рискуете не только собственной жизнью, но и жизнями членов моей семьи. Эти уроды больше не шутят. Они варят очень скверную кашу. И, если вы хоть немного готовы помочь отцу, Элси и мне, вам нужно как можно скорее отсюда уехать. Вы уже понимаете, что мы не можем отказать вам в помощи, и – уже не можем бросить вас им на растерзание. И уже многого не в состоянии сделать, как бы нам ни хотелось.

Мама молчала целую вечность. Потом опустила голову и произнесла:

– Похоже, что альтернативы нет. Особенно, учитывая новость про вызов в гестапо вашего брата Людвиг. Единственное, о чем я хочу вас попросить – пожалуйста, оставьте себе ключи от этой квартиры и пользуйтесь ею, как и сколько хотите. Каким временем для сборов я располагаю?

Гюнтер явно не ожидал столь быстрого успеха:

– Фрау Леви, давайте я завтра выясню все подробности и приеду, когда у меня будет информация. Вы помните, что нельзя никому открывать дверь и желательно не подходить к окнам.

Макс посмотрел в сторону окна, выходящего на площадь Шиллера. Оно было плотно занавешено, настурции с поникшими головками стояли на столике.

Гюнтер ушел. Мама не произнесла ни слова. Что-то потихоньку собирала в гардеробе.

Макс выпил еще полстакана и лег спать. Вряд ли Гюнтер появится с самого утра. Однако, ключ заскрежетал в замке в половине десятого утра.

– Плохие новости. Они объявили охоту на нелегальных польских эмигрантов. Под этим предлогом арестовали чертову бездну евреев. Я привез запас продуктов. Пожалуйста, не говорите громко, не подходите к окнам и не открывайте никому двери. Я не знаю, когда волна уляжется.

Заезжали попеременно то Гюнтер, то Эlsi. В одном Франкфурте задержали больше двух тысяч человек. Главное, не обнаружить своего присутствия.

11.

Эlsi открыла зонт. Она наконец-то шла на площадь Шиллера с хорошими новостями. Макс должен уехать прямо сегодня, с ним проблем не будет, у него американский паспорт. Главное – не попасться на глаза соседям, его маскировка работает разве что на расстоянии, и не пройдет с теми, кто знал его с детства. С фрау Леви они тоже нашли выход, ее необходимо вывезти из квартиры как можно скорее.

Уже стемнело, дождь усилился. Минут через пять она будет на месте, но ноги совсем промокли. В этот момент ее сильно толкнули, она поскользнулась, но с трудом удержалась на ногах. У нее вырвали из рук сумку и зонт. Порыв ветра плеснул ей в лицо водой. Через секунду на улице не было никого.

В сумке были ключи от квартиры Леви. Или вернуться в контору и рассказать отцу, или – пойти предупредить Макса и фрау Леви.

Эlsi ускорила шаг. На углу ее остановил молодой высокий полицейский:

– Фройляйн, у вас все в порядке? Мне показалось, какой-то шум...

Эlsi уже собралась рассказать, что с ней случилось, как вдруг поняла, что это нападение, и украденная в тихом и мирном испокон веков Вецларе сумка, и полицейский, которого не было рядом, когда это случилось, но который появился через десять шагов – всё это отнюдь не случайно.

– Спасибо, у меня все в порядке, вон уже мой дом.

– Боюсь, туда нельзя. Идет полицейская операция по задержанию нелегальных иммигрантов. Вы живете в этом доме?

Всё сходится. Они вырвали сумку, в дом нельзя.

– Моя фамилия Лейтц, мой отец возглавляет компанию «Лейтц». Квартиру в этом доме мы арендуем уже несколько лет. Меня знают соседи.

Полицейский что-то говорил. Эlsi пыталась обойти его, он вежливо положил ей руку на локоть.

– Фройляйн, придется немного подождать. Мы выясним все недоразумения, пожалуйста, не волнуйтесь.

Элси не могла сказать, сколько времени продолжался бессмысленный диалог с полицейским. Угол, от которого он не давал ей отойти, был прямо напротив входа в дом. Там смутно виднелось несколько человеческих силуэтов. В такое время и в такую погоду?

Внезапно дверь подъезда распахнулась. В освещенном проеме двери она разглядела еще двух полицейских. Потом вывели двоих. Это были Макс и фрау Леви. Последним в дверях появился жирный Ланге. Он что-то бормотал вслед уходящим.

12.

Их продержали ночь в каком-то дровяном складе. Было холодно, углы помещения подтекали.

Когда в половине девятого вечера в замке повернулся ключ, Макс ждал либо Элси, либо Гюнтера. Но это были полицейские. Их вел Ланге, который возбужденно говорил о том, что евреи Леви только сделали вид, что уехали, а на самом деле занимают эту квартиру нелегально и водят сюда неизвестно кого.

Бежать было некуда. Полицейские попросили его документы. Макс полез в саквояж за паспортом, но Ланге вдруг ткнул в него пальцем и заржал:

– Документы он вам какие хочешь покажет, они, жида, хитрые. Я этого еврейчика знаю с его рождения. Это сынок еврейской семейки Леви. Женат на арийке, а это, – он мотнул головой в сторону мамы, – его мамаша.

Макс не ожидал, что в Вецларе еще осталось столько евреев. В сарае их было человек пятьдесят. А он был уверен, что всех давно выжили из города. Кое-кого он знал.

Утром появились десятка полтора полицейских, выстроили всех в колонну по двое и погнали мимо площади Шиллера, мимо окна с мамиными настурциями.

Они были по-прежнему великолепны. Красные и желтые цветы в горшках с внешней стороны окна. На фоне расчерченной фахверком тусклой бежевой стены они выглядели так ярко и радостно, что старый профессор Вольдман приподнял шляпу и тихо сказал:

– Фрау Леви, ваши настурции дают ощущение той надежды, которой нам не оставил Всевышний.

Мама не успела ответить, да и не хотела ничего говорить. Она смотрела на мостовую. Больше всего она боялась встретиться глазами с ним, своим сыном Максом.

– Не разговаривать! – одернул Вольдмана идущий рядом с ним конвойный. Макс его знал. Они жили в соседних домах. Он помнил его толстым первоклассником, кормившим колбасой бездомную кошку.

Колонна сворачивала за угол. Макс еще раз оглянулся на знакомые настурции и увидел, как молодая женщина в проеме окна стала поливать цветы из металлической лейки. Это была дочка Ланге.

– Идти быстро. Не растягиваться! – приказал бывший первоклассник. Макс взял маму под руку. Она послушно ускорила шаг, но дышала всё чаще.

Камера

Сидя на полу в своей комнате, Никита в страшном нетерпении распаковывал коробку с подарком, привезенным отцом из Японии. Он надеялся, что там компьютерная игра или, быть может, видеомагнитофон, который сейчас из всего класса был только у Кривого Толика. Никита аккуратно разворачивал мягкие тряпочки, невиданные пупырчатые целлофаны, вынимал картонные перегородки, снова тряпочки, и наконец, достал маленькую стальную красавицу – видеокамеру JVC, а к ней разнообразные шнуры, микрофон, переходник и штатив. У Никиты перехватило дух, и он чуть не расплакался от счастья. Это был подарок подарков! Он знал, что камера стоит уйму денег, и не смел даже намекать на нее отцу, хотя тот и обещал на семнадцатый день рождения подарить что-то стоящее. Но видеокамеру? Только сейчас Никита понял, что именно ее он хотел больше всего. И как это отец угадал? Парень побежал на кухню, где родители, как всегда, бурно выясняли отношения. При виде сына они разом умолкли. Никита обнял отца, не в силах вымолвить ни слова. Отец похлопал сына по тощей спине:

– Надеюсь, это будет для тебя не просто игрушка, – бросил он.

Никита вернулся в комнату и вытащил из коробки толстую инструкцию. Она была написана на многих, кроме, увы, русского, языках. Читая на английском абзац за абзацем, продираясь сквозь непонятные указания, поминутно залезая в словарь и, напрягая мозги, так, что, казалось, они сейчас просто вскипят, он часа через два всё же разобрался, что к чему. Вот зуммер – он делает «отъезд – наезд»; так получаются «рапид» и стоп-кадр. Если нажать сюда – вылезает аккуратный держатель для кассеты. Красная кнопка – съемка идет; зеленая – прекратилась. Ничего сложного.

Никита обвел глазами комнату, поднес к глазам камеру и, мысленно благословясь, повернул значок на «он». В объективе появились разбросанные по полу вещи и книги, затем проплыли стол с грязными чашками, угол кровати и карта мира на стене. Последним промелькнуло окно с зеленой линиялой занавеской, за которым раскачивалась

старая береза. Никита выключил камеру и сел на кровать, не в силах унять волнение. Он бережно положил подарок на колени. Сердце колотилось, руки дрожали. Требовалось время, чтобы привыкнуть к мысли, что это чудо принадлежит ему и только ему. Теперь он наверняка единственный обладатель вещицы, которой нет ни у кого из знакомых – ни во дворе, ни в классе, ни, очень может быть, и во всей школе. Перестройка только началась, и за границу ездили еще немногие, особенно в их Брянске. Но отец теперь жил в Москве, занимался бизнесом и вел какие-то дела с японцами.

Никита снова и снова рассматривал отцовский подарок – циклопий черный глаз объектива, изящный стальной корпус, элегантную надпись JVC, которая гордо красовалась не только по бокам, но даже на оборотной стороне камеры. Держа в руках заморскую штуковину, Никита неожиданно ощутил себя особенным. Он, обычный брянский пацан, середняк, на которого не обращали внимания девчонки, тот, кто не выиграл в школе ни одного спортивного состязания и даже ни разу не съездил на море, кого самая красивая девчонка в классе однажды обозвала «бледная поганка», перестал быть заурядным никем. Он почувствовал, что теперь его жизнь станет другой, и его ждут большие перемены. Впереди открывались новые пути. Но, как сказочному герою, ему предстояло сделать главный выбор – направо пойти или налево.

Впрочем, так сформулировать свои ощущения Никита, конечно, не мог, как не мог и усидеть на месте со своим подарком. Он побежал на кухню рассказать родителям, чему уже научился, но затормозил перед стеклянной дверью. Там, в тесной кухоньке, мать молча стояла лицом к окну, и ее сутулая спина без всяких слов говорила, что она устала и разочарована в жизни, что ей осточертела бедность и ненавистен бывший муж. Отец сидел на стуле в профиль к двери. Он тоже молчал, опустив голову. По его позе было очевидно, что и он расстроен конфликтной ситуацией. На коленях отец держал большую чашку с чаем, над которой поднимался теплый пар. Замерев каждый в своей позе, мужчина и женщина выглядели, словно стоп-кадр из какого-то фильма. Никита схватил камеру и снял увиденное, назвав про себя картинку «предки прекратили скандалить». Неожиданно родители разом обернулись, стоп-кадр ожил, мать замахала руками и закричала, что ей

только папарацци в доме не хватало, а отец улыбнулся и промолчал.

С того дня Никита уже не расставался с камерой. Он снимал двор из окна комнаты, мать за приготовлением обеда, ползущего по стене таракана, подружек сестры Нинки – те всегда корчили рожи перед объективом; словом, абсолютно все, что попадалось на глаза. Но эти бытовые сцены ему быстро приелись – они казались какими-то мелкими и будничными. Хотелось снять что-то стоящее, необычное. И Никиту внезапно осенило. Он давно мечтал подглядеть за голый сестрой и узнать «как там у нее все устроено». Поэтому ему пришла в голову гениальная идея: сделать съемку скрытой камерой. Он отправился в ванную комнату, рассудив, что это идеальное место, где можно застать сестру без одежды и при этом не схлопотать по физиономии. Для камеры он нашел отличное место – полку напротив двери, около которой, понятное дело, Нинка и начнет раздеваться.

В инструкции предупреждали, что камера боится влажности, и Никита очень волновался, как бы она не испортилась. Он бережно накрыл камеру двумя полотенцами, вытащил наружу объектив, нажал на «on», и, кинув последний взгляд на сооружение, умчался в комнату. Подросток каждую минуту ожидал разоблачения, но Нинка ничего не заметила, хотя, казалось бы, появление полотенца на полках, где обычно стояли только мыло и шампуни, должно было сестру удивить. Но она, как по заказу, не обратила на них никакого внимания и преспокойно принимала душ. Это удача очень окрылила Никиту. Камера, казалось, была на его стороне уже с самой первой съемки.

Наутро, в субботу, когда в школу, слава Богу, идти было не нужно, Никита поспешил в видеосалон, чтобы переписать снятое на кассету VHS. Видака у него не имелось, поэтому пришлось посвятить в затею Кривого Толика, у которого видак как раз был. Другок Толик пришел в поросячий восторг от перспективы поглядеть «порнушку», и они, забрав из салона кассету, отправились к Кривому домой. Родители его были на даче, и друзья вдоволь повеселились, раз десять прогнав кассету с «фильмом». Там оказалось несколько отличных планов, на которых были видны Нинкина маленькая грудь и розовая попа, хотя, откровенно говоря, никаких особенно шокирующих моментов не обнаружилось: Нинка, как будто нарочно, все

время ускользала от объектива. Но дружкам и увиденного было достаточно. Толик хохотал, как сумасшедший, и его рот, скособоченный на сторону от рождения, казалось, тащит за собой в кривую линию и нос, и глаза, и щеку.

Немного придя в себя от первых восторгов, он взял с Толика клятвенное обещание никому не рассказывать о «порнофильме»: сестра училась в той же школе, только на класс ниже, и узнав, могла наябедничать матери, а та – с нее станется! – и камеру отобрать. Никита сам слышал, как мать кричала отцу, что лучше бы вместо дорогой никчемной игрушки он дал им денег. Но трепло Толик, разумеется, растрезвонил и про камеру, и про съемку Фролову с Никищукком – главным «авторитетам» в классе. Дружки серьезно занимались боксом, ездили на соревнования и плевать хотели на хилых середняков Толика и Никиту. «Фильм про Нинку» произвел на них впечатление. Возвращая кассету, амбал Фролов бросил:

– Ну, ты, блин, ваще даешь!

А Никищук, такой же амбал, только чуть ниже ростом, заржал и добавил:

– Нинка-то твоя худющая, смотреть не на что – ни титек, ни задницы.

Никита собрался было, полезть в драку, но передумал, натянуто усмехнулся и даже слабо поддакнул. Но настроение испортилось — не смог он защитить сестру, не дал отпор придурку, потому что понимал: полезет на рожон, получит по полной. Но потом мысленно послал Никищука куда подальше и с нежностью вспомнил, что дома его ждёт камера, новый настоящий друг. «Уж она-то не подведёт и не предаст», — думал он. Камера может запечатлеть ускользающий момент и сохранить его навсегда. Например, как Нинка в душе моется. Нет, камера — это сила. Настоящая, а не как у отморозка Никищука. Даст ему кто посильнее по башке — и вот уже нет ни Никищука, ни его хвалёных кулаков.

Как-то, возвращаясь из магазина, куда его послала мать за хлебом, Никита заметил рыжего, с проплешинами от боевых подвигов, кота, который подкарауливал беззаботно попивающего из мелкой лужи воробья. Он подумал, что, хорошо бы снять, как рыжий поймает и слопает воробья, хотя надежды, что коту удастся заполучить птицу, было мало. Да и наверняка спугнет он кота своим появлением. Никита встал за дерево, нацелил камеру и через мгновение стал свидетелем того, как кот таки схватил воробья,

придушил умелой лапой, и хищно скалясь, оставил от птицы только перья, лапки и клюв. Никита опять немного удивился своему везению, но подумал, что воробей, наверное, был больной и не смог вовремя взлететь. Но всё равно — это не отменяло очередной удачной съемки. Камера снова не подвела! Он погладил ее матовый корпус и бережно опустил вниз.

Через несколько дней случилась еще история. Посреди двора он застиг брачные игры двух дворовых собак. Подойдя к дворнягам вплотную, Никита, не таясь, довольно долго снимал их «любовь». Он всегда мечтал поближе рассмотреть собачью свадьбу, но ему ни разу не удавалось — собаки сразу давали дёру. А сейчас опять просто невероятно повезло. Дворовые шавки, словно не замечая оператора, закончили начатое и мирно разбежались. «Совсем совесть потеряли», — глядя им вслед, беззлобно решил он.

Толик теперь говорил, что Никита стал «крутой конкретно». Польщенный одобрением, парень продолжал поиски чего-то стоящего. Уроки были заброшены, книги, к которым он и раньше-то не питал особой любви, пылились на полке. Подросток бродил по городу с каким-то новым ощущением, которое, наверное, не смог бы описать. Но где-то внутри рождалось волнующее чувство, что благодаря своему JVC он становится сильнее, могущественнее. Впервые у него появилась мысль, что камера попала к нему в руки не просто так, что в этом есть особый смысл, который он пока не мог разгадать.

Однажды – это было перед самыми зимними каникулами, - Никита поджидал во дворе школы Кривого Толика, которого зачем-то вызвала «классная». Занятия уже закончились, и школьный двор был пуст. Только голуби шумной стайей толклись возле брошенной буханки хлеба, отталкивая друг друга. «Как нищие», – брезгливо подумал о голубях Никита. Он отвернулся от жирных птиц и принялся глядеть по сторонам. Снимать здесь было абсолютно нечего. Школа, облупившееся двухэтажное здание со щербатыми ступеньками на крыльце, была знакома и скучна до оскомины. Подросток встал со скамейки, решив немного размять ноги, и вдруг заметил, что дверь в спортзал - тот был отдельной пристройкой к школе - приоткрыта. Это было странно, потому что пять минут назад – Никита это видел собственными глазами, - физрук вышел из ворот школы и должен был, по идее, запереть

зал. «Значит, - подумал Никита, - там кто-то есть». Кто? Зачем? Он, как охотник, почуявший добычу, осторожно подкрался к двери и тихонько приоткрыл ее. Там, посреди зала, словно на театральной сцене, стояли, обнявшись, «русичка» и «физик». Легкие волосы женщины были рассыпаны по спине, и, пронизанные лучом солнца, отливали золотом. «Русичка» положила голову на грудь мужчины и, всхлипывая, что-то быстро шептала ему на ухо. Мужчина одной рукой обнимал ее, а другой гладил по голове, словно ребенка .

– Всё устроится, Аня, всё устроится, – невнятно бормотал он.

«Вот придурки, – усмехнулся Никита, – воображают, что спрятались, и никто их не увидит. И чего она носом хлюпает-то?»

Он немедленно нацелил камеру. Снять удалось немного; как только парочка разомкнула объятия, он спешно ретировался.

Никита уселся на скамейку и стал размышлять над увиденным. «Надо же, «физик»-то старик-стариком. Ему ж, поди, больше сорока, а то и полтинник, а туда же, за молоденькими... Хотя и училка тоже та ещё дрянь. Ей, — прикинул подросток, — никак не меньше тридцати, а в женатика вцепилась. Вот дура!»

Снятыми кадрами нужно было умело распорядиться. И он решил, что время на его стороне, и случай обязательно представится. И вдруг понял, чем хочет заниматься после школы. От этого озарения у него даже разболелась голова, а все предметы вокруг утратили четкость, словно были не в фокусе.

Назавтра Никита позвонил отцу и сказал, что решил поехать в Москву учиться на оператора. Отец пришел в восторг.

– Ну, ты молоток! Подарок, значит, пригодился? Как же я рад! Узнаю, что они там требуют на вступительных экзаменах, и заодно поспрашиваю, через кого можно за тебя похлопотать.

Вместе с институтской брошюрой, в которой были требования для абитуриентов, предусмотрительный отец привез и фотоаппарат: он прочел, что будущим операторам полагалось представить в экзаменационную комиссию тридцать фотоснимков. Причем самых разных – от фоторепортажей «с места события» до портретов и натюрмортов, снятых в павильоне.

Никита записался в фотокружок. Кружок находился в старом, выдавшем виды здании Дома детского и юношеского творчества, на улице Грибоедова. В том самом, куда его в детстве таскала мать, тщетно пытаясь «развить» своего мальчика, но тот отчаянно сопротивлялся и в кружки ходить категорически отказывался. У него было занятие поинтереснее. Отбрыкавшись от очередной материнской затеи, довольный Никита нырнул в свою комнату, где его ждало действительно интересное занятие. Он был готов сутками, устроившись на полу возле кровати, рисовать разнообразных чудищ, которые смахивали на доисторических динозавров, птеродактилей или жутких рыб, увиденных в «Детской Энциклопедии». Он с упоением представлял себя кем-то из этих злобных тварей, гигантским монстром с разинутой зубастой пастью и мощными когтистыми лапами, который нависает всей животной мощью над городом с его рекой и домами, над ненавистной школой и дурацким Домом детского творчества. А внизу под огромным брюхом в страхе разбегаются мелкие людишки.

Художником мальчик был не ахти каким, но некоторая способность к рисованию явно имелась: монстры выглядели весьма реалистично. Ими были разрисованы не только все альбомы, но и обычные листки бумаги, попадавшие под руку. Почему-то эти рисунки ужасно выводили мать из себя. Обнаружив очередное «художество», она хватала листок и, размахивая им, как флагом, вопила: «Вот этим тебе нравится заниматься, да? Уродов рисовать?! Чтобы самому потом уродом стать?!»

Никита, глядя в стенку, не реагировал на материнские крики и терпеливо ждал, когда мать, устало махнув рукой, выйдет из комнаты. Ему были интересны чудища, в которых были и сила, и ужас, и загадочность, а от разговоров про секции и кружки просто тошнило. Мать утешалась тем, что у нее, слава Богу, есть дочка Ниночка – золотая девочка, надежда и опора. У той и в школе хорошие отметки, и подружек полно, и спортом занимается, и даже на соревнованиях по гимнастике заняла второе место. Иногда, глядя, как ее дети собираются в школу, она думала, что Бог ей дал не просто разных детей, но совершенно противоположные личности. У Ниночки портфель собран с вечера, кофточка выглажена и приготовлена на стуле. Девочка встает пораньше, делает особую гимнастическую зарядку, каждое утро принимает душ, волосы длинные в

крепкий пучок завязывает, так что глазки ее ясные, светлые, делаются раскосыми. Личико у нее такое милое, нежное, чистое – прямо загляденье! А этот, прости Господи, похож на хорька: черты лица мелкие, нелюдимый, смотрит вечно или в пол, или в сторону. Взгляда не поймаешь. Утром его не добудишься, пока на крик не перейдешь. Учебники по всей комнате разбросаны, помятые тетради будто из помойки вытащены, все в жирных пятнах. А перед самым уходом еще вспомнит, что сегодня «эта идиотская контрольная», а он ни в зуб ногой. Как же так получилось, что они как неродные?

Мать вздыхала и думала, что ее девочка, ее любимица, конечно, в нее. Мать, в отличие от отца, института не кончила, но все же выучилась на медсестру и работает в больнице, где ее уважают и ценят. А Никита, конечно, папашин сынок – такой же бука, и никогда не знаешь, о чем он думает. Хотя после развода она и знать не хочет, что на уме ее бывшего мужа. С нее хватит – спасибо, нахлебалась. Слава Богу, что развелись. Да если б деньги не нужны были, век бы про него не вспоминала.

Но теперь мать поражалась переменам, произошедшим с сыном. Никита бегал в фотокружок с той же страстью, с какой раньше рисовал монстров. Он мчался туда после уроков, едва успев перекусить, швырнув в угол портфель. Довольно скоро Никита стал любимчиком руководителя кружка Якова Борисовича, старого хромого фотографа, который не мог нарадоваться на нового ученика. Тот посещал занятия не два, а четыре раза в неделю, пристроившись еще и к ребятам, которые занимались уже пару лет. Отец оплатил кружок до конца года, довольный, что сын не болтается по улицам и прикипел к хорошему делу. Яков Борисович, разглядывая первые же снимки Никиты, сказал, что у того «есть чутье и глаз», а для фотографа они - наиважнейшие качества. Приободренный похвалой, Никита таскал за собой не только видеокамеру, но и фотоаппарат, и снимал, снимал, снимал. Сделал портрет матери на той же кухне. Мать сидела на старенькой табуретке, в фартуке, с поварешкой в руке, будто на минутку оставив хозяйские хлопоты. Она улыбалась, но глаза были усталыми и печальными. Снимок понравился и матери, и Нинке. Яков Борисович учил, что щелкать нужно не всё подряд, а искать и находить вокруг себя интересное и важное.

– Учитесь останавливать мгновение! Оно больше не повторится, – восклицал он, поднимая вверх свой толстый палец.

Но что считать интересным? Это был главный вопрос. Никита (не дурак!), понимал, что снимки охоты кота или собачьей свадьбы вряд ли понравятся учителю.

Кружковцы знали, что во время войны Яков Борисович был фотокорреспондентом, и его снимки печатались даже в столичной «Правде». Но на войне событий хоть отбавляй – тут тебе и убитые, и раненые, и атаки, и отступления. Снимай – не хочу. А сейчас-то что? Не каждый же день землетрясения или наводнения, верно? И войны рядом нет.

– Событие, – терпеливо объяснял ученикам старый фотограф, – это не обязательно когда метеорит вам на голову падает, или вулкан извергается, или, там, не дай Бог, дом горит. Тут нужно быть везунчиком, чтобы оказаться в нужном месте в нужный час. Но что нам, фотографам, важнее всего? Слушайте и запоминайте.

Старик одергивал свой старый серый пиджак и, помолчав минуту, торжественно продолжал:

– Нам важнее всего эмоция: страх, любовь, отчаяние, тревога, надежда, разочарование. Чувства людей – вот это мы называем событием. Понятно?

Впрочем, Никита не собирался становиться фотографом. Его цель была – научиться снимать кинокамерой. С каждым днём он прикипал к ней все больше, не мог обходиться без нее. Она стала его продолжением, его душой. А фотография была вынужденной уступкой обстоятельствам.

Между тем Яков Борисович объяснил задание на каникулы.

– В городе будет много важного: парад ветеранов на площади Ленина, концерт в Центральном городском парке, много чего. Идите туда, ловите эмоции зрителей, приглядывайтесь к старикам. Морщинистые лица всегда необычайно выразительны. Не забывайте о ракурсах, снимайте с разных точек – со скамеек, ступенек, лестниц. Помните, что правильно встать – это половина успеха! И шевелитесь, шевелитесь! Не сидите, как приклеенные. И делайте дубли, как можно больше дублей. Может, пара фотографий и выйдет удачными.

Раньше Никиту в дни каникул ни на какие парады никто бы и калачом не заманил. Но на этот он пришел задолго до начала торжества – «ловить момент» и выбирать героя. День был необычно жаркий, солнце лупило с самого утра,

словно стоял не май, а июль. Ветераны явились на праздник в парадных костюмах, старых и немодных, как и они сами. Пиджаки были увешаны орденами и медалями, и переливались на солнце золотыми лучами. Лица были вдохновенными и торжественными. Старики громко переговаривались, обнимались, вразнобой пели военные песни. Никита начал потихоньку «пристреливаться». Ветераны настороженно поглядывали на молодого фотографа, который крутился под ногами и без остановки щелкал, подходя почти вплотную. Но парень сказал, что занимается в кружке Якова Борисовича, которого в городе хорошо знали и уважали, и старики успокоились.

Взгляд Никиты задержался на одном из ветеранов. Тот был, кажется, самым древним, самым немощным в этой толпе старых людей. Низенький, сгорбленный, страшно худой, со впалыми щеками и длинным носом, в нелепой огромной кепке и коротковатых брюках, он выделялся нищенской неопрятностью. На лоснящемся пиджаке не хватало пары пуговиц, манжеты брюк махрились и требовали ремонта, рубашка, кое-как заправленная в брюки, была застиранной и несвежей. Так обычно выглядят пожилые вдовцы, покинутые не только своими женами, но и равнодушными, вполне живыми, детьми.

Никита почувствовал, что нашел-таки «своего» героя. Когда заиграл оркестр и грянули ударные, бывшие воины шаркающей колонной двинулись вперед, Никита направил объектив на пожилого человека. Тот приосанился, выпрямил спину и бодро зашагал, но буквально через несколько минут беспомощно взмахнул руками и зашатался. Идущие рядом старики, охая и вскрикивая, подхватили товарища, и он безвольно повис у них на руках. Какая-то сухонькая старушка схватила Никиту за руку, мол, помогай, что тут щелкаешь, болван этакий. Но он ловко увернулся, продолжил съемку и успел запечатлеть момент, когда лицо старика посерело, голова опустилась, глаза закатились. Из толпы зрителей выбежали молодые мужчины, и с воплями «не бойсь, батя, сейчас всё будет путем» оттащили деда в тень. Подкатила карета «скорой помощи», дежурившая рядом. Санитары погрузили старика на носилки, и «скорая», включив сирену, умчала его с поля боя. Колонна ветеранов, сомкнув ряды («отряд не заметил потери бойца»), двинулась дальше.

Передохнув, Никита отправился на вокзал. Там было полно ларьков, в которых торговали «перестроечными

товарами» – заморским спиртным, сигаретами всех сортов, чипсами, жвачками и прочей китайско-турецкой ерундой. В этих маленьких зарешеченных домиках с окошками, напоминающих мини-тюрьму, сидели, как в осаде, грубоватые тетки, оборонявшие товар от голодного населения. Никита протянул деньги и попросил баночку «Кайзера» и чипсы. В ларьке, кроме продавщицы, стоял похожий на хряка «браток», крутил в руке брелок с ключами и весьма эмоционально выяснял отношения с продавщицей, смахивающей на принарядившуюся бабу-ягу. Никита взял с узкого металлического желобка свою покупку и не спеша отошел. Попивая в сторонке пиво, он думал о том, какое наступило прекрасное время: сегодня ты покупал не то, что «дают», а то, что хочется, и ни одна тварь не спросит ни паспорта, ни метрики. Плати деньги – и не кашляй. Правда, денег теперь требовалось много – всё стоило ужасно дорого, а у матери и копейку не выпросишь. Вечно скулит, что жить не на что, всегда всем недовольна, на отца бочку катит. Но если бы тот же отец не подкидывал им с Нинкой на карманные расходы, у Никиты вообще и гроша бы не было.

Никита подумал, что хорошо бы иметь много денег, с которыми любой человек совсем не то, что без них. Отец тоже, как он понимал, в золоте не купался и нефтяную скважину не открыл. Крутился, как мог, и к нему претензий не было.

«Ну, погодите – кому-то сердито пригрозил Никита, — выучусь в Москве на оператора и устроюсь на телевидение, там, поди, все бешеные бабки получают. Скорее бы школу закончить и отвалить отсюда, из этого городишки, где ловить нечего и перспективы ноль». Парень вздохнул. Только бы не завалиться на литературе, и получить какой-никакой аттестат. С литературой и русским языком была самая большая проблема, просто полный швах. Остальные предметы худо-бедно он сдаст. Но разве плохо с «литрой» во всем классе только у него? Вон Фролов с Никищуком тоже не Пушкин с Лермонтовым, но почему-то «русичка» к ним лучше относится, чем к нему. Ну да, они же спортсмены, блин, чемпионы! Им головой думать не нужно, они в нее перчатками дубасят.

Не успел он помянуть своих одноклассников, как они, словно по волшебству, нарисовались в конце улицы. Дружки шагали синхронно, в такт размахивая руками, словно солдаты в строю. Судя по большим спортивным

сумкам, перекинутым через плечо, парни шли на тренировку. Сивый Никищук что-то коротко бросил красномордому Фролову, тот кивнул, и они затормозили прямо перед Никитой.

– Слышь, ты, Никитос! – лениво процедил Никищук. - У нас тут соревнования намечаются. Надо бы снимать. Только не на этот твой отстойный фотик, а по-взрослому, – тут он метнул глазами на камеру. - На эту херовину.

– На камеру, – машинально поправил Никита и напрягся.

Сам он не раз бывал свидетелем, как эти придурки бестрепетно и деловито дубасили непокорных врагов. Но что-то ему подсказывало, что сейчас бояться не нужно. А наоборот – требовать своего, момент очень даже подходящий.

– С чего это я должен на тебя работать? К тому же за бесплатно. Нашел дурака!

– Почему бесплатно? – дружки переглянулись. - Деньги будут. Ты, главное, приходи и снимай, как надо. Мы не обидим. Зуб даю.

– Да, даю, – подтвердил Фролов и смачно плюнул через щербатый зуб на мостовую.

Никита обещал подумать.

Надо же, теперь с ним первые отморозки как с человеком разговаривают. Да еще денег предлагают. Хотя, кто их знает? Надо бы попросить залог. Да-да, именно залог. А то эти уроды наобещают с три короба, а потом камеру отнимут, и вдобавок накостыляют. Нет уж, дудки.

Никита даже поежился от такой перспективы. Он оглянулся, но неразлучные дружки давно исчезли с горизонта, унылая улица была пуста, только ветер трепал праздничные транспаранты с привычными призывами к миру во всем мире. Никто не посягал на камеру. Никита немного расслабился и вдруг понял, что Никищук с Фроловым вроде даже заискивающе с ним разговаривали, хоть и скрывали это под наглыми ухмылками. Но не заметить сего факта было нельзя. И он в который раз с благодарностью подумал об отце и его волшебном подарке. И тут же вспомнил, что обещал ему докладывать об успехах, но как-то все не находил времени. Но сейчас твердо решил, что позвонит отцу сразу, как вернется домой.

На следующий день в городском парке был концерт. Народу в летнем театре собралась уйма. Все места на скамейках были заняты. Шумно перебрасываясь веселыми

репликами, сидели взволнованные и нарядные мамы-папы, чьи дети выступали на сцене. Сидело в первых рядах и городское начальство в строгих костюмах и при галстуках, со своими надушенными и разодетыми в «номенклатурные» наряды женами. У тех особым шиком считались польские пиджаки с огромными накладными плечами, надетые на цветастые платья. Мелькали и знакомые Никите лица одноклассников и учителей. В предпоследнем ряду обнаружили и «русичка» с «физиком». Никита глянул на них и усмехнулся. «Русичка» поймала его взгляд, покраснела и слегка отодвинулась от «физика», словно ей вдруг понадобилось что-то срочно спросить у Светки Копытовой, сидящей рядом. «Какой тяжелый взгляд у этого Никиты, — поежилась Анна Михайловна. — Глядит волчком и еще усмехается. Неужели что-то знает? Нужно нам с Антоном все-таки быть осторожнее. А лучше бы вообще расстаться». Она вздохнула и поспешно повернулась к Светлане, девочке хорошей, но неразборчивой.

Никита тоже глядел на Светку. Красивая, зараза, сил нет: и грудь эта холмами выпирает из маечки, и вздернутый нос, и губки сердечком, и волосы длинные, чуть не до попы, мягкие, вьющиеся. Так бы и утонул в них. А бледно-голубые глаза с поволокой, в которых таилось какое-то туманное обещание, но которое — Никита понимал, — никогда не исполнится... Это именно Светка еще в шестом классе, под дружный гогот одноклассников, обозвала его «бледной поганкой», — когда после долгой болезни он, исхудавший, без кровинки в лице, объявился в классе. Тогда в ответ на обидную кличку он только беспомощно усмехнулся, но подумал, что еще покажет, кто тут поганка, и к тому же бледная. Но кличка прилепилась, и с этим уже ничего нельзя было поделать.

Никита обшарил Светку глазами, сглотнул слюну и вздохнул. Нет у него ни ума, ни силы, ни внешности. Он хилак и троечник. «Я ей еще покажу», — злобно подумал он, но спохватился: показывать пока что особенно нечего, а нужно было, напротив, приготовиться снимать концерт.

Кривой Толик тоже крутился рядом. Он увязался за Никитой помогать. Помощником Толик был толковым. Он притащил стул; чтобы у Никиты была более высокая точка обзора; он держал в руках камеру и фотоаппарат, пока его дружок взбирался на стул; он же отгонял любопытных пацанов, канючивших «разок подержать камеру» и «чуток

поснимать». Роль ассистента Кривой выполнял исправно и ничуть ею не тяготился. Всегда готовый услужить, он никогда не лез вперед, и свое мнение держал при себе. Теперь, когда у его давнего кореша появилась видеокамера, возросший статус друга автоматически как бы распространялся и на него. Никита уже не был «как все», а значит, и Толик себе казался не таким уж обыкновенным. Мать Толика Никиту не любила, считала его скользким парнем с червоточинной. Но Толик всегда защищал Никиту, трезво рассуждая, что вообще-то не больно многие хотят с ним, кривым, дружить. А с Никитой можно и перетереть о многом. Зря мать на него бочку катит. Тот получил в подарок камеру - и не зазнался, и даже понемногу начал учить, как правильно с ней обращаться. И у Толика уже получается совсем неплохо! Поэтому он с удовольствием бегал по поручениям Никиты. В видеосалоне переписывал отснятое на видеокассету VHS, покупал и заряжал пленку в фотоаппарат, и вообще не отказывался ни от чего. Никита не наглел – все-таки Толик его единственный верный друг и помощник, ценил Кривого и понимал, что вместе лучше и надежнее. Хотя в глубине души думал, что Толик всего-навсего при нем, а он – при своих камере и фотоаппарате; и получается, что все-таки он на голову выше своего дружка.

Никита повернулся к сцене. На ней шли последние приготовления: щуплый паренек в бейсболке козырьком назад проверял микрофон на длинной ноге, стучал по нему согнутым пальцем и хрипло бурчал «раз-раз-раз»; тетка в цветастой юбке волокла в угол сцены огромную корзину с цветами; старенькая сгорбленная уборщица домывала шваброй пол. Через пару минуты всё было закончено, и на сцену с двух сторон стали выходить дети, участники хора «Венок». Хор был местной знаменитостью. В минувшем году в Москве, на Всероссийском фестивале детского творчества, он занял первое место. Об этом, конечно, раструбили местные газеты, радио и телевидение.

Никита встал недалеко от сцены и застыл в ожидании начала. Когда дети, не улыбочивые и нарядные (белый верх, черный низ), выстроились в четыре ряда, а монументальная руководительница в сильно обтягивающей толстый зад юбке выплыла на сцену, у эстрады внезапно возник какой-то растрепанный нетрезвый гражданин. Никита немедленно перевел объектив на него. Мужик держал в руках ружье. Пьяно покачиваясь, он нацелил его

на руководительницу хора и завопил: «Сойди, тварь, вниз, а то я пристрелю на фиг и тебя, и твоих херовиков!» Женщина тоненько вскрикнула и в ужасе закрыла лицо руками. Дети с воплями разбежались за кулисы, зрители повскакивали со своих мест. Но через мгновение хулигана уже скрутили полицейские и поволокли вон из парка. Никита ни на минуту не прекращал съемку придурка с ружьем.

Позже выяснилось, что, во-первых, ружье было игрушечное, а во-вторых, что хулиган – бывший муж руководительницы хора.

Когда хор, сопровождаемый аплодисментами зрителей, снова собрался на сцене и затянул «Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко», Никита зачехлил фотоаппарат, повесил на плечо камеру, и они с Толиком, решив, что на сегодня впечатлений хватает, разошлись по домам.

На кухне Никита с удовольствием хлебал борщ, который подала мать. Подперев голову кулаком, женщина глядела на сына, без остановки орудовавшего ложкой, и думала о том, что парень ее как-то вдруг неожиданно вырос. Исчезли прыщи, которые делали совсем некрасивым его острое лицо с тонкими, вечно сжатыми губами; он перестал горбиться и затравленно озираться вокруг, ожидая очередной взбучки от домашних или учителей. Взгляд его стал жестким и даже как будто решительным. «С чего бы это? – размышляла она. — Мужиком становится, вот с чего», – сама себе ответила женщина, забрала у сына пустую тарелку и поставила ее в раковину.

Никита поднял на мать серые, как небо в хмурый день, глаза, и неожиданно улыбнулся. Мать растрогалась — не часто ей доводилось видеть улыбку на лице своего мальчика. Она обняла сына, прижала его голову к своей груди и вспомнила Никиту маленьким: как держала на коленях и целовала в щечки, а он, стервец, всегда утирался – терпеть не мог, когда целовали, даже если это мать родная. «Ничего-ничего, — ласково проговорила она, трепля непокорные, жесткие волосы сына. - Всё наладится. Всё у тебя будет хорошо, вот увидишь. Выучишься на оператора, станешь знаменитым, а мы с Ниночкой будем гордиться тобой». Никита вывернулся из-под материнской руки и, не оборачиваясь, молча ушел в свою комнату. Мать горько вздохнула и вернулась к мытью посуды.

До окончания каникул оставался один день. И он оказался для Никиты на редкость напряженным. В десять

утра в городском спорткомплексе «Юность страны» начинались соревнования боксеров. С деньгами вопрос решился самым удивительным образом. Накануне Никищук, без всяких напоминаний и разговоров про залог, приперся к Никите; прошел, тяжело топая, мимо удивленной Нинки в комнату и запер дверь «для разговора». Затем молча сунул растерявшемуся Никите пачечку банкнот, перетянутых аптечной резинкой.

– Пока так. Остальное получишь после.

Еще немного потоптался, внимательно поглядел на карту мира на стене, словно на ней отпечатался какой-то ответ, и с неожиданной серьезностью бросил:

– Там завтра солидные люди будут. Мы должны победить. И я, и Фролов. Подвести нельзя. Выиграем — получишь прибавку.

Никита кивнул, хотя про солидных людей ничего не понял. И как связана прибавка с выигрышем - тоже не понял. Его, между прочим, звали снимать, независимо от победы придурков. С другой стороны — пусть выигрывают, ведь в этом случае приплывут дополнительные денежки.

Когда Никищук ушел, он взял камеру и прижал к себе.

Обстановка в зале, где шли соревнования, напоминала гладиаторские бои. Трибуны кричали, топали ногами, улюлюкали и подбадривали своих. И победители, и побежденные покидали ринг потные, разгоряченные успехом или поражением. Никищук с Фроловым дрались, как бешеные. Видимо, их болельщиков в зале было много, потому что каждый удачный хук, каждый апперкот или свинг сопровождался неистовыми воплями на трибуне. Неистовствовали обычные «братки» — с бычьими шеями, коротко стриженные, в фирменных спортивных костюмах.

«Видать, это и есть «серьезные люди», которым нужно угодить», — подумал Никита и снова принялся бегать вокруг ринга, снимая с разных точек и ракурсов. Но и на крупных планах, и на общих было видно, что против сумасшедшего напора и шквальных выпадов Никищука и Фролова никому устоять не под силу. Даже Никита, мало что понимающий в боксе, поражался происходящему: в неоспоримой победе его одноклассников было что-то жуткое и бесчеловечное, словно большие и сильные пацаны избили беспомощных младшеклассников. Казалось, в Никищука и Фролова вселился бес, чья злая воля придала спортсменам небывалую энергию, а противников, напротив, лишила всякой способности к сопротивлению. Тренеры сходили с

ума, подстегивая своих проигравших подопечных истошными криками «Давай джеб!.. Хук делай, хук!», но всё было напрасно. Не было у этих ребят ни сил, ни воли к победе. Они дрались, как автоматы, пропуская удары, которые на тренировке с легкостью отражали. Тренер проигравших злобно глядел в сторону Никищука и Фролова, бормоча что-то под нос про допинги и проверки, которые он им устроит. Но никакие проверки ничего бы не дали. Парни были чисты и победа честной. И судья, явно поражаясь происходящему, дважды под неистовый вой трибун поднимал руки абсолютных победителей – Фролова и Никищука. Те стояли счастливые, но будто слегка растерянные, словно сами удивлялись своей победе.

Никита вышел на улицу усталый и потный. С непривычки ныло плечо, на которое опиралась камера, гудела голова. Но он был доволен – чувствовал, что снял как надо. Парень встал под круглый козырек спорткомплекса в ожидании Никищука. Подбежал и Кривой Толик. Он попытался рассказать Никите, о чем болтали на трибунах, но тот устало махнул рукой, мол, потом, дай в себя прийти.

Из зала валил народ. Люди продолжали обсуждать небывалый успех молодых чемпионов, которые, конечно, теперь «порвут всех» и в области, и даже, возможно, в стране. Время шло, Никита уже стал нервничать, как бы его не кинули. Наконец, показался Никищук, а с ним какой-то мужик — не «бык», скорее «авторитет», - в дорогом костюме, с мелким самоуверенным лицом и бегающими глазками. Оба были в хорошем настроении и о чем-то переговаривались на ходу.

Подойдя к однокласснику, Никищук похлопал его своей лапищей по плечу и сунул толстый конверт с деньгами.

– Держи, как обещал. Пацан сказал – пацан сделал.

«Авторитет» молча глядел на передачу денег. Потом протянул руку.

– Кассетку-то со съёмкой верни, – одними губами прошелестел он. - Мы на неё поглядим, и, если всё путём, получишь прибавку. И ещё работёнка будет. Тебе Серёга объяснит.

Он бросил взгляд в сторону Никищука. Тот кивнул головой, мол, есть, товарищ командир, сделаем, как прикажете.

И оба растворились в толпе.

Никита сунул деньги в карман и подозвал Толика – тот деликатно держался в сторонке. Усталость как рукой сняло.

Никиту распирала гордость. Это его камерой был снят бой и это он сам, лично, заработал солидные деньги, с которыми теперь мог делать всё, что угодно, ни перед кем не отчитываясь и никому не докладывая. Парень вспомнил о матери, которая вчера вздыхала и жаловалась, что «надо бы Ниночке купить новые туфельки к окончанию учебного года», но подумал, что не обязан кому попало давать свои кровно заработанные. Пусть сами выкручиваются.

Решили отметить первый заработок и пообедать в каком-нибудь «крутом месте». Толик предложил ресторан «Бамбук» — его вроде открыли китайцы, и там «прямо всё китайское, правда, дорогое, ужас». Никита подумал и согласился: «Бамбук» он явно заслужил.

В кооперативном ресторане «Бамбук» за столиками, негромко переговариваясь, сидели «деловые люди» города. Тридцати-сорокалетние мужчины в дорогих рубашках и туфлях, с настоящими «seiko» и «golex» на запястьях - зримыми символами успешности и благосостояния, - вели неспешные переговоры с такими же деловыми людьми, существование которых еще буквально вчера было немыслимо. В первую минуту Никите стало не по себе. Он знал, что в «Бамбуке» счет за обед мог равняться недельной зарплате его матери. Между столиками ловко сновали официанты, киргизы и казахи, изображающие «настоящих китайцев». Пощупав в кармане пачку денег, Никита расслабился, первоначальная неловкость исчезла и они с Толиком решительно уселись за столик у окна.

После сытной, но непривычной на вкус утки по-пекински с хрустящей корочкой, дружки развалились на удобных стульях и потягивали пиво. Толик тараторил без умолку. Возбужденный пряной едой, дармовой выпивкой и запахом чужих денег, незримо витавшим над заведением. Никита почти не слушал, думая о том, что сегодня, наверное, уже никуда не пойдет, что и так наснимал достаточно и что, скорее всего, Яков Борисович его опять похвалит и поставит в пример другим ребятам, потому что «событий» у него было хоть отбавляй, и снял он их очень даже прилично.

И тут внутри что-то щелкнуло, неожиданная мысль зацепила, кольнула и оформилась в удивленный возглас: «Стоп!» Именно что событий, - неординарных, из ряда вон выходящих, - было много, даже слишком много. Ему всё время везло!

Никита стал мысленно загибать пальцы. «На параде старикан грохнулся в обморок — раз, мужик с ружьем в парке — два, супер-победа Никищука с Фроловым — три. Нет, это всё не просто так! Дайте подумать!». Он даже вспотел от напряжения. Собственно, начиная с самой первой съемки, с того дня, когда он начал снимать — и Нинку в душе, и кота с его охотой на воробья, и собачью свадьбу — ему везло. Как по заказу, сестра не замечала наваленных на полке полотенец, воробей оказывался увечным, а шавки чуть ли не специально позировали перед камерой. А что, если это не совпадения?!

Никита посмотрел в окно. Там стемнело. Низкие, черные тучи предвещали близкий дождь. Ему вдруг остро захотелось побыть одному и обдумать случившееся. Перебив Толика на полуслове так, что тот даже поперхнулся, он бросил:

– Слышь, Толян, пошли домой. Устал я что-то. Да и дождь обещали.

Толик послушно кивнул, и они, расплатившись, разбежались - каждый в свою сторону.

Ночью Никита долго не мог уснуть. «Так-так-так», - шептал он, глядя в чёрную пустоту окна, за которой коротко и сильно вспыхивали кривые ветви молний. В отдалении гремел гром. Было душно и немного страшно, как в далеком детстве. Тогда грозовые ночи казались предвестниками страшной битвы, в которой Никита был чудовищем, побеждающим в схватке с целым миром. Но то были фантазии, мечты, желания, а здесь реальность, можно сказать, голые факты. «Выходит, где мы с камерой – там что-то и происходит? А что? Хорошее или плохое? Отморозок с ружьем, Никищук с Фроловым... На параде старикан чуть не помер, в обморок грохнулся».

Не приученный думать и анализировать, не желающий поделиться догадками ни с матерью, ни с сестрой, ни с отцом, который мог просто отшутиться, ни с Кривым Толиком, которого считал не шибко умным и к тому же трепачом, Никита ворочался в постели, пытаясь найти объяснение непостижимому. Он снова и снова прогонял в мозгу события прошедших дней. Нужно было непременно понять: случайны они или закономерны? А вдруг ему попалась какая-то особенная, заговоренная камера? А что, с этих японцев станется! Они же в смысле техники впереди планеты всей. Выпустили, скажем, несколько экземпляров, а отец и купил такую, сам того не подозревая.

За окном раздался удар грома, сверкнули молнии, озарившие буквально всё небо. Начался дождь, сперва небольшой, но очень скоро сильный, мощный; судя по непрерывному гулу, переросший в настоящий потоп. Ветер усилился. Вдалеке какая-то железяка громыхнула о землю. Какофония звуков за окном только усиливала страхи, словно природа предостерегала от чего-то или подавала знаки судьбы. В этот момент Никита вспомнил, как в первую же минуту обладания камерой он ощутил в груди неясное предчувствие перемен в жизни. И они, кажется, начались.

Никита посмотрел на стол, на который вечером аккуратно сложил фотоаппарат с видеокамерой. Их неясные силуэты горбились в густой тьме комнаты.

«Ну, если это не совпадение, то тогда...!» Тогда он всем покажет, кто тут «бледная поганка». Никита даже вспотел от мысли, кем он может стать со своей камерой, и какие дела может натворить.

«А вот интересно, – подумал Никита, – заметит ли что-нибудь Яков Борисович? Что скажет старый пень? Как ни крути, а у него глаз-алмаз».

Яков Борисович молча разглядывал снимки Никиты. Какие-то сразу откладывал в сторону, на других долго задерживал внимание. Потом не спеша снял свои допотопные очки, протер их полой пиджака и только после этого поднял глаза на ученика.

– Очень-очень любопытно. Весьма неплохие снимки. Снимочки, можно даже сказать, хорошие, и имеются, не побоюсь этого слова, великолепные. Ты, парень, скажу прямо, вырос сильно, молодчина. Глаз у тебя хороший, умеешь найти ракурс, да и в нужном месте всегда как-то вовремя оказываешься. Просто везунчик какой-то! Не часто такие попадаются. Н-да, не часто, а наоборот — весьма и весьма редко. Хотя, имелись у нас на фронте такие. Особенно один. Уникальный, скажу я вам, был персонаж, самый знаменитый кинооператор на фронте. Везло ему, как никому другому... Шутили даже, что камера у него особенная, заговоренная.

Никита аж вздрогнул от таких слов: Яков Борисович упомянул о том же самом! А фотограф уселся в старое кресло с плешивой дерматиновой обивкой и продолжил.

- Да-а, был такой у нас, Матвей Беленкин. Отчаянный, чертяка. Знаете, про фронтовых операторов говорили, что они снимают смерть из ада. Да они и были в аду, и снимали смерть и разрушения в самых горячих, самых опасных точках. Ну, и гибли, конечно, многие. Читал, что каждого четвертого убили. Большинство ранены. Все мы, и операторы, и фотографы, были ребятами не робкого десятка. Но Мотья был особенным. О нем на фронте ходили легенды. Где он – там всегда что-то из ряда вон происходит. Ну, например: посылает его командование снять отступление немцев, которое, по донесениям, вот-вот начнется. Но когда – может, сегодня, а может, завтра, - никто не знает. Но как только Матвей приезжает в расположение войск, так не просто отступление – начинается настоящее бегство врага. И ему удается снять и как немцы драпают, и как оружие на поле боя бросают. Эти уникальные кадры потом весь мир обошли. Про Беленкина после войны один знаменитый режиссер... Черт, забыл его фамилию... Да, так он про Матвея даже фильм снял. Но что интересно: Мотья ведь за всю войну даже ранен не был... Только всегда смеялся и повторял: «Мне умирать нельзя. Я еще должен снять, как наши красное знамя водрузят над рейхстагом». И снял-таки.

Тут Яков Борисович замолчал.

Кто-то из ребят шепотом спросил:

- Что, убили этого Беленкина?

- Да, - грустно кивнул фотограф, - десятого мая 45-го года он подорвался на mine. Жалко парня. Говорили, что, даже падая, он накрыл собой камеру – она ему была дороже жизни. Вот какие люди в то время были! А еще фотограф Сан Саныч Васин. Он тоже...

Но Никита уже не слушал. Он получил для себя самое важное подтверждение – действительно, бывают такие необыкновенные, заговоренные камеры. И раньше были, и сейчас. Редко, очень редко, но всё же бывают. Выходит, такой камерой снимаешь всё, что задумал. На фронте были сотни кинооператоров, но Яков Борисович почему-то вспоминает именно Беленкина. А то, что тот, в конце концов, погиб — так ведь война была, гибли многие. А ему, Никите, что может грозить? Да ничего. Только теперь своей удачей следует правильно распорядиться. Не растратить попусту. И, главное, постараться как следует заработать.

Тема удачи продолжилась сама собой. На большой перемене Никищук шепнул Никите, чтобы тот шел под лестницу, «перетереть тему». Там он не спеша вытащил из кармана пачку денег и протянул Никите.

– На, держи. Заслужил. Тут, как его? Типа, бонус. Валерий Степаныч передал. Ему понравилось. Но теперь нужно, чтобы ты завтра пришел другой бой поснимать.

Никита пересчитал деньги и сунул в карман. Сумма была внушительной.

– А что за бой? Опять в спорткомплексе?

– Не-а. В частном спортзале. Бои без правил. Только для своих. Валерий Степаныч поставил на Шустрого. Если тот победит, тоже получишь бонус. Меня не будет, но я дам адрес.

Никита молча кивнул. Никищук сунул ему в руку листок, и, насвистывая, удалился.

Никита долго плутал в поисках указанного адреса на окраине города. Наконец, возле ряда гаражей обнаружился незаметный, никак не отмеченный вывеской или указателем, вход в подвал с ржавой железной дверью. Просторное подвальное помещение оказалось «качалкой» с самодельными штангами, гирями и прочим железом. Все в городе знали, что в таких подвалах тренируются бандиты, и качают мышцы, так необходимые для разборок на всяческих «стрелках». На скамьях для поднятия штанг сидели те самые бритые парни, которых Никита уже видел в спорткомплексе. На стене красовались портреты Шварценеггера с голым торсом. В углу висели боксерские груши. По ним лупили двое парней, видимо, участники будущего боя. Один более мелкий и щуплый – очевидно, Шустрый, - и другой, чуть крупнее и выше - его соперник.

Никита с опаской озирался по сторонам. Вокруг пахло потом и жестокостью. Каким бы простоватым парнем он ни был, но с бандитами дела никогда не имел. И не думал, что придется. Но отступать было поздно. Он вытер пот со лба и крепче прижал к себе камеру. На Никиту никто не обращал внимания. В этот момент в подвал не спеша спустился уже виденный у спорткомплекса «авторитет» Валерий Степанович. Его мелкое крысиное лицо было напряженным. Он оглядел присутствующих и улыбнулся, но от этого его лицо стало еще злее. «Братки» сразу повставали со своих мест, и стало ясно, что Валерий Степанович здесь главный. Он пожал руку Никите и велел начинать через десять минут.

Когда всё закончилось, Никита, страшно усталый и голодный, плелся через пустыри и сараи, мимо унылых панелек и детских площадок с разбитыми качелями, и мечтал только о тарелке супа, которую всегда оставляла мать перед уходом на дежурство. Выйдя на шоссе, парень дошел до пустой автобусной остановки, плюхнулся на холодную железную скамейку и приготовился ждать автобуса. Неожиданно из тьмы возникло такси и тормознуло перед Никитой. Курносый водитель в клетчатой кепке козырьком назад высунулся из окна и весело крикнул:

– Куда едем?

Никита секунду размышлял и, неожиданно для самого себя, приказал:

– В «Бамбук».

В ресторане теперь уже преобладали другие посетители. Откровенные бандиты и проститутки вели громкий пьяный разговор. Сигаретный дым висел в воздухе, как пар в бане, а сквозь него сновали все те же официанты-азиаты. Гремела музыка. Никита нашел местечко в самом конце зала. Официантка принесла меню, и он углубился в его изучение. А когда поднял глаза, то за столом уже сидела ярко накрашенная девица лет двадцати, с копной желтых волос.

– Чего скучаем? — жеманно поинтересовалась она и забрала у Никиты меню. - Мальчик у нас богатенький Буратинка, да? Бедные да нищие сюда не заглядывают.

Никита опустил глаза. Белая, полная грудь блондинки страшно его смутила.

– А хоть бы и богатенький. Тебе-то что? — нарочито грубо буркнул он, пытаясь выглядеть независимым.

– Хочешь вкусенького? Не дорого. Ты, небось, и не пробовал никогда. А ну, сознавайся, котенок!

И она нежно провела пальцем по его губам. Никиту бросило в жар. Удача сама шла в руки. Он мечтал, мечтал влажными, томительными ночами о такой встрече и о такой женщине – свободной, раскованной, которая без всяких уговоров сама поведет за собой и сама всему научит. Он еще никогда не был в той запретной стране, в которой, судя по глумливым и хвастливым рассказам, кое-кому из одноклассников уже удалось побывать.

– Где? – хрипло бросил он.

– Иди за мной.

Пришли в какой-то тесный чулан возле кухни, забитый полотенцами и скатертями. Анжела (так назвалась девушка) привычно заперла дверь на засов, повернулась к Никите, взяла маленькими ладошками с острыми коготками его лицо, приблизила к себе и прошептала хрипло: «Котенок, какие у тебя глазки сердитые. А мы их сейчас добренькими сделаем!» И начала расстегивать ему брюки. Снаружи загрохотала знаменитая лагерная песня «Проволока колючая в три ряда». Ревел, стонал мужской хриплый голос, жаловался на тяжкую тюремную долю. А в голове у Никиты вихрем неслись события сегодняшнего дня. Как улюлюкали и требовали зрители: «Давай, Шустрый! Вмазывай! Вмазывай!» Как улыбался Валерий Семенович своей гадкой улыбочкой, потирал руки в наколках и, довольный, глядел, как уносили с ринга полуживого соперника. И сейчас Никите тоже хотелось «вмазать». Он почувствовал, что тоже имеет на это право. И бил, крушил, ломал и утверждал себя в первом бою, из которого обязан был выйти победителем.

Он пришел в себя от того, что Анжела орала и с силой отталкивая его от себя.

– Ты что, ненормальный?! Придурок, ты что вытворяешь? Чего колотишь меня? Совсем озверел? Мы так не договаривались. И это уже двойная такса. Гони денежки, а не то позову кое-кого, и с тобой быстро разберутся.

Никита, судорожно застегивая штаны, вытащил деньги и протянул девице. Та, продолжая ругаться и охать, схватила пачку, отперла дверь и побежала, на ходу приговаривая:

- Урод! Вот урод!

С того дня жизнь Никиты круто изменилась. Фотокружок Якова Борисовича был оставлен, да на него и не хватало времени. Несколько раз в неделю Никита приходил в подвал на очередной бой без правил, и Валерий Степанович перед началом сообщал, на кого поставил. Пари всякий раз было выиграно. Довольный «авторитет» улыбался и теперь платил вдвое больше, но обязательно предупреждал:

– Ты, пацанчик, смотри, не подведи меня. И не вздумай работать на кого ещё. Усёк?

Никита кивал головой и незаметно вытирал о брюки потные от наплывающего страха ладони. Валерий Степанович уже углядел связь между победами своих

фаворитов и присутствием Никиты на боях, и считал оператора своей собственностью.

Никита тоже окончательно уверился в своей исключительности. Ведь теперь этот мерзкий Валерий Степанович всё-таки зависел от него, и можно было со временем еще повысить цену за съемки. Небось упырь не обеднеет, ставки-то за бои высоченные! Теперь Никита гордо ходил по улицам города, в котором еще недавно казался себе маленьким и незаметным, чувствуя себя выросшим на полметра.

Однажды, когда ему было лет десять-одиннадцать, отец соорудил деревянные ходули, и мальчик довольно быстро освоил их. Впервые взобравшись на лесенки-брусочки и глянув вниз, он ощутил невероятную радость от того, что неожиданно оторвался от земли, взлетел вверх, и оттуда, как птица, наблюдает за теми, кто лишь ползает внизу. Ощущение было непередаваемым! Хотелось длить его бесконечно. Он достиг виртуозного умения в ходьбе на ходулях, этих примитивных, но опасных сооружений — отец прибил бруски на довольно большой высоте, и мать, глядя, как сын скачет по двору и делает опасные прыжки и развороты, выбегала во двор и заставляла его слезть, под угрозой поломки «этой дряни». Но, слава Богу, ничего не отобрала и не выбросила, и ходули на целое лето стали самым любимым развлечением Никиты. Потом пришла осень, начались дожди и слякоть, ходули забылись сами собой и долго валялись в сарае, пока отец не разрубил их на дрова и не отправил в костер, который был устроен во дворе по какому-то, уже забытому, случаю.

Никита вспомнил пьянящее чувство парения над всеми, но теперь это была не детская, неосознанная радость, а вполне осязаемая жажда утвердиться на высоте нового положения избранника судьбы. Ему было досадно, что прохожие равнодушно идут себе мимо, никто не оглядывается, не тарашится, не тычет пальцем и не восклицает: «Глядите-ка, этот тот самый парень, у которого невероятный талант: где он с камерой - там и удача! Вы не слышали? Это странно, ведь все газеты, телевидение и радио только и трубят про это!»

«Ладно, мой час ещё настанет! - думал Никита. - Вы ещё узнаете обо мне, ещё будете добиваться знакомства со мной, завидовать моей славе и деньгам. И у меня всего этого будет - завались!» И Никита принимался мечтать о том, что сделает с деньгами. Увы, пока что их было не так

много, как хотелось. Большая часть заработанного уходила на Анжелу. С ней он помирился через несколько дней. Пришел вечером в «Бамбук», повинился, объяснил, что от неожиданности и радости сам себя не помнил. И девица, лениво процедив: «Ну, котенок, ты придурок», простила его. Теперь Никита выходил из чуланчика счастливый, оглушенный новыми ощущениями, с которыми уже ни за что бы не расстался.

События последнего времени волей-неволей заставили его переоценить окружающую действительность. Хотя действительность была всё та же – серая и убогая. Мать по-прежнему пропадала на ночных дежурствах, готовила еду и пилила Никиту за плохие отметки; сестра Нинка так же бегала на свою гимнастику и сплетничала по телефону с подружками про мальчиков из класса и модных киноартистов; вечно хмурые горожане спешили по своим малоинтересным делам... Изменился Никита - изменилось и отношение одноклассников к нему. Его больше никто не дразнил «бледной поганкой», а Никищук с Фроловым, завидев, первыми здоровались за руку. Конечно, Никита под секретом рассказал Толику и о своих походах в подвал, и о деньгах, которые теперь загребал, и даже о встречах с Анжелой. Кривой слушал, открыв рот, поверив сразу и безоговорочно, ахая и восклицая: «Не, ну офигеть! Просто офигеть!» И Толика одноклассники начали замечать, и звать по имени, а не Кривым, как прежде. Теперь он с еще большим рвением кидался выполнять любое поручение друга. Никита шутя называл его своим замом, а тот и не думал возражать. Что плохого? Кто-то и замом должен быть. Никита иногда подкидывал Толяну денюжат за помощь. И это еще больше связывало их друг с другом.

Как-то утром Никита вошел в класс, а за его столом вместо Толика сидела Светка Копытова, по-хозяйски разложив свои книжки-тетрадки. Толик, который просидел с Никитой за одной партой все школьные годы, нерешительно топтался рядом, не смея выгнать самозванку. Никита швырнул на стол свой тяжеленный рюкзак и устался на Светку. Та подняла на него чудесные голубые глаза и улыбнулась: мол, что ж ты замер, разве не этого ты всегда хотел? Никита поглядел на нее секунду и вдруг равнодушно бросил:

– Отсядь на свое место, здесь Толян сидит. Ты не в курсе?

Светка, сильно уязвленная, вспыхнула, буркнула, что не больно-то и хотелось, и быстро пересела. Удивительно, но Никищук, который молча наблюдал за происходящим, никак не отреагировал ни на Светкину выходку, ни на грубость Никиты.

«Связываться со мной не хочет», – удовлетворенно сделал вывод Никита. Толлик ухмыльнулся и сел на свое законное место. А Никита подумал, что по сравнению с Анжелой Светка - с ее наивным кокетством и вечными простенькими футболочками, - вся какая-то обыкновенная, пресная и безвкусная. Ну, как черешня после антоновки... Он вспомнил их с Анжелой чуланные развлечения и блаженная истома накатила жаркой волной.

Начался урок литературы. «Русичка» Анна Михайловна, расхаживая от окна к столу, несла какую-то тяготную чепуху про «тварь дрожащую» и «моральный выбор», который должен был сделать студент Раскольников — тот убивал и мучился, убивал и мучился. «Этот Родион чистый придурок, - решил Никита. - В этой жизни ты или убиваешь и не страдаешь, или страдаешь и не убиваешь. И то, и другое вместе - ну никак не катит!» Его знакомые «братки» наверняка не только колошматят друг друга, но и убивают на своих «стрелках». По телеку каждый день показывают: то здесь кого-то застрелили, то там зарезали, - и никаких угрызений совести он ни у кого не наблюдал.

Никита перестал слушать учительницу и уставился на стену, на которой висели портреты русских писателей. На гусара Лермонтова в нарядном офицерском мундире с высоким воротом, на хмурые бородатые лица Достоевского и Толстого, в глазах которых словно застыли те самые «вечные вопросы». Парень напряженно думал: а нужно ли ему вообще поступать в институт? Здесь деньги зарабатывались легко и без особых усилий. А что будет в далекой, страшноватой столице, в которой неясно, найдешь ли еще себя? Но, понятное дело, аттестат зрелости получить следовало. Отец не простит, да и мать запилит.

Из размышлений его вывел строгий голос Анны Михайловны:

– Чернов! Никита! Не знаю, о чем ты думаешь. Зайди завтра после уроков в учительскую. Ты, кажется, не отдаешь отчета в серьезности положения. Посмотри на свои оценки! Так можно и аттестат не получить.

Никита поднял глаза на Анну Михайловну и вдруг увидел, что на ее высоком ясном лбу и вокруг нежного рта появились морщины, которых еще недавно не было. «Чем за меня переживать, о себе бы побеспокоилась да про роман с женатиком, — хмыкнул он про себя. — А то вон уже старухой заделалась. Ладно, зайду, чего уж там. И захвачу подарочек. Посмотрим, как она запоет».

Назавтра Никита, как и было велено, явился после уроков в учительскую. В комнате, кроме Анны Михайловны, никого на было. «Русичка» сидела за своим столом в строгом неброском костюме и листала классный журнал. Увидев Никиту, она подняла на него карие усталые глаза.

– Чернов, я не знаю, что с тобой делать. Сплошные неуды. Ты не оставляешь мне шанса. Я даже боюсь, что..

– А вы не бойтесь, – прервал учительницу Никита и вызывающе плюхнулся на стул. Анна Михайловна оторопело глядела на обнаглевшего парня. А тот, закинув ногу за ногу, не спеша водрузил на колени рюкзак и спокойно вынул из него приготовленную кассету.

– Со мной всё будет хорошо. А с вами, если я кое-кому покажу пленочку, думаю, не очень. Я вот только не знаю, с кого начать – с директора школы или с тети Ларисы. Ей, наверное, сильно не понравится, что ее муж...

Анна Михайловна побледнела и встала из- за стола.

– Чернов, выйди вон.

Никита пожал плечами, спокойно забрал кассету и вышел, аккуратно затворив за собой дверь.

Дома Никиту ждал скандал. Оказалось, что мать встретила в городе Якова Борисовича, и тот посетовал, что его любимый ученик больше не ходит на занятия.

- Способный ведь парень, — качал головой старик, — можно даже сказать, талантливый. И с чего бы это вдруг бросил? Раньше ни одного занятия не пропускал. Я ведь хвалил его, видел, парень учится с удовольствием. Из него мог выйти хороший фотограф. Или даже кинооператор, кто знает? У него редкий талант, понимаете? Ай-ай-ай, как жаль! Да и за кружок заплачено до конца года. Как же так? Что случилось?

Оттого, что сын так бессовестно обманул ее, и оттого, что совершенно отбилась от рук, мать орала на Никиту в бессильной злобе, смахивая со лба отросшую челку.

– Ну, погоди у меня. Скажу отцу – он тебе копейки больше не даст. Ты не соображаешь, что провалишь экзамены в

институт? И что будешь делать? Разнорабочим на рынке? Или в армию? А что тебе еще, недоумку, останется?

Никита молча выслушал мать, опустил свои пасмурно-серые глаза, потом резко поднял голову.

– Не ори тут, поняла?! В институт я не пойду – не больно он мне нужен. Я и здесь заработаю. А надо, так и в армию пойду. Там тоже люди.

Мать заплакала и ушла на кухню. Вечером позвонил огорошенный отец, но и он, как ни старался, не убедил сына изменить решение. Никита уже понял, что он сам - хозяин своей судьбы, и она обязательно выведет его на нужную дорогу.

Через месяц были выпускные экзамены. Никита получил за сочинение «тройку», а сразу после выдачи аттестатов Анна Михайловна уволилась и уехала в свой родной город.

Наступило время, которого Никита ждал с таким нетерпением. Появились деньги, хоть и не такие, как у парней в подвале, но вполне достаточные. Они с Толиком сняли маленькую двухкомнатную квартиру со смежными комнатами и крошечной кухней в старой девятиэтажке, с поломанной дверью подъезда и дурно пахнущим лифтом, и зажили самостоятельной жизнью. Никита перевез свои старые рисунки и повесил в комнате. Теперь его никто за них не пилил, а Толику чудовища даже нравились. Матери Никита рассказывал, что зарабатывает съемками корпоративов и свадеб, и она слегка успокоилась. Слава Богу, сын не болтается без дела, а честно трудится. Это она понимала и уважала.

Отец скоро перестал донимать дурацкими предложениями приехать в Москву и помогать в его бизнесе. Он махнул рукой на непокорного сына и предоставил тому самому решать свою судьбу.

Жизнь с Толиком оказалась комфортной и удобной. Дружок никогда не спорил, был рукастым и хозяйственным. В холодильнике у парней всегда имелась еда; убогие комнаты, прежде обставленные поломанным барахлом, прибраны, помыты и приведены в божеский вид, колченогий стул и текущий бачок унитаза починены. Толик умел и котлеты жарить, и пуговицу пришить. Словом, был незаменим. С утра он вставал в хорошем настроении и сразу включал телевизор, «чтобы быть в курсе». «Наступило интересное время, - вещал какой-нибудь

бойкий ведущий, - время больших возможностей для всех». И ребята в это верили. Кому еще в этой жизни побеждать, как не им, молодым? И могла ли раньше приплыть к ним заморская камера? Конечно, нет.

Толику было жаль, что такой драгоценный подарок достался не ему, а Никите, но зато друг вон какие дела делает. А он что — он парень простой, без особых талантов, зато всегда рядом, наблюдает, учится, хоть и немного завидует.

Толик часто приставал к Никите с разговорами про его удачу. Почему тому всегда везет? Но Никита только отмахивался или разводил руками, мол, мне-то откуда знать? Видать, талант у меня такой, удачу притягивать. Он не собирался делиться с дружкой своей тайной. Растреплет всем, а там, глядишь, или камеру отнимут, или она свои необыкновенные свойства потеряет. Нет уж, дудки. Лучше держать рот на замке.

Работа в подвале продолжалась. Там уже знали, что оператор обычно приходит с ассистентом. Валерий Степанович теперь отправлял Никиту и на другие точки, которые держали его дружки, такие же «авторитеты». Валерий Степанович «одадживал» им Никиту, очевидно, таким образом расплачиваясь за какие-то неведомые услуги. Никите с Толиком было всё равно, в каком подвале снимать. Всюду было одно и то же – жуткий мордобой, кровь, крики: «Давай, дави, добивай его!» Имелся фаворит, имя которого сообщали Никите заранее, и этот счастливчик обязательно должен был победить. И оператор ни разу не подвел своих заказчиков. Фавориты побеждали, а поверженных соперников уносили с ринга полуживыми, с переломанными челюстями.

От армии Никиту отмазал Валерий Степанович, а Толику с его физическим недостатком армия не грозила вовсе. Можно было спокойно планировать жизнь на несколько лет вперед. Казалось бы — копи денежку да живи в свое удовольствие. Чего уж лучше, когда вокруг закрываются предприятия, люди получают копейки, на которые не знают, как сводить концы с концами. Но Никите постепенно стала «тесна» подвальная работа. Хотелось чего-то большего. Какого-то дела, в котором он проявил бы себя в полную силу; чтобы о нем заговорили не только во всем городе, но и, чем черт не шутит, в целой стране. «А что, если найти авторитета покруче Валерия Степановича и помогать ему стряпать его дела? Ведь это вполне возможно», —

размышлял Никита. Действительно, в городе было немало предприятий, которые в одночасье из государственных рук перешли в частные. Не просто так, конечно. Часто «отжать» по-тихому не удавалось, и тогда вдруг случались автомобильные аварии, пожары, выстрелы в голову и прочие неприятности, в которых как бы случайно погибали другие претенденты на завод. «Со мной никакого криминала не понадобится, - продолжал диалог с невидимым собеседником Никита. - Любая сделка закончится в пользу моего заказчика». Он живо представил, как приходит к такому «серьезному человеку» — его, например, зовут Николай Иванович. Они обсуждают детали. Никита предложит ему организовать дружескую встречу с конкурентом. Николай Иванович, конечно, поначалу недоверчиво отнесется к предложению и начнет задавать вопросы: мол, зачем да почему? Но потом послушается и организует, скажем, банкет. Там гости будут есть-пить, тосты произносить за дружбу и сотрудничество, а он, Никита, в это время будет снимать всю компашку и, особенно, конечно, конкурента. Сплошные крупные планы! А на утро — хоп! — и этот господин уже отказывается от всех своих претензий на завод. Его друзья-товарищи, само собой, в шоке. Как? Почему? Объясни немедленно причину! А он, такой, растерян, сам не знает, отчего расхотел. Но они с Николаем Ивановичем всё знают и понимают, но молчат, никому ни слова. «Серьезный человек» жутко доволен. Еще бы! Он получает завод. При этом никого не нужно ни убивать, ни взрывать, ни поджигать. И Николай Иванович говорит: «Теперь я хочу познакомить тебя с еще более серьезными людьми, и они заплатят тебе намного, намного больше».

Мечты, сладкие и заманчивые, появлялись ночью, когда Толик уже давно мирно посапывал на диване в гостиной, а Никита без сна ворочался на узкой кушетке в маленькой комнате. Всё, представленное им, казалось таким реалистичным, словно было не картинками желанного будущего, а совершившимся фактом. Желтый свет фонаря за окном освещал рисунки на стене, с которых одобрительно глядели старые друзья — фантастические чудища. Никита был не так глуп, чтобы не понимать: все эти «серьезные люди» были не меньшими монстрами, чем изображенные на картинках, и запросто могли сглотнуть любого - и не подавиться. Но ведь с Валерием Степановичем он как-то поладил? Ничего худого тот ему не

сделал? Наоборот, даже отмазал от армии. Авось и с теми сладится. «Да, но как выйти на таких серьезных людей?» — терзался Никита. Где познакомиться с таким Николаем Ивановичем? Валерий Степанович в жизни ни с кем его не сведет, это ясно. И, помнится, не раз грозился, что не простит работу на конкурента. Хотя ведь «серьезный человек» наверняка окажется круче Валерия Степановича, и уж как-нибудь да прикроет его...

Парень вздохнул и перевернулся на спину. В комнате было холодновато, и он натянул одеяло на самый подбородок. Все эти планы следовало еще и еще раз обдумать, хотя перспективка вырисовывалась даже очень и очень...

Через два дня было восемнадцатилетие Никиты. Его решили отметить по-взрослому, вдвоем в «Бамбуке», без предков и лишних людей. Дул холодный октябрьский ветер, с неба сыпал не то мелкий колючий снег, не то дождь, оставляя на земле влажные следы. Редкие прохожие спешили скорее укрыться в теплых домах. Никита с Толиком в своих обновках — модных турецких кожаных куртках с меховым воротником, ботинках на светлой толстой подошве, именуемой в народе «манка», меховых шапках-формовках из ондатры, у которых ни «уши», ни «козырек» не опускались, но которые все равно считались последним писком моды, — не замечали никого и ничего. Они вольными орлами летели по улице, веселые, голодные, предвкушая хороший ужин и славную выпивку, и чувствовали себя счастливыми на все сто.

В ресторане за столиками тут и там мелькали знакомые по подвалу физиономии «братков». Те уже не казались такими страшными, а выглядели вполне обычными пацанами с именами и фамилиями. Кто-то из них помахал ребятам рукой, те ответили. «Нет, — понял Никита, — нужно прийти сюда днем, когда обедает иная публика. Сейчас здесь в основном мелкие бандиты на посылках, а нужны гладколицые, в больших дорогих очках, похожие на разных умников из телевизора». Правда, было пока неясно, как к ним подобраться и как убедить попробовать себя в деле, но это уже был следующий этап. А сейчас пора было расслабиться и отдохнуть на всю катушку. Всё-таки восемнадцать лет — это вам не баран начхал. Не каждый год бывает.

Никита поискал глазами и нашел в углу на красном диване Анжелу. Она скучала в отсутствии клиентов и лениво

тянула через трубочку желтый сок из длинного бокала. Увидев мальчиков, она обрадовалась и под села к их столику. Сегодня Анжела казалась Никите особенно соблазнительной. Копна белых волос, схваченных блестящей заколкой, подчеркивала высокие скулы и чувственный рот. Короткий блестящий топ пикантно открывал пупок, красная мини-юбка контрастировала с желтыми колготками и высокими сапогами-ботфортами. «Это тебе не какая-то там бесцветная Светка», – хохотнул про себя Никита и остался доволен каламбуром.

Узнав, что празднуют день рождения, Анжела захлопала в ладоши и немедленно затребовала самое дорогое блюдо — черного краба в устричном соусе и розовое вино, а потом подняла бокал и от души пожелала Никите «всегда оставаться таким же котиком, как сейчас». Троица с удовольствием выпила – Анжела вино, а ребята коньяк «Hennessy». Никите нравилось, что он оплачивает капризы Анжелы, что угощает Толика его любимой уткой по-пекински, а себе заказывает клешни краба. И, кстати, Никита вспомнил, что неделю назад по доброте душевной купил матери новомодный кухонный комбайн с мясорубкой, блендером и соковыжималкой, а Нинке – белый свитер с высоким горлом. Мать чуть не расплакалась от счастья и страшно благодарила, причитая, что никак не ожидала таких подарков, а Нинка расцеловала брата, а потом закружилась по комнате в обновке. «Вот вам и никчемный, серый троечник, вот вам и бледная поганка», — мстительно подумал он.

Сейчас, находясь в самом благодушном настроении, он глянул на Толика – тот, бдительно поставив камеру возле своей тарелки, с вытаращенными глазами слушал «страшилки» Анжелы про ее родные Клинцы и нищую, пьющую семейку. И Никита понял, что к своему совершеннолетию имеет всё: бескорыстного друга, простоватого, но верного; девушку, хоть и не бесплатную, но зато красивую; а главное – деньги. И их со временем будет – он уверен – больше, еще больше! Он убедился, что решение не ехать в Москву и не корпеть там, в институте, неизвестно для чего пять лет, – было верным. Здесь, в Брянске, он имел и власть, и деньги, и даже не мог бы сказать, что ему нравилось больше. «Одно без другого, получается, никак», — неожиданно сделал вывод Никита, посматривая на захмелевших Толика и Анжелу. На лица молодых людей падал отсвет красных китайских

фонариков, которые свисали с потолка ресторана. Официант Азамат однажды объяснил, что для китайцев фонарики – талисман счастья и удачи. Видимо, удача сопутствовала не только ресторану, всегда полному посетителей, но и ему, Никите.

«Но всё же интересно, – продолжил он размышления, – что вначале: деньги, а потом власть? Нет, вначале власть! – уверенно ответил он себе. - Взять, скажем, Валерия Степановича. Он своих «братков» в кулаке держит. Потому и денежки к нему приплывают. А у меня власть особая. Ни с кем не дерусь, на счетчик не ставлю, а однако же без меня хрен бы столько тот же Валерий Степанович заработал. Удача – вот моя сила, моя власть и мои деньги. Ну, и моя заговоренная камера, конечно».

Никита не мог знать, что именно в этот момент в другом ресторане, на Набережной улице, происходила неприятнейшая встреча двух авторитетов - Валерия Степановича и Боксёра, которого так звали не только за пристрастие к боксу, но и за приплюснутый широкий нос, круглые глаза и черные, как бы удивленно приподнятые брови — они делали его до смешного похожим на эту породу собак. Боксёр, который тоже крышевал бои без правил, нервно заметил, что в последнее время в подвале у Валерия Степановича его бойцы никогда не выигрывают. Почему бы это? С какой стати? Они отличные пацаны, кладут на лопатки любого в другом месте, но только не там. Он проверял – нет, ребят ничем не накачивают, не колют. Значит, дело в другом? А ведь всё началось, когда появился этот поганенький заморыш со своей камерой. И в других залах та же картина. Там, где этот грёбаный оператор – там его ребята в проигрыше. Причем ребята отборные, крепкие, которых за здорово живешь не завалишь. Значит что, есть связь? Есть. Какая? Не знаю, но какая-то точно есть. Это и другие пацаны заметили, не только он. И в городе братва вообще недовольна. Так что, колись, братан, и рассказывай, что происходит, иначе мы с твоим оператором сами разберемся, своими силами и по своим понятиям.

Валерий Степанович, которому совершенно не улыбалось ссориться с Боксёром, известным отморожком и беспредельщиком, прикидывал, как бы получше сдать Никиту и при этом не потерять лицо. Конечно, доход от боёв был неплохой, но всё же не главный его бизнес. Валерий Степанович аккуратно отрезал кусок от бараньей

ноги в винном соусе – ее в «Десне» готовили просто замечательно, - прожевал, смакуя, нежное мясо, проглотил, одобрительно крякнул, а потом удивленно произнес:

– Слышь, Боксёр. Я не знаю, о чём ты тут толкуешь. Да вовсе мне и не нужен этот пацан. Ребятам нравилось, что их бой на плёнку снимают, вот я его и звал. Да делай с ним что хочешь, мне-то что. Зачем нам из-за такой ерунды ссориться, верно?

Он поднял свою банку пива, как бы приглашая товарища чокнуться. Боксёр тоже поднял свою банку «Heineken», и хмуро поглядев на Валерия Степановича из-под густых бровей, неожиданно ослабилась. Мужчины поняли друг друга, и говорить более было не о чем.

Когда Никита с Толиком вышли из ресторана, уже совсем стемнело. Накрапывал мелкий дождь. Плохо освещенные улицы выглядели одинокими и тоскливыми. Беззвездное тяжелое небо сливалось с землей, и казалось, что и дома с освещенными окнами, и улицы с деревьями и фонарями, и машины, прикорнувшие у обочины, - всё находится внутри огромного таинственного купола, накрывшего город непроглядной тьмой. Толик, как всегда, возбужденно болтал без остановки, но когда они уже подходили к дому, то увидели, что возле подъезда топчутся три здоровенных парня. Те загородили ребятам дорогу.

– Никита? Оператор? – бросил один, в длинном кожаном плаще, и вынул руки из карманов.

Никита тревожно кивнул и остановился. Толик, чуть подавшись назад, тоже притормозил и огляделся. Потом снял с плеча камеру и прижал к себе. Двор с двумя унылыми клумбами и поломанными скамейками, был пуст, и просить о помощи, в случае чего, было некого.

– Ба! А вот и твой слуга с камерой. Ты ж с ней, говорят, спишь в обнимку!

Бугай загоготал и тут же, словно по боксерской груше, ударил Никиту в голову. Тот, не вскрикнув, упал плашмя на бетонную дорожку. Не успел Толик дернуться, как второй амбал в вязаной шапке, натянутой на самые глаза, очутился возле него, и коротко и сильно дал под дых. Толик больше ничего не помнил, а когда очнулся и, пошатываясь, поднялся на ноги, нападавших уже не было.

Никита лежал на спине, не шевелясь. Его ондатровая шапка откатилась в лужу неподалеку, голова была неестественно повернута набок, руки раскинуты. Казалось,

он неожиданно уснул в неудобной позе. Толик в страхе окликнул товарища.

– Слышь, Никита, вставай.

Никита не пошевелился. Толик наклонился и потряс его за плечи. Неясный луч света, косо падающий из окон нижних этажей, высветил совершенно остекленевшие глаза друга. Никита был мёртв. Толик охнул и отпрянул, едва не упав. Потом сел рядом на корточки и закрыл лицо руками. Так он посидел какое-то время, потом встал и огляделся, ища камеру. Та лежала неподалеку. Он поднял ее, внимательно осмотрел с разных сторон. Корпус был сильно помят, объектив свернут набок. Машинально отметив, что, наверное, ее еще можно починить, он вдруг с остервенением швырнул драгоценную вещь на землю, поднял валявшийся рядом камень и принялся колотить им по металлической поверхности. Он лупил и лупил изо всей силы, пока нежный корпус не превратился в груды алюминия. Слезы застилали Толику глаза, текли по щекам, по подбородку, по шее. Он не вытирал их и только в исступлении повторял: «Всё из-за тебя! Всё из-за тебя! Всё из-за тебя, проклятая камера!»

Самый лучший папа

- Папа, - кричу я. - Ты самый лучший папа в мире! Я так тебя люблю!

Мы бежим по лестнице вниз, перескакивая через две ступеньки. Мне на каблуках скакать неудобно, но я скачу. Боюсь отстать. Я и без того в папиных глазах отстаю по всем фронтам.

- Папа, - кричу. - Ты лучший папа!

Кричу ему в затылок. Папа не оглядывается, потому что не слышит. Не слышит потому, что кричу про себя. Вслух я подобного никогда не скажу. Даже шёпотом. Да папа, скорее всего, и не ждет.

Выскакиваем из подъезда в мартовскую серость. Я сгибаюсь пополам и тяжело дышу, а папа смеется. Удивительно, но он всегда найдет повод надо мной посмеяться.

- Тюфяк ты, Сева, - говорит папа. - Три пролета пробежал - и сдулся.

- Тюфяк, - соглашаюсь я.

Папа презрительно щурится, бросает взгляд на мои короткие сапожки с опушкой, заправленные в них узкие джинсы, дергает головой и отворачивается. Закуривает. Я вдыхаю сигаретный дым с ароматом ментола - и меня накрывает счастьем. Странно, да? Слякоть, сигаретный дым и вдруг - счастье. Но так уж я устроен. У меня всё не как у нормальных людей. Так многие считают, не только единственно близкий мне человек.

- Папа...

- Сегодня никак не могу подвезти, - непонятно для чего сказал он. Он меня практически никогда не подвозит.

- Я совсем не это хотел просить. Я хотел...

- Хорошего дня, Сева, - папа хлопнул меня по плечу и торопливо пошел к машине, припаркованной у соседнего подъезда. Я обратил внимание, что папа брезгливо вытер о край куртки ладонь, которой хлопнул меня по плечу. Черт, лучше бы я этого не видел. Счастье моментально выветрилось, и стало зябко. Я натянул на глаза вязаную шапку с большим пестрым помпоном, поднял изрядно

потертый меховой воротник широкого красного пальто типа кардиган и пошел к метро, выставив вперед руки, как слепой. Люди расступались, никто не хотел со мной сталкиваться. Не из жалости, нет. Не из сострадания. Просто, кому оно надо - сталкиваться с придурком. Людям и своих неприятностей хватает.

- Палочку купи, урод, - сказал кто-то из прохожих. Зло так сказал. Наверное, серость мартовских дней повышает уровень злости.

- Севка, что ты делаешь, дурак?! Упадешь ведь!

Это баб Нина. Моя любимая соседка. Честь и совесть нашего двора. Сидит на лавочке по утрам в любое время года. Говорит, что любит наблюдать, как народ по делам разбегается. На самом деле, я это знаю точно, она просто любит вмешиваться в чужие проблемы. Сидит и ищет проблемы на свою задницу.

Баба Нина - находка для домушника. Она владеет бесценной информацией: кто во сколько уходит и во сколько возвращается, кто лежит в больнице, кто уехал в отпуск, кто держит деньги дома, а кто в банке. И ключи ей практически все соседи доверяют, ну, если надо цветы полить, или кошке корм подсыпать, когда хозяева в отъезде. Еще она могла бы сидеть у домушника на стреме, всё равно ведь целый день проводит на лавочке. Но то ли домушники перевелись, то ли баба Нина не идет на сговор, но квартирных краж в нашем доме давно не было.

Я остановился, поднял шапку на лоб и кивнул. Типа поздоровался. Разговаривать не хотелось, но я все же подошел и, галантно согнувшись, чмокнул баб Нину в щеку.

- Что ты, Севушка, не весел? Что головушку повесил? - любит она сыпать прибаутками, хлебом не корми.

Я улыбнулся, заправил за ухо выбившуюся прядь длинных волос и пожал плечами.

- Ты язык-то из задницы достань.

- Доброе утро, баб Нин.

- Как живешь, Севка?

- Нормально.

- Как в институте?

- Нормально.

- На любовном фронте?

- Нормально.

Баба Нина нецензурно, но не зло выругалась и махнула рукой: иди, мол. Она ко мне хорошо относится, но не любит слово «нормально», я точно знаю. Её это слово бесит. Баб

Нина сторонник пространных ответов. Но я сегодня не лучший собеседник. Счастье из меня улетучилось вместе с настроением. А без настроения я не разговорчив. Но и уходить, оставив соседку без пищи для переживаний, не хотелось. Я стянул шапку и продемонстрировал ей корни волос, окрашенные вчера в розовый цвет.

- Баб Нин, зацени. Нравится?

- Во дурак! - соседка даже с лавки приподнялась, чтобы лучше меня рассмотреть. Даже очки из кармана достала и нацепила на нос. - Во дурак! Что ж ты над отцом-то изголяешься, Сев?

- При чем тут отец? Красиво же...

Настроение, как ни странно, улучшилось.

- Дурак.

Я снова натянул шапку, приложил ладонь ребром ко лбу, по-военному развернулся и, чеканя шаг, насколько это возможно в сапожках на каблуке, направился к метро.

- В армию-то пойдешь, Сев? - крикнула баба Нина в спину. Как выстрелила. Соседка - находка не только для домушников, она бы и снайпером была хорошим. А вообще, достала она уже этой шуткой про армию.

Я, конечно, не оглянулся. Я этому научился у папы. Правда, я, в отличие от баб Нины, папе в затылок кричу приятное, но про себя. Про себя, блин!

Дошагал до ближайшего киоска и купил пачку сигарет с ментолом, таких, как курит папа. Сам я курить не люблю, не нравится вкус сигарет. Мне больше нравится клубничная жвачка, из которой можно выдувать розовые пузыри. Но я люблю вдыхать ментоловый запах, поэтому раскуриваю и, держа сигарету между указательным и средним пальцем, изысканно кручу ею перед носом. Может, конечно, не изысканно, но мне хочется так думать.

Пачку сигарет продавец не стал передавать мне из рук в руки, просто швырнул сквозь окно на небольшой прилавок. Мне пришлось прихлопнуть пачку рукой, чтобы та не соскользнула на землю. Не такой я и тюфяк, папа, пусть плохо бегаю (это из-за каблуков), но с реакцией у меня всё нормально.

- Спичкой не угостишь? - спросил продавца.

- Чеши отсюда, урод, - ответил добрый парень. - По тебе армия плачет.

- По тебе тоже, жиртрест, - огрызнулся я. - Ты, случайно, не родственник баб Нине?

- Какой баб Нине? - доверчиво спросил продавец. Меня потрясает доверчивость людей, которые минутой ранее хамят. И не поймешь, то ли он хам с уклоном в доверчивость, то ли доверчивый малый с уклоном в хамство.

Я, не ответив, развернулся на каблуках и пошел к метро. Я люблю не отвечать на заданный мне вопрос. В определенных ситуациях, конечно. Например, когда меня посылают в армию. В этом случае хочу оставить последнее слово за собой.

Перешагивая через бордюры, неловко подвернул ногу, оступился. Каблуки - это красиво, но не всегда удобно.

- Придурок, - крикнул продавец из киоска. Что-то все сегодня стреляют мне в спину.

Я, не оглядываясь, поднял руку и показал парню средний палец. Достали все: и люди, и скользкий тротуар. И слякоть мартовская.

- Папа! - мысленно крикнул я. - Ты такой хороший, папа! Ты еще будешь мною гордиться, поверь. Хотя бы потому, что мной больше некому гордиться. У меня больше никого нет.

Мама не стало пять лет назад. Неожиданно для нас с папой, хотя мама всегда была склонна к неожиданностям, и папу это раздражало. «Красивая, молодая - и на тебе», - причитала баб Нина. Как будто молодые не умирают. Особенно от неудачных абортов. От неудачных абортов, собственно говоря, только молодые и умирают. Про аборт я узнал спустя год после маминой смерти. Баб Нина проговорила. Проговорилась по полной программе: беременной мама была не от папы. Откуда соседка, с которой мама практически не общалась, знает такие подробности, я не стал выяснять. Я трус, наверное.

А в те похоронные дни именно баб Нина жалела меня, пока папа, сам еле живой от горя, занимался делами, не терпящими отлагательств. Ну не отложишь же похороны до тех времен, пока горе отпустит? Даже самый терпеливый при жизни человек, став покойником, ждать не будет. Видимо, смерть дает возможность отыгаться на близких за многие годы ожидания непонятно чего.

Так вот, баб Нина тогда забрала меня к себе. Меня просто больше некому было забрать. Папа один ходил по учреждениям. И гроб покупал один. А я в это время отсиживался у соседки, плакал, вскрикивал, как подбитый

зверёк, и пускал соплю пузырями. Баб Нина меня жалела, плакала вместе со мной и прижимала к груди. Меня до этого даже мама никогда к груди не прижимала. А я всё думал, что соседка так истово прижимает меня, потому что ей больше некого прижимать. Мы с ней в тот момент удачно нашли друг друга.

Мама была скупой на ласки, даже папа ей это выговаривал во время редких, но громких ссор. Папа кричал, что задыхается от маминой холодности. Я тогда не понимал, как это можно от холода задохнуться, теперь понимаю. Вот как начали жить с папой вдвоем, так сразу понял.

Первое время после похорон я норовил чаще бывать у баб Нины. А что, и кормила меня она, и сочувствовала, и, опять же, к груди прижимала. Мне это было необходимо. Но папа, немного придя в себя, поставил ультиматум: или он, или соседка. Я, конечно, выбрал папу. Не задумываясь. Я бы и сегодня, спустя пять лет после маминой смерти, несмотря на все перипетии нашей с папой совместной жизни, выбрал бы его. Мне просто больше некого выбирать. Но к баб Нине, по секрету от папы, продолжал бегать. Мы просто уже не могли жить друг без друга.

Мама была красивой. Даже очень. Проснувшись утром, она не спешила на кухню готовить нам с папой завтрак; мама приводила себя в порядок. Из спальни выходила королевой и непременно в туфлях на каблуке - цок-цок-цок. Домашней обуви мама не признавала. Всё детство я слышал «цок-цок-цок», и меня это успокаивало и радовало одновременно. Мне казалось, что маму по этому звуку легко просчитать, и я всегда буду знать, где она находится. Просчитался я - мама соскочила с дистанции и больше не цокает. И я даже приблизительно не знаю, где она, хотя похоронили её в туфлях на каблуках. Она успела об этом попросить перед смертью. Пришла в себя минут на десять - и сразу про туфли. Про меня перед смертью ничего не сказала, может, даже и не вспомнила про меня, только про туфли... Эх...

- На небе твоя мама, на небе, - говорила мне в те похоронные дни баб Нина.

Я бы с удовольствием поверил и, возможно, успокоился этим, если бы мне было на день маминой смерти два года. Или пять. Или даже десять. Мне кажется, я в десять лет еще совсем дураком был. Но мне-то было двенадцать. Я

считал себя взрослым. Я не верил в небо, я верил только в «цок-цок-цок».

- Божья коровка, улети на небо, - пела соседка, прижимая меня к груди. И я задышался от слез. Почему-то под улетевшую божью коровку плакал особенно сильно.

- Баб Нин, ты сама-то веришь, что мама на небе? - спросил я.

- Верю. Почему нет?

Это «почему нет» не добавляло мне веры.

В день маминых похорон папа напился, и я сбежал к соседке. Она уложила меня спать на диване. Проснулся ночью от того, что кто-то за окном цокал. Цок-цок-цок.

Как я разорался! Скатился с дивана на пол, накрыл голову руками. Баб Нина выскочила из своей комнаты в белой длинной ночной рубашке, как привидение, кинулась ко мне, грохнулась рядом, прижала к груди и завывала в голос вместе со мной. Вот очень я в ней эту готовность к сопричастности ценю: что слезы, что горе, что радость - баб Нина рядом.

А за окном: цок-цок-цок.

- Град это, Севочка, град! Гроза началась, вот те крест! - И широко так себя осенила. - Гроза! Вот градины по жестянке-то и стучат.

- Ма-а-а-а-ма, - выл я. - Это ма-а-а-а-ма на каблуках за окном ходит.

- Не мама это, Севочка, не мама.

Мне бы ее уверенность.

Цок-цок-цок...

В ту ночь, наоравшись, я так и заснул на полу, придавленный баб Ниной. Так она со мной остаток ночи ничком и пролежала рядом. А утром, как ни в чем не бывало: «Дурак ты, Севка» - это у нее вместо приветствия. И каши манной мне сварила, как я люблю, с большим куском масла, клубничным вареньем и без комочков.

А воздух после грозы за окном был такой, что хоть захлебывайся.

Если я когда-то решу, как и мама, раньше времени уйти из жизни, то не аборт делать буду, а нырну в послегрозовую воздух. И захлебнусь. Но в мои планы, в принципе, не входит преждевременный уход. Как вспомню папу в те похоронные дни, так хочется жить как можно дольше. Только меня хоронить ему не хватало.

Бегу в туфлях на каблуках вдоль институтского забора. Опаздываю на первую пару. То баб Нина отвлекла, то жиртрест этот из киоска. Папа считает, что я легко отвлекаюсь на незначительное, потому что бесхребетный. Не, я с ним не согласен. Просто если не отвлекусь, то как понять, значительно это для меня или нет? Баб Нина, например, для меня очень значительная величина. Мне она даже видится величиной постоянной. Я скорее могу представить, что из моей жизни выпадет папа, чем соседка. Баб Нина - скала. Кремень. Папа тоже мужик крепкий, но он во мне не заинтересован, я это прекрасно понимаю. Через месяц мне исполнится восемнадцать и, вполне возможно, что папа скажет: «Давай, Сева, дальше сам. Живи, как можешь, совершеннолетний уже». И что тогда? Тогда мне только к баб Нине, больше не к кому. И буду каждое утро слушать: «Дурак ты, Сева». Зато могу быть уверенным, что в случае града за окном баб Нина накроет меня своим телом.

Ладно, совершеннолетие только через месяц, не буду себе сегодня настроение этим портить. Сейчас главное - не опоздать. Бегу на каблуках, и впервые со дня маминого ухода вдруг подумал: пора на нормальную обувь переходить. Аж бежать перестал и остановился как вкопанный, пораженный этой простой мыслью. Действительно, что ли, взрослею? Потом вспомнил, что меня Катя ждет у входа в институт, и понесся опять.

Катя, действительно, стояла у входа и подпрыгивала от нетерпения. Как только заметила меня, вытянула вперед левую руку и постучала правой по тому месту, где обычно часы носят. Сама она часы не носит, но ух как любит стучать по запястью. Я стянул с головы шапку свою дурацкую (впервые так подумал о любимой шапке, в которой хожу и летом, и зимой вот уже пять лет) и замахал ею, как флагом. Как еще дать понять Катке, что я рад ее видеть?

- Ну, ты что? - запищала Катя, как только я взбежал на ступени перед входом. - Опоздаем же.

Голос у моей подруги такой писклявый, что иногда уши закладывает, и вся она такая хрупкая, как птица-колибри. Зато надежная, прям баб Нине смена растет. Никогда меня Катя не бросит: ни в опоздании, ни в радости. Никогда не скажет: «Опаздываешь, Севка, дурак ты такой», говорит: «Опоздаем же». Опоздаем... Мне сразу плакать хочется от

того, что мы с ней вместе. Получается, что кроме папы и баб Нины, у меня еще и Катька есть. Почему я раньше об этом не думал? Сегодня, прям, день открытий.

- Знаешь, - сказал я Катьке, когда мы бежали по коридору к аудитории, - я решил купить себе нормальную обувь. Выброшу все свои каблук и...

Катя даже перестала бежать, так её удивило моё сообщение.

- Да ладно? - пропищала она. - А пальто?

- И пальто. Купим мне куртку, да?

Катька подпрыгнула, обняла меня за шею и повисла. Никто, кроме неё, так бы не отреагировал на моё выздоровление.

- А шапку пока оставлю, хорошо?

Катя чмокнула меня в нос.

- Придурки, - зло сказал пробежавший мимо однокурсник и толкнул меня локтем в бок. Но я устоял. Катя ещё раз чмокнула меня, но на этот раз не в нос, а в щеку.

Познакомились мы с Катей на вступительных экзаменах. На самом первом. Меня папа подкинул к институту и, не выходя из машины, не пожав руки, не пожелав «ни пуха, ни пера», как делают нормальные родители, уехал по делам. Папа не верил, что я поступлю. «С твоими-то знаниями», - говорил папа, а мне слышалось: «С твоей-то внешностью». А вот баб Нина в меня верила. Говорила: «Таких красивых, как ты, Сева, везде с руками-ногами оторвут». Я не хотел, чтобы меня отрывали, но было приятно это слышать. Еще баб Нина говорила, что и папа в меня верит, просто не знает, как выразить. Говорила, что мы с папой как два дурака, которые хорошее говорят друг другу про себя, а надо - вслух. О том, что я мысленно кричу папе хорошее, соседка от меня самого же и знала, а откуда она знает, о чем думает папа? Надо как-нибудь расспросить.

Да, про Катю. Катя сама подошла ко мне на первом экзамене. Я бы не осмелился. Я стоял тогда в растерянности посреди институтского двора, кричал про себя: «Папа! Ты самый лучший папа! Я очень тебя люблю!», и никак не мог понять, куда мне двигаться? В какую аудиторию? Стоял в маминых красных туфлях на каблук (наконец-то моя нога доросла до маминой), широкою пальто с меховым потертым воротником и вязаной шапочке с большим помпоном. Под пальто - узкие джинсы и белая

парадная рубашка. Тоже мамина. А вокруг меня абитуриенты мечутся, лето и жара под сорок.

Катя остановилась и уставилась на меня, как на сумасшедшего.

- Ты дурак? - пискнула серьезно.

Я понял, что она не издевается, не шутит, просто интересуется. Уточняет обстоятельства.

- Нет.

- Гей?

Так в лоб меня никогда прежде не спрашивали. Да, называли, как припечатывали, но не интересовались истинным положением вещей.

- Нет.

- А что за прикид?

- Это всё мамино, - начал было я вдаваться в подробности, но передумал. - Прикид как прикид. Мне нравится.

- Не жарко?

Я в ответ только помотал головой. Помпон заскакал, зажил своей жизнью.

- Смешной ты.

Я улыбнулся и стянул с головы шапку. «Смешной» - это не самое худшее из того, как меня называют.

- На какой факультет поступаешь?

- На психологический.

- И я. Будем лечить друг друга, - сказала тогда Катя и зачирикала птицей. Это она так смеётся: «чирк-чирк-чирк».

- Побежали.

Она взяла меня за руку и пристроилась к моему корявому шагу. Катя, в отличие от меня, была не на каблуках, а в кедах.

Мы бежали по институтскому двору, и я думал, что мне давно не было так хорошо. А каблуки отбивали: «Цок-цок-цок». И я понял, что готов за этой Катей-птицей лететь, бежать, ползти куда угодно. Лишь бы только она держала меня за руку и чирикала-смеялась.

Мы оба поступили. Ну, в том, что поступила Катя, ничего странного не было, с её-то баллами. А я... Повезло мне, наверное. С появлением в моей жизни Кати мне вообще начало везти.

Первого сентября, сразу после занятий, завалились с Катькой в кафе. Надо же отметить такое событие, как первый учебный день в институте. В кафе уже выяснили, что оба не пьем, даже не пробовали ничего спиртного; я

признался, что закуриваю сигарету и вдыхаю дым, Кате признаваться было не в чем. После первой порции капучино я, как на духу, всё ей о себе рассказал. И про маму, и про папу, и про баб Нину, и про каблукки.

Папа как начал пить в день маминых похорон, так и пил почти год. Нет, не до такой степени, чтобы не работать и в лужах валяться, но я его чаще видел пьяным, чем трезвым. Трезвым он, пожалуй, только на работе и был. Утром был мрачным и отстраненным: что я дома, что меня нет, его не волновало. Хотя нет, как я могу утверждать, что его не волновало мое отсутствие, если я по утрам все время был дома. Даже если, сбегая от папы, я ночевал у баб Нины, возвращался домой до того, как папа проснется. Готовил нехитрый завтрак, заваривал чай.

Спустя какое-то время после маминой смерти я решил разобрать ее вещи, которые папа кучей свалил в один из шкафов. Тут-то и наткнулся на мамины туфли. Папа, оказывается, ничего не выбросил. И пальто красное откопал, мамино любимое, и шапку с помпоном, которую она надевала, когда ходила на лыжах. Из всего найденного более-менее по размеру мне оказалась только шапка. Пальто на мне болталось, как на вешалке. Мама не была хрупкой, она была одного роста с папой, а я, непонятно в кого, был щуплым.

- И в кого ты такой худосочный? - часто сетовала баб Нина, наливая мне вторую порцию её фирменного рассольника. - Кормишь тебя, кормишь, да всё как не в коня.

Среди прочих вещей нашел коробку с маминими, никому уже не нужными теперь, документами, бижутерией и косметикой. Косметику сразу выбросил и начал просматривать бумаги. Какие-то счета, вкладыш к диплому, справки и документ о моем усыновлении. Так я узнал, что папа мне не родной, и полюбил его еще больше. Если бы узнал это от самого папы, то, наверное, сразу бы разлюбил, и стало бы легче жить, но нет, папа ни словом не обмолвился. Только делом. Он только на деле высказывал незаинтересованность во мне.

Натянув шапку с помпоном, я схватил документ и побежал к баб Нине. К кому же еще?

Соседка нацепила очки и внимательно всё прочла.

- Сколько тебе лет? - уточнила она.

- Тринадцать, - ответил я сквозь слезы.

- Взрослый уже. И без папки справишься. Но с папкой лучше.

Баб Нина разорвала документ об усыновлении на мелкие кусочки и спустила в унитаз.

- Забудь, Сева, - сказала она и добавила, - что это за шапка дурацкая на тебе?

Мамина, - тут уж я разревелся. И по маме плакал, и по папе. И по шапке.

- Ну, если мамина, то носи. Но выглядишь ты в ней, как дурак последний.

Так шапка ко мне и приросла. Или я к ней. В первое время, как только встречался глазами с папой, тут же натягивал шапку на лицо. Боялся, что он по моим глазам догадается, что я всё про нас с ним знаю. Я очень боялся проговориться, пусть даже и взглядом, поэтому убедил себя, что в шапке я невидим. Собственно, сильно убеждать не пришлось: папа и без шапки проходил мимо меня, как мимо пустого места, иногда бросая пару «сильно поддерживающих» меня фраз.

- Что ты, как дурак, в этом колпаке постоянно ходишь?

Я в ответ только пожимал плечами и натягивал шапку на глаза.

Когда и баб Нина, и папа смирились с шапкой, перестали ее на мне замечать, я впервые надел мамины туфли. В папино отсутствие, конечно же. Ходил в них по квартире, держась за стены и дверные косяки. Ходить было трудно, бедная мама. Вся мамина обувь была мне большевата. То ли я к тринадцати годам оставался физически недоразвитым, то ли у мамы был такой большой размер, но факт оставался фактом. Тем не менее, как только папа за порог, я надевал туфли на каблуках и ходил по квартире. Цок-цок-цок. Ходил и плакал, как дурак. И даже шапку на лицо не натягивал, ведь меня все равно никто не видит. И никто не любит так, чтобы почувствовать мое горе на расстоянии. Нет, баб Нина меня любит, ей просто некого больше любить, но она не такая чувствительная, чтобы через два подъезда почувствовать мое горе. Возможно, когда я не мельтешу перед ней, она вообще обо мне не думает. Кто ее знает, эту баб Нину? То, что я постоянно думаю о ней и о папе, вовсе не означает, что и они обязаны. Так я рассуждал, цокая по комнате.

В один из дней, не назову этот день прекрасным, папа меня застал. Нет, он не пришел раньше домой, это не в его

правилах, просто я потерял счет времени. Я тогда уже достаточно сносно ходил на каблуках, и... Не помню никакого «и», тупо не помню, почему не снял и не спрятал туфли до папиного прихода. Это не важно. Папа открыл дверь своим ключом, а я в этот момент - цок-цок-цок - хотел прошмыгнуть из кухни в свою комнату. Идиот. Надо отдать папе должное, он не сразу начал оскорблять, сначала остолбенел. Смотрел на меня, как на пиявку, нет, даже как на раздавленную пиявку, из которой чужая кровь наружу льется. Чужая кровь, чужие туфли - в моей голове от страха всё перемешалось и сердце стучало так, что чудом не лопнули барабанные перепонки. А папа всё стоял и переводил взгляд с туфель на шапку. С шапки - на туфли. Мне в глаза не смотрел, хотя я не отрывал от него взгляда. Мне просто в тот момент больше не на кого было смотреть.

- Я еще и пальто мамино ношу, - непонятно для чего сообщил.

Первое, что сделал папа, придя в себя, - ударил меня. Бил он меня впервые. Поэтому мы оба к этому были не готовы. Папа, видимо, хотел ударить по лицу, но в последний момент передумал - и удар пришелся в плечо. Я, конечно, не устоял на ногах. Во-первых, я здорово испугался, что одним ударом он не ограничится, во-вторых - каблуки. На каблуках, да еще в туфлях большего размера, достойно принять удар оказалось сложно. Да я, честно говоря, и не знал, как это - достойно принять удар от родного папы. Ну, пусть не от родного, но любимого. Упав, я впервые мысленно прокричал: «Папа, ты такой хороший папа! Ты самый лучший папа на свете!». Интересно, что бы произошло, прокричи я все это вслух? Не знаю. Не знаю, не знаю.

- Придурок, - жестко сказал папа. - И в кого ты такой придурок?

Я зажал уши руками и начал орать. Орал не от боли, нет, и не от обиды, просто я очень испугался, что папа добавит: «Точно не в меня ты такой, потому что ты не мой сын». И, что еще хуже, может вдруг скажет, чей я сын. И что мне потом делать? Потом мне только уходить из дому к тому, чей я сын, а он, скорее всего, живет далеко от моего самого лучшего папы и баб Нины. Я бы разлуки с ними не вынес.

Но папа ничего не сказал. Или сказал, но я сквозь свой ор не расслышал. Папа переступил через меня и пошел в свою комнату. К ужину он в тот день не вышел, а я нажарил ему картошки. Я же с того дня только в маминых туфлях и

ходил. Не знаю почему. Не в знак протеста, нет, и не назло папе, еще чего не хватало. Видимо, просто, что-то в голове замкнуло. Или тупо из-за «цок-цок-цок»...

Баб Нина, кстати, нашла в себе силы не издеваться и не ржать надо мной. Первое время, как я приходил к ней в маминых туфлях и бойко цокал по ее квартире, она выглядела испуганной. Даже более испуганной, чем я. И я понял, что ей не только любить некого, кроме меня, но и не за кого больше бояться.

- Баб Нина, - сказал я ей тогда, - ты самая лучшая Баба Нина на свете. Я тебя очень люблю.

Вслух сказал. Баб Нина взвыла и прижала меня к груди, как родного. Вот именно в ту минуту - как родного. А до этого прижимала, как бедного соседского мальчишку.

- Баб Нина, а давай котенка заведем? - попросил я. Видимо, прижатый к груди, решил воспользоваться правом родного человека.

- Конечно, миленький, - только и ответила соседка. Если бы я ее попросил котенка до своего признания в любви, она бы ответила: «Закатай губу, Севка. У себя дома заводи котят». А тут: «Конечно, миленький».

Миленький... Меня никогда прежде так не называли. Мама в редкие минуты нежности говорила: «Севчик».

Котёнка баб Нина приволокла на следующий же день. Такого же худого и горластого, как я.

В тот день, когда я вдруг, неожиданно для самого себя, сообщил Катьке, что решил выбросить туфли на каблуке, а заодно и мамино красное пальто с уже изрядно потертым мною воротником, мы еле высидели первую пару. У Кати буквально руки чесались, так хотелось ей меня приодеть в нормальное. Она тогда именно так и сказала: «нормальное». Потом, конечно, ойкнула, чирикнула и прикрыла тонкими пальчиками рот. Даже не просто прикрыла, а похлопала пальцами по губам.

- Катя, - шепотом спросил я, чтобы совсем уж не привлечь к нам внимание педагога, который что-то нудно бубнил за кафедрой, - ты, выходит, тоже считала меня ненормальным?

- Ну что ты, Севочка-миленький, я просто оговорилась.

Катя еще что-то убедительно чирикала, но я уже не воспринимал. Я застрял на слове «миленький». Катька впервые так меня назвала, поэтому я натянул шапку на

глаза и сосредоточился на своих мыслях. А в мыслях сплошное: «Папа, ты самый лучший папа!». Черт, надо с этими мыслями что-то делать однозначно. Как минимум, хотя бы раз проговорить это вслух.

- Всеволод и Екатерина, прекратите разговоры! - преподаватель повысил голос.

Я моментально поднял шапку на лоб. Мы с Катькой взяли под столом за руки, стрельнули друг на друга глазами, Катька коротко чирикнула, я хмыкнул, и мы замолчали.

Поэтому и смотались из института после первой пары в ближайший универмаг, чтобы не раздражать разговорами следующих лекторов.

В универмаге я моментально растерялся. Нет, не потому, что практически все притормаживали рядом с нами и пялились на моё пальто и сапожки на каблуках, к этому я уже привык. Я растерялся, потому что вдруг понял, что не знаю, как делать правильные покупки. До сегодняшнего дня я покупал себе только джинсы и новые туфли в женском отделе. В том отделе даже продавщицы ко мне уже привыкли. Ну, рубашки покупал время от времени. Учитывая subtilность фигуры, мог купить как в мужском, так и в женском отделе. Пальто донашивал за мамой, я просто врос в это пальто.

- Ты помнишь, - обратился я к Катьке, - что шапку я менять не буду? Пока останусь в этой. Только пальто и обувь.

- Помню, - пискнула подруга. - Носи на здоровье. Я же не зверь, чтобы сразу с тебя и шкуру, и скальп стягивать.

Я судорожно втянул носом воздух. Никак не удавалось расслабиться. Почему-то вспомнилось, как папа меня ударил, впервые застав на каблуках, а баб Нина вжала меня в грудь и все шептала: «Миленький, миленький».

- Баб Нина будет рада, - сообщил я Катьке.

- Ага.

- И папа. Наверное.

- Ага, - Катя взяла меня за руку. Она всегда, как только я вспоминал папу, брала меня за руку. Даже в аудитории.

Так, взявшись за руки, и побежали по отделам. Купили мне оранжевую куртку и кеды, почти такие же, как и у Кати, только мужские. Катьке каким-то образом удалось обаять всех консультантов, которые предлагали нам помощь. Так что, как мне кажется, было весело. Я, честно говоря, был в легком шоке и толком не понял, что чувствую.

Из универсама я вышел в обновках. В мужской куртке и мужских кедах. Поэтому никак не могу объяснить, почему то, что случилось дальше, произошло именно в этот день и в тот час, когда я был уже не на каблуках и не в мамином красном пальто.

Мы с Катькой решили отправиться к баб Нине, чтобы та заценила обновы, ну и порадовалась за меня.

- Вот увидишь, - трещал я по дороге, - баб Нина сейчас так меня к себе прижмет, что кости хрустнут.

- Чьи кости? - пискнула Катька. Она всю дорогу не шла, а скакала, уцепившись за меня. Она всегда скачет, когда не может справиться с нахлынувшими чувствами.

- Мои, чьи же еще? До баб Нининых костей не так-то легко добраться. Это я - воробышек, а она - пингвин.

Мы с Катькой остановились, согнулись пополам и начали смеяться на весь двор. И именно в этот момент меня окликнули. Голос я узнал сразу - продавец из киоска, которому я утром показал средний палец и решил, что последнее слово осталось за мной.

- Ты, пидор! Куда свои каблуки дел, а?

Я перестал смеяться, выпрямился во весь свой, скажем, не богатырский рост, и оглянулся. Добрый парень стоял с куском арматуры в руках. Наверное, хранит это оружие в киоске, чтобы отбиваться от таких, как я. Но я же, в принципе, и не нападал.

- Слышь, пидор, девчонка-то тебе для чего? Ей такой, как я, больше подойдет.

Кричит и движется на нас. Плавно так движется, как в замедленном кино.

Катька тоже перестала смеяться-чирикать, встала передо мной и раскинула руки. «Господи, - подумал я. - Какая она маленькая. Какая хрупкая. Разве ж она сможет меня прикрыть? Баб Нину бы сюда».

А парень всё приближается к нам. Вот уже и руку с арматурой вскинул, чтобы бить с плеча. Я толкнул Катю в сторону и шагнул вперед. Для чего шагал, спрашивается? Наверное, для того, чтобы понять, что последнее слово не за тем, кто поскальзывается в ледяной каше в туфлях на каблуках, а за тем, кто держит в руках кусок арматуры. Очень захотелось надвинуть на глаза шапку, чтобы не встречаться взглядом с продавцом, чтобы не смущать его своей растерянностью. Не успел.

Удар пришелся по помпону, но в голове, тем не менее, что-то взорвалось, а в шее хрустнуло. Я упал. Черт, жалко

куртку. Продавец из киоска стукнул меня еще раз. Опять по голове. А еще говорят, что лежачих не бьют. Бьют. В голове опять что-то взорвалось и зацокало. Цок-цок-цок...

- А-а-а-а-а! - это, наверное, Катя. Я прежде никогда не слышал, как она кричит. Затем она бухнулась рядом со мной на колени. В ту же лужу бухнулась, в которой лежал я, и запричитала: «Миленький мой, Севочка, миленький».

- Севка, дурак! Что же это такое делается? Лю-ю-ю-ди!

А это уже баб Нина. Её голос я ни с кем не спутаю. Сидела, поди, на своей лавочке у подъезда. Интересно, она видела, как меня били или отреагировала на Катькино «А-а-а-а»?

Я прекрасно видел, как баб Нина бежит через двор, хотя видеть этого не мог по определению. Но видел. Каким-то отстраненным зрением. Она, действительно, была похожа на пингвина: неуклюжая, толстая, на коротких ножках, с короткими руками, которые во время бега почему-то завела назад, как будто они ей мешали.

- Се-е-е-е-вка! - баб Нина, как и Катька, плюхнулась в мою лужу. - Мальчик мой! Миленький мой, как же это, а? Кто же тебя?

Значит, не видела, кто. Этот, с арматурой, только наступает медленно, а отступает, видать, быстро.

Баб Нина схватила меня за грудки и попыталась поднять.

- Не надо! - Катя хлопнула баб Нину по руке. Ничего себе! Даже я не позволял себе такого. - Не трогайте его! Нельзя до приезда «скорой»! Нельзя!

А я смотрю на них обеих и насмотреться не могу. А перед глазами только нависшее небо. А в голове: «Цок-цок-цок».

- Сева! Сынок!

А вот это уже папа. Откуда он тут взялся в рабочее время? Откуда? Тоже, что ли, решил прогулять? Или у него новое расписание, о котором я ничего не знаю?

Папа упал на колени рядом со мной, распростертым в луже.

- «Скорую» вызвали? - спросил непонятно кого.

- Да, - пискнула Катя.

- Се-е-е-вка, дурак! - продолжала оплакивать меня баб Нина. Я обратил внимание, что моя любимая соседка изо всех сил прижимает к груди Катьку, которая рыдает, как маленькая.

- Сынок, - папа склонился надо мной. В носу у меня защипало. - Ты не бойся, сынок, я не дам тебе умереть. Еще чего не хватало.

Раздался вой машины «скорой помощи».

- Папа, - крикнул я во все горло. - Ты самый лучший папа!
Я тебя очень люблю!

- Не бойся, сынок. Всё будет хорошо. Слышишь, «скорая» уже рядом.

По выражению папиного лица я понял, что он ничего не слышит.

Потому что я опять кричу про себя. Про себя, бли-и-и-н.

Потому что уже не могу вслух. Раньше надо было.

- Не закрывай глаза, Севка! Не закрывай глаза! - кричит папа и еще ниже склоняется надо мной. - Смотри на меня, сынок, смотри! Всё будет хорошо!

Я и смотрю.

Я верю папе - всё будет хорошо.

Папино лицо нависло надо мной и перекрыло небо.

Фридуцца

Как всегда, видения накатили внезапно. Только что боролась с субтитрами (тридцать шестая серия, благородный отец в патриархальных усах, «мама-свекровь» и кузен-отравитель, дедлайн – утро понедельника) – и вот уже сквозь оахакскую ярмарку на экране просвечивает Вальпараисо, а усы благородного отца обдаёт брызгами взлетевший пеликан.

Впервые я встретила тебя случайно, бороздя Интернет в поисках книги. Антрополог с японской фамилией обернулся чилийцем, а вместо работ по религии мапуче - гугловолна упорно выносила к моему берегу его стихи. Провозившись с час, я узнала много нового о синих ласточках и бледных маках и ничего – о Великом Отце Генечен. Так, блуждая по саду расходящихся ссылок, я встретила тебя. «Нинья пресьоса худиа», – прокомментировал Интернет.

...На первой фотографии из «Вики» тебе лет 17 – глаза сияют, улыбка открывает ровные крупные зубы. На второй - уставшая улыбаться в объектив восьмилетняя девочка в белом робко прильнула к сестре. На последней густо подведенные по моде 70-х веки опущены, в лице сквозит усталость – ты задержалась в редакции, дописывая статью. Макияж напомнил мне мамин, да и по возрасту ты годилась мне в матери – твой нерожденный ребенок был зачат в том же году, что и я.

С того дня я видела тебя почти ежедневно. Твое лицо то появлялось на моем мониторе за полтора часа до зажигания свечей, когда одной рукой я доводила до ума очередную серию, а другой шинковала капусту, то улыбалось, проступая холодным осенним утром на запотевшем стекле.

То, что моя мапучская подруга назовет однажды красивым словом «висьонес», с детства было такой же неотъемлемой частью меня, как близорукость и маниакальная тяга к зеленым леденцам. Незнакомые лица, сцены и пейзажи внезапно появлялись перед глазами, накладывались на реальность, как новый акварельный слой. Все они были предвестниками недалекого будущего – я всякий раз убеждалась в этом, встретив через пару дней лица из

«акварельного слоя» в уличной толпе, экзаменационной комиссии или очереди в булочную.

Однажды таких слоев оказалось сразу два. Сначала, валяясь в шезлонге в своем ашкелонском дворике, я увидела себя в компании смуглой скуластой женщины на фоне дома со стенами, выложенными чем-то вроде деревянной чешуи, а через полгода, сидя на бревнах у той самой стены (смола, мелкий мусор, шустрые крохотные паучки) в деревне на юге Чили, описывала ей свои «висьонес».

Но с твоим появлением характер этого привычного волшебства изменился: вместо эпизодов из моего будущего перед глазами теперь проходили картины из чужого прошлого. Лица твоей семьи и друзей сменяли сельские пейзажи, сценки с Пуримского карнавала перемежались демонстрациями и лачугами «грибных поселков», пляжи на тихоокеанском берегу - видами тель-авивской набережной.

...Порой наши с тобой воспоминания, разнесенные во времени на полвека, накладываются друг на друга. Не это ли еще одна причина, по которой ты выбрала меня? Не оттого ли еще, что наши воспоминания так часто совпадают?

Вот на секунду в «акварельном слое», так близко, что стала видна россыпь мельчайших родинок, промелькнуло смуглое скуластое лицо под шапкой черных кудрей, и рядом другое – бледное, женское, залитое смущенным румянцем под битловской челкой. На картинке, запечатленной в моей собственной памяти - те же лица, только челка женщины успела поседеть за три десятилетия, а ее муж улыбается с портрета над нашими головами. Даже сейчас, через тринадцать лет после нашей последней встречи, порой в длинном запутанном сне я, выйдя из питерской парадной на Чайковского, оказываюсь у входа в красный дом в колониальном стиле на углу площади Бразилии и улицы Сирот.

Вот «висьонес», неожиданно нахлынувшие во время подружкиной отважной в роскошном фойе «Короля Георга»: сквозь «акварельный слой», в котором ты, 16-летняя и счастливая, поедает дорожные пирожные в компании Клаудии и Мелиссы, просвечивает столик с современными реинкарнациями ваших пирожных и озадаченные лица моих подруг.

Вот 14-летней давности ташлик над грязноватыми водами Мапачо («собак и кошек» в них нет, зато

большинство менделеевских элементов присутствует) — посреди негустой толпы местных евреев гринга со странным акцентом, в теплом не по сезону платье торопливо ищет в молитвеннике нужную страницу, нет-нет, да переводя взгляд на гигантский революционный мурраль на бетонной стене. А вот и твой последний, «акварельный» для меня ташлих — ты пришла на набережную, уступая просьбам мамы, но мысленно дописываешь статью про бригаду мурралистов.

Всякий раз, нашаривая в траве гладкую, прогретую солнцем пассифлору, я подсознательно готовлюсь увидеть на ладони теплое зеленоватое яйцо арауканской несушки - такие яйца и я 13 лет назад, и ты в свое далекое, давно оставшееся в прошлом веке утро, - искали в деревенских дворах на чилийском юге.

Мапучская подруга, та самая, из дома со стенами в «чешуе», спросила как-то, не было ли у меня в роду «мачи». Я подумала и ответила, что, наверное, у меня это от бабушки, которая лечила людей, сама составляла лекарства и знала травы.

Ничего сверхъестественного, правда, в бабушкиных знаниях не было: она была не индейской шаманкой, а дипломированным фармацевтом. И я никак не могла унаследовать ее «эспириту» — бабушка умерла, когда мне было 28. Единственными приметам ее «ведьмовства» был неистребимый запах сушеного подорожника, навеки пропитавший все четыре комнатки нашей дачи, да, пожалуй, фантастический нюх на грибы, которые бабуля обнаруживала в любой из дачных «зеленых зон», в придорожных кустах по пути в магазин, в самых негрибных на вид закоулках питерских парков. Через много лет я продемонстрирую то же умение, угадывая шестым чувством похожие на воробьиные яйца древесные грибки чигуэньяс на верхних, неразличимых с высоты моего роста ветках. А вспоминая об этом, неожиданно услышу радостный смех и увижу твою тонкую загорелую руку, пытающуюся дотянуться до чигуэньяс на верхней ветке.

В последний раз (и я откуда-то точно знаю, что он - последний) я вижу твое лицо на поверхности поселковой миквы. Ты улыбаешься на прощанье. Я трижды погружаюсь в пахнущие хлоркой и святостью воды, выныриваю и внезапно понимаю, что готова вернуть тебя домой, а ты готова вернуться.

Крик птицы

Старая писательница проснулась посреди ночи оттого, что очень громко кричала какая-то птица. Не просто громко – она жаловалась, рыдала, пыталась сдержаться, хрипела – и снова этот захлебывающийся плач. Голос был сиплый, рваный, бесконечно унывающий. Голос человека, который заблудился и ничего не видит, кроме тьмы. Голос человека, с которого заживо сдирают кожу. С каждой минутой этот крик становился все отчаяннее, судорожнее, а потом – скребущие, скрежещущие звуки. И вот он оборвался. Кто может так кричать – здесь, в центре города?

С этой мыслью старая писательница проснулась. Три часа ночи. Сна нет, и уже больше не будет. На прикроватной тумбочке – блокнот, в который она записывала все, что могло когда-нибудь пригодиться. Можно было бы что-нибудь записать, тогда бессонница не была бы такой тягостной. Можно было бы рассказать о том, как кричала эта птица. Но – к чему? Этот крик ни с чем не лепится, кроме старухи, лежащей тут, в темноте, старухи, которая пережила три операции на почках, трех мужей, восемнадцать любовников и даже, может быть, собственного сына, но так и не пережила войну.

Интересно, а этот старый дом переживет войну? Пятиэтажная хрущобка выглядела так, как будто покорилась всем испытаниям, как будто безропотно перенесет все, что угодно, и будет стоять здесь всегда – неказистая, но надежная. А в квартире обои – желтые цветы на сером фоне, с пятнами жира, похожими на Азорские острова.

Всё как у всех было у старой писательницы, не любила она выделяться среди людей. Вот только одно – часы. Старой писательнице всегда надо было знать, сколько времени. И поэтому в каждой комнате, на каждом столике, на каждом комодике стояли часы. Разные – на прикроватной тумбочке был милый розовый будильничек, там же, в спальне, на этажерке – еще один будильник, но серый, строгий. Это при том, что в спальне на стене висели круглые белые часы с золотыми завитушками. И в кабинете, где старая писательница работала, - тоже было их несколько штук: на письменном столе стояли часы в

виде дворца, подаренные когда-то на юбилей, и в той же комнате – старинные напольные часы на массивной бронзовой подставке. И пара будильников на кухне. Все эти часы разговаривали – стрекотали, тикали, гудели, наполняя квартиру шумом, так что старая писательница никогда не чувствовала себя одинокой.

Она и не чувствовала себя одинокой, хоть жила одна. Только вот ночью... И только в последние три года. С тех пор, как сын пропал без вести. Каждую ночь из темной глубины выплывало: нет Димы. И неизвестно, где он. Он мог бы быть дома. И каждую ночь ей казалось, что вот сейчас зашуршат шаги на лестнице, заскрежещет ключ в замке – и вот он, Дима... Вдруг! Ведь она не хоронила его, нет могилы на том кладбище, где памятники порушены вчерашними прилетами. Все у нее не как у людей. Неизвестность – дремучий лес, непроглядная пучина, тревожное ожидание.

Дима был поздним ребенком и, в общем-то, ненужным. Не умеет она с детьми. Она – писательница, ей проще с бумагой, с печатной машинкой... Ее мама говорила:

- Ты за машинкой этой ухаживаешь больше, чем за сыном!

И вот – Дима отправляется к бабушке в деревню, потому что маме надо работать. Они всегда приезжали именно тогда, когда ей было абсолютно не до них – писала новый роман, сидела в ванной, ела любимое мороженое. Приходилось как-то включаться, изображать интерес. Но она же писательница, не актриса... Дима слонялся по квартире, заглядывал в шкаф, ворошил бумагу на письменном столе, раздражал... А мама говорила:

- Ему надо купить сандалии и осеннее пальто... Просто ужас, ну куда он растет?

Но вот уже вечер, и вот оно – освобождение, и в окне автобуса – маленькое осунувшееся личико, широко открытые глаза, неотрывно глядящие на нее. А сердце почему-то сжимается... Как-то не так, как-то неправильно она любит Диму, все время было что-то важнее – новая книга, люди, всегда что-то было...

А Дима смотрел на эту большую угловатую женщину, пахнущую табаком, и думал. Мысль была длинная и плохая, он знал, что это плохая мысль, но ничего не мог поделать. Ему не хотелось обратно в село, не хотелось и к маме – в этот лязгающий, каркающий, гудящий город. Он не хотел никуда. Ему было на всех плевать.

Все еще темно. Старая писательница пошла на кухню попить воды. Как же долго не рассветает! Хорошо еще, часы здесь, с нею рядом, ходят, постукивают – все-таки живая душа. Только в последнее время стали разное время показывать – часы на кухне отставали на десять минут, те, которые в кабинете – спешили, а часы в спальне просто остановились... Дом трянуло, екнуло в груди, часы на столе звякнули и подпрыгнули, но она продолжала лежать. Вставать не хотелось. Хотелось лежать, ждать Диму, скучать.

В сущности, он был хороший, беленький, голубоглазый. Только никак не мог нигде устроиться. Ей очень хотелось помочь ему – но как? Он ничего не умел и не хотел. На свадьбу Димы ее не пригласили. Через полгода жена его выгнала. Пять с половиной месяцев они жили вместе, и это был тихий ужас.

Добрая улыбка, тихий голос, взгляд, устремленный в себя. Его мысли все время блуждали где-то далеко, то ли в прошлом, то ли в будущем, то ли в лабиринте с седыми стенами и переполненными урнами по углам. Когда она работала в кабинете, он включал на полную громкость телевизор, и оттуда все время что-то обваливалось и грохотало, и звучали странные слова:

Горит огонь в моей груди.

Еще там меч - он вколот в сердце.

Утро начиналось с его надрывного кашля в ванной, ночью он выходил на балкон покурить и громко хлопал дверью. Она понимала, что стареет, потому что все больше и больше вещей ее раздражало. Еда в дешевой кафешке. Одежда из сэконд-хэнда. Скучные люди. Скучных людей вокруг становилось все больше и больше. Она сама для себя была скучной, и скучным был ее новый роман, она это знала, но ведь столько уже написала, не бросать же...

А Дима не помнил совсем, как они жили вместе, из этого времени осталось только одно воспоминание. Они пошли зачем-то в кино. Фильм он не запомнил – путаная история какой-то девушки, которая вела себя, как проститутка, а сын ее классной руководительницы погиб на войне. Фигня страшная, но мама плакала горячими слезами, глядя на все это, и говорила:

- Мне так никогда не написать... Дай же мне, в конце концов, выплакаться.

А потом умерла бабушка – и он уехал в село, в ее дом, на ее место. Старая писательница приезжала к нему целых

два раза. Мерзость запустения. На полу трава и грязные следы. Злой, выцветший мужчина сидит на кухне, говорит, что все козлы и уроды. И – ни дня без водки, как один известный писатель ни дня без строчки. А потом перестал отвечать на телефонные звонки. Она приехала – а там уже чужие люди.

Старая писательница встала с постели. Надо было начинать новый день. Его надо было начинать, несмотря на то, что ноги болели и пекли, как будто в огне. Голова болела – видимо, опять упало давление. Она умылась, заварила кофе, вышла на балкон. Было тихо. «Видимо, солдатики решили отоспаться», - подумала она о тех, кто не давал спать по ночам, кто не давал жить днем. И что делать дальше? Писать? Старая писательница писала всегда, иначе она не могла и не умела, иначе жизнь становилась звенящей пустотой, провалом, на дне которого шевелились останки чувств и мыслей. Она написала девять романов и работала над десятым, и в каждом из них было много любви, и много интересных вещей, и сложные ситуации. Ее читательницы-пенсионерки считали, что это и есть настоящее искусство. Старая писательница не была в этом уверена, но не знала, что еще можно делать в этом мире.

Ей было уже почти восемьдесят лет, и она знала, что страшно наивна. Каждый день она просыпалась с мыслью, что все очень плохо, и тут же начинала надеяться, что скоро все будет лучше. Эта тоненькая ниточка надежды, видимо, не выдерживала ее избыточного веса – и рвалась, рвалась упорно и неумолимо, как паутинка, повисшая в темном углу, при малейшем прикосновении. В первом ее романе что-то было – так говорили все ее знакомые. И чтобы понять, что же такое там было, она написала второй роман. Этот второй роман имел успех, его прочел один известный критик и даже упомянул в своем обзоре. Правда, из обзора нельзя было понять, нравится ли ему этот роман, - но на то он и обзор. Так что старая писательница села за третий роман – но все ее знакомые сказали, что он такой же, как первый. Старая писательница знала, что повторяться нехорошо, - и написала четвертый, который совсем не был похож на первый, а потом еще и пятый, который был вообще ни на что не похож. Ну а потом все пошло по кругу, и вот – жизнь прошла, и вот они – ее девять книг. А зачем она их написала? Для своих читательниц-пенсионерок? Да нет... Просто жизнь слишком запутанна,

ничего нельзя понять, а за письменным столом – все ясно, все по полочкам. Эти грустные мысли прицепились и доставали целый день, как старые проститутки.

А самая грустная мысль была о смерти. Старая писательница, в принципе, была готова к смерти, но не готова была к тому, что она умрет, не дождавшись Димы.

А Дима когда-то ей говорил, что она доживет до ста лет. Она будет красивой старухой. Седой, безжалостной, она будет потрясать костылем, проклиная завистников и бездельников. А когда умрет – будет очень удивлена:

- Как это так – смерть? Почему? У меня же еще столько дела!

Наверное, был пьян... Он много странных вещей говорил по пьяни... Одно время она даже записывала и некоторые его фразы отдавала героям своих романов. Вообще старая писательница иногда думала, что если бы он захотел писать – он бы стал писателем, а не она. Но он не хотел писать. А она была слишком занята писательством, чтобы его учить.

Старая писательница встала из-за письменного стола. Уже темнело. Нет, не закончит она этот роман... По сути, она его и не начала... Так что целый день прошел впустую. Зато она обнаружила, чем питается неуловимая моль, которая уже несколько дней поднимала ее из-за стола и заставляла переваливаться по комнате, нервно хлопая в ладоши. Оказалось, она ела пыль и мусор, который проваливался между досок на кухне. Значит, моль на самом деле полезная, эта милая бабочка, и этих бабочек не надо убивать, пусть живут, пусть их становится все больше и больше, умирать должны только люди.

И старая писательница снова задумалась о смерти.

Она вспомнила про Шекспира, который говорил, что жизнь – это театр. Вполне возможно, думала она, что жизнь после смерти – это тоже театр. Каждый человек после смерти попадает в зрительный зал драматического театра в каком-нибудь провинциальном городке. Потертый бархат на креслах, пахнет мылом, сыростью и духами. Зрителей мало, человек пять, и непонятно, зачем они пришли. Им все равно. Они устали. Шуршат обертками конфет, перешептываются. А человек вначале не понимает, что он стал главным героем. Смотрит на сцену, пытается понять, зачем все это. Кое-что кажется смутно знакомым. И в конце концов он понимает. На сцене – его жизнь, день за днем, все как было, без пропусков и пояснений. И показывают ее

этим случайным равнодушным людям. И пощады нет – эти люди увидят все, что ему самому хотелось не видеть, что нельзя видеть никому. Он забыл – а ему показывают. Ему стыдно – но надо смотреть. Хочется провалиться сквозь землю – но вокруг просто театр, обычный театр, где нет ни ангелов, ни чертей, никого – только длится и длится этот стыд и ужас, просто пьеса в провинциальном зале, разыгранная среди зевающих и случайных людей.

С этими мыслями старая писательница заснула. Опять приснилось, что кричит птица. Плачет взхлеб, заходится рыданиями, жалуется на жизнь. Судорожно всхлипывает каждую минуту, что-то выкрикивает, бормочет... Господи, что ж это она так сокрушается? Господи, о чем же она так тоскует? Старая писательница пошла на крик птицы... Вот она, родная улица, посередине – сгоревший автомобиль, железные трубы лежат вдоль дороги. Вдали видна библиотека, в которой у нее еще перед войной была встреча с читателями, так хорошо посидели – а теперь рамы вынуты, стекла выбиты. А возле библиотеки – детская площадка. Гремит вдалеке, гремит. И там, на площадке, играет ее сын Дима. Он маленький, лет пяти, в шортиках и рубашке в желтый цветочек. Тихий ветерок пахнет пылью и кровью. Он делает пасочки. Голубые глаза Димы широко открыты, с любовью смотрят на нее. У него красный совочек, голубое ведерко. Взрывы все ближе и ближе. Старая писательница плачет от счастья, потом смеется, потом опять плачет, бежит навстречу... И Дима протягивает к ней руки, смеется и обнимает ее.

Да будет свет

Вечером шестнадцатого февраля мы сидели возле телевизора, смотрели новости. Падал снег, сухие ветки тополя царапали оконное стекло. Помню, у мамы весь день болела голова, и настроение было не очень, но она привычно и обреченно улыбалась, глядя в окно, где летали, как мошки, сталкиваясь друг с другом, снежинки, и на нас, сидящих на диване, как положено, чинно и грустно, тихо переговариваясь между собой. Вот – сестра, вот – я, вот – жених моей сестры Валера, вот папа – все на месте, в доме порядок и жизнь идет своим чередом, как много лет подряд, только вот папа больной – сидит в кресле, улыбается и ничего не понимает...

Ветер носится по вечернему двору, воеет жалобно, как больная собака, среди разодранных в клочья облаков, оконные рамы трясутся и стекла дребезжат тонко и монотонно. Вот зазвенело что-то – наверное, упала сосулька.

Тогда, глядя в телевизор на беспристрастное, как маска, лицо диктора, вдруг заговорившего тонким и ломким голосом, отец сказал:

- Будет война.

Он не говорил ничего уже несколько дней. Не говорил совсем ничего. Раньше он разговаривал, но его очень трудно было понять, слова, будто белесая паутина, повисшая по углам заброшенного дома, колыхались и изгибались, сплетались друг с другом странно, обрывались неожиданно, и беспомощно повисали в воздухе. Зато папа улыбался, как не улыбался никогда, когда был умным и все понимал – потому что тогда он был непроходимо серьезен. Улыбался беззащитно и растерянно - как ребенок, который разговаривает с ангелом. Я думала, глядя на него, что все правильно – чтобы научиться улыбаться, надо перестать понимать.

Но он сказал:

- Будет война.

И не улыбался. Мы знали, что он прав, и от этого вдруг засосало под ложечкой и закружилась голова. А папа встал и выключил свет. А потом включил его. И сказал:

- Да будет свет!

Он часто так делал – ходил по комнатам, включал и выключал свет. Если было темно – включал, если было светло – выключал. Но всегда говорил: «Да будет свет!». Эта фраза странным образом осталась в паутине его сознания целой и невредимой, и на этой ее сохранности мы строили наши хрупкие, причудливые надежды, которые, как тени, носились в воздухе нашего дома – и исчезали, задевая наши лица своими шершавыми крыльями.

Жених моей сестры Валера стал собираться домой, и она ушла с ним. Собственно, она приходила для того, чтобы мы с ним познакомились. Он говорил, что у него самые серьезные намерения. Но с женой он так и не развелся – погиб через два месяца в боях за маленький городок, затерянный посреди огромной степи.

На похороны сестра не пошла, побоялась сцен, но каждую ночь ей снился один и тот же сон: она ложится в огромную пустую постель, и в комнату вносят гроб – огромный черный

гроб, оббитый красным бархатом внутри. Все исчезло в темноте и холоде. Гроб тихо поворачивается вокруг своей оси, переворачивается в воздухе и возвращается на свое место. И опять холод и темнота.

А потом приходил папа и включал свет. И говорил: «Да будет свет!». А потом выключал его.

В общем, сестра плакала три недели, а потом вышла замуж. Имя Валеры больше никогда не упоминалось, только мама иногда говорила что-то про башмаки, которые сестра так и не износила. Как будто ей было жалко башмаков...

Мама в последнее время часто говорила что-нибудь эпическое, особенно когда начинала выть сирена. Это было нормально в мамином возрасте, к сиренам же мы как-то быстро привыкли. И к тому, что папа включает и выключает свет, мы привыкли давно. Врач говорил, что этот симптом обнадеживает и, возможно, это попытка как-то разблокировать то, что заклинило. Мы радовались: хоть что-то обнадеживает, и не только нас – эти зыбкие проблески мелькают повсюду, еле-еле видные, но все-таки живые...

А сестра уехала в Италию. Когда мы ехали на такси в аэропорт, оказалась, что она выпила слишком много коньяку. Очень многое она хотела нам сказать, но не могла, только бормотала сквозь слезы и икоту:

- Ой, девочки, как же мне плохо!

- Хватит уже ныть, - отвечал ее муж, бледнея и неуверенно улыбаясь.

Потом мы с мамой ехали обратно на автобусе, вдруг начался дождь, где-то вдали грохотало, и из тумана навстречу выплывали углы серых кирпичных домов и голые деревья, постепенно приобретая четкие очертания. Я глядела на них. И они глядели на меня, честно и беспощадно, как перед смертью.

И вот уже наша остановка, и зонт заело, как назло, и ветер в лицо, а там, у подъезда, мокнет под дождем надетый на сучок дерева кем-то потерянный носочек...

Когда сестра уехала, папа этого не заметил. Только мама его иногда спрашивала:

- Где Света?

А он ничего не отвечал, смотрел вдаль, улыбался потерянно и пожимал плечами, а потом вставал и включал свет. В комнате, залитой солнцем, вспыхивал под потолком беспомощный огонек. Вспыхивал – и гас. Но папа говорил:

- Да будет свет!

- Эх ты... - отвечала ему мама и взмахивала тряпкой так, как будто бы хотела смахнуть, как мусор, эту комнату, где мы сидели и молчали, и этот дом, в котором становилось все меньше и меньше людей, и весь этот мир, в котором все время где-то бахало, стучало, а ближе к вечеру в небе на горизонте вставало пламя.

А папа мотал головой, как будто от боли, а потом открывал окно и смотрел на улицу, где было пусто, ветер гнал пыль, и трусила, нагнувши голову, серая расседланная лошадь со втянутыми боками. Папа удивленно поднимал брови, но этого никто не видел. И я все время удивлялась – откуда она здесь, в городе? Потерялась? Убили хозяина?

На улицу папа давно уже выходить перестал, а в последнее время больше лежал, глядя в потолок, шевелил губами беззвучно и сокрушенно вздыхал. С тех пор, как уехала Света, у него стали сильнее дрожать руки.

А я никуда не уехала. Я осталась с папой и мамой – не потому, что была такая хорошая, и не потому, что мне было сильно хорошо в этом городе, а потому, что понимала: идти мне некуда. Меня никто нигде не ждет.

«Почему так получилось?» – спрашивала я себя бессонными ночами, слушая грохот дальних разрывов и шорох шин на асфальте. Когда меня в последний раз кто-нибудь пригласил куда-нибудь? Когда я кого-нибудь куда-нибудь пригласила? И на День святого Валентина опять буду сидеть дома и смотреть ужастики. Что со мной не так? Люди – идиоты, а жизнь – страшная. Но ведь это я – люди, и я живу эту жизнь... У меня уже морщины на лбу и рот кривится. Раньше не было так...

Я вставала, выходила на балкон покурить, вспоминала детство, школу, подруг, которых на самом деле не было, возвращалась в постель, пыталась заснуть. Но тут неожиданно что-то происходило – шаркали шаги, клацал выключатель один и другой раз. И в сумраке вырисовывалась папина фигура, и слышался его дрожащий голос:

- Да будет свет!

Но света не было. Свет тогда выключали очень часто.

И я знала, что это последнее, что я услышу от папы сегодня, а может быть, и завтра, целовала его щетинистую щеку, а он улыбался и не понимал, куда он пришел и что делать, и я брала его за руку, и вела в спальню, а мама уже проснулась, и в темноте начинался разговор – быстрый,

скачущий от вопроса к вопросу, начатый, чтобы как-то успокоиться, но тревога накатывала снова и снова – а тут еще начинало бабахать где-то очень близко – и надо было идти в коридор, и там сидеть, пока не затихнет.

А утром идти на работу, и мама гремит тарелками на кухне, а папа сидит за столом и смотрит неподвижным взглядом куда-то вдаль, и беззвучно шевелит губами. После работы домой мне не хотелось.

Папа умер во сне. Врач сказал, что он не мучился. В памяти от этого времени остались только какие-то ошметки: мама в ночной рубашке стоит у окна и смотрит вниз, во двор. А там, во дворе – опять эта лошадь, худая, мокрая, покорно стоит под дождем. Вот – кладбище, и кресты от горизонта до горизонта, и мы идем, спотыкаясь о комья земли, мы с мамой, Света, мамина сестра Люся, еще какие-то родственники и самым последним - дядя Слава. Он был на костылях, замотанных грязно-белым бинтом, и все время отставал, волоча свои согнутые в коленях ноги, и его рыжие кудри светились и переливались на майском солнышке.

После папиной смерти мы жили практически молча. Пока он был жив – всегда было что обсудить, а вот теперь – не стало. Я вдруг обнаружила, что есть множество возможностей хорошо провести время не дома. Можно было сходить посидеть в том же самом скверике, на той же скамеечке, под тем же самым деревом, где когда-то мы с сестрой сидели после школы и разговаривали, и смеялись, и машины носились, как сумасшедшие, и солнце светило. Можно было проехать две остановки на трамвае – и пойти в то самое кафе, сесть за тот же самый столик, где когда-то мы встречались с подружкой студенческих лет Машей Гапчич, которой ее жених все время дарил золотые кольца и она демонстрировала мне обновки, восклицая:

- Смотри, какое прекрасное! Помнишь то, что Вовка дарил на Восьмое марта? А это – в сто раз больше, в сто раз лучше!

Можно было еще пойти навестить ту самую троллейбусную остановку, на которой я когда-то в десятом классе ждала целый час Вовку Каптуревского, с которым познакомилась на улице – он дал мне сигарету. Он, конечно же, не приехал, так что дальше можно было сесть на тот самый второй троллейбус, на котором я потом два часа каталась по кругу.

Да, много было возможностей приятно провести время, но домой все-таки надо было вернуться до комендантского часа, и я возвращалась. Улицы быстро пустели, луна выходила из-за туч, и однажды я увидела ту самую расседланную лошадь, которую видела когда-то, когда папа был жив. Она шла между домами по дороге, перед ней расступались черные деревья, шла все дальше и уже почти исчезла за перекрестком, растворилась в тумане, и в тумане я вдруг четко увидела за ее спиной два белых крыла, уходящих в небо.

А мама оставалась одна, но когда я приходила, она останавливала меня уже в коридоре и рассказывала, сколько раз отключали воду, и сколько раз отключали свет, и как сейчас не хватает папы, который хоть и ничего не понимал, но без него как-то пусто, и некому сказать «Да будет свет!», даже если никакого света нету, и что нам еще осталось, - только ждать света, ждать воды...

Сны у меня стали яркими и странными. Я видела во сне наш старый балкон – там Света сложила свои книги, когда уехала в Италию, и все про них забыли – и вдруг они приходили в мой сон, пыльные и грязные, шуршали и шелестели страницами, как будто упрекали меня в чем-то. И во сне я разговаривала с ними, объясняла, что иначе нельзя, что никто не виноват, что Светы нет, ей в Италии лучше, и снова – никто не виноват – и плакала. Я видела во сне цветы, которые оставила соседка, попросила поливать, но мы все время забывали, а они увядали, и опали лепесточки, и листья скручивались в трубочки, и тоже разговаривала с ними, и тоже плакала.

А однажды мне приснился папа.

Он пришел ко мне на рассвете, после целого дня грохота, скрежета, ужаса. Была тихая и темная ночь. Было холодно. Вначале в проеме двери замаячила нечеткая, дрожащая фигура и раздались шаткие шаркающие шаги. Потом резко включился свет. «Да будет свет!» - пролетело в моей голове, и я увидела папу. Он улыбался – как при жизни и еще лучше, но уже все понимая, и все равно улыбался, и правда как будто бы разговаривая с ангелами, по крайней мере, я слышала тихий шепот:

- Ангел мой лысенький, ангел переливчатый, ангел придуравошный, - говорил папа и улыбался, улыбался, растерянно и незащитно, как всю свою жизнь, как всю мою жизнь, как всю нашу жизнь на земле, сырой от слез.

Дедушки

У меня никогда не было дедушек. Были, конечно, но они меня не дождались. И всё, что я знаю, - семейные предания. По преданиям, один мой дедушка играл на скрипке. Другой - играл в карты. Дедушка-скрипач был высоким, красивым, непьющим, некурящим и очень остроумным. Об этом говорила бабушка. Дедушка-картёжник был рыжим, краснолицым, пьющим, курящим и очень азартным. Об этом говорили все.

Дедушка-скрипач умер в 43-м в эвакуации. Похоронили его в маленьком киргизском городке. Сухой серый песок с его могилы бабушка и дети насыпали в прозрачные бутылки, перевязали чёрной лентой и привезли в свои дома. Взрослые, глядя на такую бутылку, вздыхали, качали головой и пускались в воспоминания, которые обрастали неслыханными подробностями. Поэтому я знала о дедушке-скрипаче даже то, что ему и не снилось. Квадратный стеклянный штоф стоял на видном месте, и когда я прыгала, бегала, скакала, стекло позванивало, и чёрный печальный бант смотрел с укором. На приклеенной намертво пожелтевшей бумажке мама каллиграфическим почерком написала чёрной тушью: «Спи спокойно, дорогой отец!». Читать я не умела, но взрослые мне прочитали эти чёрные буквы. И я их немного боялась. А раз мама написала, чтобы дедушка спал спокойно, я очень следила, чтобы его не беспокоили и не шумели. Когда приходили подружки и начинался татарам, я топала ногами и кричала: «Тише! Дедушка проснётся!». Они застывали, крутили головами, но я ничего не могла объяснить.

Потом я выросла, научилась читать, знала, что в бутылке песок — и всё равно, дружбы с дедушкиной бутылкой не получилось. Да и бутылка исчезла. При переезде в новый дом исчезла. Видимо, дедушка не захотел опять менять адрес.

Дедушка-картёжник умер рано. Моему папе было тринадцать лет, когда прибежали и сказали, что дедушка упал и умер прямо за карточным столом. Папа первым увидел его голову, лежащую на колоде карт, красное лицо и рыжий клочок. А потом в это маленькое местечко пришла война, памятники уничтожили, могилы сравняли. Через

много лет папа исчез на пару дней, потом появился и положил в угол холщовый мешок. Потом они с мамой долго шептались. Я слышала, как мама спросила:

- Как ты его узнал?

- Рыжий клок, - сказал папа и заплакал.

Потом папа вывел меня на улицу и стал говорить, что у него на этом свете нет ни одной родной могилы. Поэтому он поехал, отыскал могилу отца, привёз его останки и хочет захоронить.

— Там, в мешке, твой дедушка, - торжественно сказал папа. Я была уже подростком, но испугалась, как трёхлетка, и убежала сразу. Вернулась, когда дедушку уже захоронили.

Не знала я дедушек. Разве что чуть-чуть. Бутылка с песком и холщовый мешок. У меня абсолютно нет музыкального слуха, и я не играю в карты. А вот если бы дедушки меня дождались... Кто знает?

Рука

Она всегда лежала в диване. Среди мелкого тряпья и других выцветших воспоминаний. Лежала на виду. Стоило только приоткрыть крышку дивана, я начинала кричать, зеленеть от страха и прятать голову в бабушкину юбку. Это была рука. Правая рука, сделанная на киевском протезном заводе. Весила она килограмма три, была воскового цвета и казалась точной копией руки, которую папа потерял в 42-м, наткнувшись на мину. Эти резиновые три килограмма он ненавидел. По большим праздникам или когда шли к кому-то в гости, мама говорила:

- Не забудь надеть руку!

И он нехотя открывал диван. Потом руку долго пристёгивали, крепили на плече, а я тряслась от страха. Никакие Карабасы меня не пугали так, как эта рука. И когда я зависала над манной кашей, бабушка говорила:

- Открой рот или я покажу тебе руку.

И тогда я была готова даже на рыбий жир.

А вот мой брат её не боялся и, когда никто не видел, таскал из дивана во двор. Мальчишки ему завидовали и кричали:

- Дай поносить!!

Он размахивал рукой, как мечом, и шёл в бой с ней наперевес. Конечно, папа грозил ремнём, но что ремень против славы?

- Смотри! - говорил папа. - Не доводи меня до последней капли.

И брат давал честное пионерское. Но что честное пионерское против славы?

И всё-таки последняя капля наступила. Брат принёс руку в школу. На уроке физики, когда учительница спросила про какой-то закон Ньютона и сказала: «Поднимите руку, кто знает», мой брат поднял две руки. Тяжёлая восковая рука чуть колыхалась, а учительница медленно сползала на пол.

А потом я услышала крики и выглянула в окно. Это папа шёл с братом из школы. В левой руке папа держал резиновую правую и колотил ею брата. Брат кричал только два слова:

- Честное пионерское!

Но любимая организация уже ничем помочь ему не могла. Наказание было страшным. Два дня никакого футбола — только назубок все законы Ньютона.

Через пару дней брат сказал мне:

- Давай избавимся от руки.

Я очень обрадовалась. Он иногда брал меня на задания: постоять на шухере, принести воды раненому, когда играли в войну, а однажды даже взял меня в плен. Но избавиться от руки - это было серьезное задание. Брат сразу предупредил, что если я проболтаюсь, то... И он не стал продолжать, что будет, а только посмотрел. Я очень быстро закивала.

На следующий день брат сказал маме, что отведёт меня в детский сад. Мама приложила руку к его лбу.

- Температура нормальная. Ты же никогда этого не делал.

Брат поправил пионерский галстук и сказал:

- Когда-то надо начинать.

Потом посмотрел на меня и подмигнул.

В садик мы, конечно, не пошли.

- Куда мы идём? - спросила я по дороге.

- На стадион, - ответил брат.

Мы жили в трёх кварталах от стадиона, и он всегда ходил с папой на футбол.

- Но сегодня нет футбола.

- Знаю, - отмахнулся брат.

По дороге мы зашли в большой дом. Брат называл его «дом Войнова» - здесь жил знаменитый киевский футболист Юрий Войнов. Мы поднялись на последний этаж и вышли на маленький чердак; там из-под пыльных ящиков

брат вытащил свёрток, завёрнутый в моё любимое детское одеяло. Это была рука. Он стащил её накануне вечером. Я хотела обидеться по поводу одеяла, но избавление от руки было сильнее моей обиды. И мы пошли вниз.

- А почему ты её здесь не оставил? Папа не найдёт? - спросила, не зная, куда мы теперь идём.

- Рука ни в чём не виновата. И должна приносить пользу, — сказал настоящий пионер.

Мы подошли к стадиону. Нефутбольный день. Почти никого. Только у входных ворот пара нищих разложила на земле шапки и пустые консервные банки. Редкие прохожие бросали медяки, их колокольный звон будил просящих и давал надежду.

Брат подошёл к очень маленькому дяденьке. Потом оказалось, что он вовсе не маленький, а сидит на каталке, и нет у него обеих ног. Брат долго о чём-то говорил; я стояла в стороне и прижимала к себе свёрток с рукой. Потом он за мной вернулся и повёл к дяденьке.

- Разворачивай, - шепнул брат.

Я очень торжественно развернула, дяденька аж свистнул. Мы положили руку рядом с каталкой ладонью вверх. Прохожие стали останавливаться, показывать пальцами. Со стороны это было и смешно, и грустно: сидит дяденька без двух ног и с тремя руками. Третья рука сразу стала зарабатывать деньги. Все подходили и вкладывали в резиновую ладонь разную мелочь. Мы радостно вздохнули и ушли. По дороге домой брат чуть не лопнул от гордости.

А дома обнаружили пропажу. Папе нужно было идти на какое-то собрание, и нечего было надеть. Он бегал по комнате и кричал: «Где рука?!» Брат был настоящим пионером, он молчал. А я была папина дочка, и всё ему рассказала. Потом было очень тихо. Брат приготовился к худшему, а я крепко держала папину руку. И вдруг папа всхлипнул и пошёл обнимать брата.

- Наконец-то! - шептал он. - Наконец-то она начнёт приносить хоть какую-то пользу.

Человек с попугаем

Когда она вышла на третий круг, на нос упала парочка первых капель. Не страшно; для чего же капюшон?

Она давно не верила ноябрю, который мог с утра растянуть над головой абсолютно синие небеса без намёка на облачко. А потом, за какие-то полчаса, непонятно откуда, понагнать туч и ошеломить ливнем.

Такое с ней уже случалось пару раз.

- Не сахарная, не растаешь,- ободрила она себя словами бабушки, знакомыми с детства.

Самое главное и самое трудное - это выйти. И коль она это сделала, то дождь не помеха. Тем более, она не одна такая. Народ ходит; правда, совсем немного. Ещё пару кругов - и можно домой. У них в городе была улица специально для любителей спорта - с разметками для пешеходов и велосипедистов, с уже подсчитанными и аккуратно нанесенными на асфальт метрами. 980 м. - в одну сторону. Почти километр. Чётко и понятно, сколько надо пройти, чтобы набрать 5-6 км. Но потом ей надоел этот маршрут, надоели эти ходоки с фанатизмом в глазах, которые мчались в таком темпе, что ей становилось стыдно за свою весьма умеренную скорость. А потому она перенесла свои прогулки в парк. Он был тут же, за высоким зелёным забором, и ходить там было не в пример интересней. Круговой маршрут, часть из которого - по берегу симпатичного озера, вокруг которого копошилась детвора, любясь уточками, лебедями и кувшинками.

Сегодня детей не было. Сегодня они лепили, рисовали, смотрели телевизор и играли в компьютерные игры дома. А также лезли на стены и выносили мозг родителям, ибо нельзя запереть детей в четырёх стенах без последствий. Но кто поведёт ребенка гулять в дождь?

Когда она заканчивала третий круг, дождь разошёлся - теперь это были уже не одиночные капли, хотя до ливня было ещё далеко.

- Вещи должны быть качественные, - внушала ей дочка. И она был права. В этой куртке было не страшно попасть под проливной дождь.

Они встретились глазами на четвертом кругу. Он шел ей навстречу - против часовой стрелки. Что-то зацепило её раньше, привлекло внимание, но что - она не поняла. Самый обычный мужчина среднего возраста, среднего роста, средней небритости и в куртке без капюшона, которую явно бы не одобрила её Алина.

Она остановилась и присела, поправляя кроссовку: и для кого, и главное - зачем такие длинные шнурки?

- Сегодня дождь, сегодня дождь, сегодня дождь, - услышала она над головой.

Вот оно! Вот что зацепило её внимание. На плече у мужчины сидел попугай. Это было настолько нереально, что она зажмурилась. А когда открыла глаза, поняла, что всё более чем реально. Мужчина поглаживал мокрые перья и ласково беседовал с птицей:

- Не волнуйся, Изя, всё в порядке. Ты прав, идёт дождь.

Попугай продолжал волноваться, крутил головой, и, судя по всему, не думал оставлять плечо своего хозяина. Это не был местный попугай, из тех, которые оккупировали город и кричали под окном, тряся длинными зелёными хвостами. Он был намного крупнее, яркой расцветки и с каким-то осмысленным взглядом философа или шахматиста.

- Изя? - она улыбнулась то ли попугаю, то ли ситуации: дождь, парк, говорящий попугай на плече у мужчины. - Привет, Изя!

- Ну, привет-привет, - Изя смотрел на неё немного снисходительно, как бы свысока. - Привет-привет!

Мужчина вытащил из внутреннего кармана куртки чёрный зонт и с лёгким щелчком раскрыл его над головой.

- Так лучше?

- Tengo frio¹, - ворчливо пробормотал попугай,

- Так он у вас полиглот?

- И полиглот, и философ, и мудрец, три в одном, - улыбнулся мужчина. - А потому мы с ним друзья.

- И давно он у вас? - спросила она, чтобы поддержать разговор. Мужчина не ответил, озабоченно посмотрев на небо. Дождь усиливался.

- Знаете, здесь есть чудное кафе, работает только по субботам, там можно переждать дождь и немного согреться. Не составите компанию нам с Изей?

Заметив сомнение на её лице, он улыбнулся:

- Я знаю, как вас убедить. Вы любите маковый рулет?

¹ Tengo frio (исп.) - я замёрз.

В кафе не было ни души. Они сели у окна, сделав заказ: два капучино и два рулета.

- Женщины должны есть сладкое, - сказал он и добавил:
- Иногда.

Они сняли куртки, и попугай стоически выдержал этот процесс, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу на спинке стула.

- Tengo calor¹, - недовольно, но вполне внятно проворчал Изя и занял своё законное место.

- Он у меня консерватор, любит порядок, стабильность. Не переваривает новые места и незнакомых людей. Но вы ему явно понравились. Да, а мы и не представились друг другу, - он протянул руку: - Марк.

- Маша, - она отметила про себя красивой формы ногти и длинные пальцы. - Вы музыкант?

- Играю немного на гитаре; вернее, играл. Маме всегда говорили, что мальчик с такой кистью должен учиться музыке...

- И?

- Музыку люблю, но специальностью это не стало. Я архитектор, проектирую дома, делаю наши города красивыми. А вы, Маша?

- А я делаю красивыми людей, в основном женщин.

- Давайте я угадаю!

- С трёх раз, - она раскрыла ладонь, приготовившись загибать пальцы.

- Стилист!

- Это раз.

- Uno!² - голосом спортивного комментатора провозгласил Изя.

- Не угадал? Косметолог!

- Это два, - она улыбнулась, помешивая горячий кофе.

- Dos³, - с каким-то разочарованием протянул Изя.

- Ну, дизайнер одежды, визажист, фитнес-тренер...

- Три, четыре, пять. Это уже перебор. И всё мимо.

Изя перепрыгнул с плеча Марка на спинку пустого стула и раскрыл крылья, как человек, делающий зарядку.

- Какой красавец! - восхитилась Маша.

¹ Tengo calor (исп.) - мне жарко.

² Uno! (исп.) - один.

³ Dos (исп.) - два.

- Изя - красавец, - высокомерно подтвердил попугай, аккуратно свернул крылья, поправив крупным загнутым клювом несколько перьев, и вернулся на плечо Марка.

- Ну, Маша, раскройте тайну, раз я не догадался.

- Всё просто и нет никакой тайны, - она пригубила кофе, заметив с удовольствием, что в таком маленьком, не известном ей кафе, подают такой вкусный напиток и такую свежайшую выпечку.

- Я стоматолог. Но прошла переквалификацию, и на сегодня я «Маша - уколы красоты». Колю женщинам ботокс, филлеры, прячу морщины, борюсь с законами гравитации. В общем, делаю их молодыми, красивыми и счастливыми.

Попугай захлопал крыльями, видимо, имитируя аплодисменты.

- Замечательно, Маша. Теперь, когда мы раскрыли тайны наших профессий и немного согрелись, можно перейти «на ты». Вы не против?

- Нет, конечно, можно и «на ты», - она попробовала кусочек макового рулета. - Я понимаю, что этот рулет полностью сведёт на нет нашу ходьбу, но это невероятно вкусно. Здесь почти нет теста, сплошной мак. Попробуйте, - она осеклась. - Попробуй!

- Согласен, потому что ел здесь, и не раз. Непонятно, почему они открыты только в шабат.

- Да, странно, согласна, но выпечка здесь просто домашняя.

Марк положил кусочек рулета на салфетку и поднёс Изе. Тот взял аккуратно, не уронив ни крошки.

- Все местные знают это кафе, и здесь по утрам достаточнолюдно. Это сегодня из-за погоды нам так повезло. Вы же из нашего города?

- Да, но я здесь совсем недавно. Переехала из Тель-Авива по семейным обстоятельствам, - она замолчала, ожидая вопросов, но Марк терпеливо ждал. Изя, видимо, тоже ожидал продолжения, искоса поглядывая на неё. - Да, я разошлась, а после продажи квартиры поняла, что не потяну покупку в Тель-Авиве. Очень дорого.

Он понимающе кивнул, и она внезапно увидела, что у него очень добрые глаза.

- Вот, посоветовали присмотреться к вашему городу. Я долго не решалась: уехать из Тель-Авива - это серьёзный шаг.

- Ты просто не знала про это кафе, - он улыбнулся и снова предложил Изе кусочек рулета. Тот принял дар с

удивительным достоинством, с каким, наверное, короли принимают подношения от послов чужих стран.

- Да, наверное, - она замолчала, помешивая кофе. - Было много против: там, в центре, остались друзья и знакомые, клиентура. Но я подумала: для тех, кто хочет меня увидеть, это не расстояние.

- Маша, - неожиданно медленно и чётко, как бы пробуя её имя на вкус, произнёс Изя.

- Это он к тебе в дружбу набивается, - улыбнулся Марк. - Чувствует родственную душу.

- Он давно у тебя?

- Уже четыре года, - Марк прикрыл глаза и замолчал. Она понимала, что это не просто молчание и боялась его нарушить неосторожным словом.

- Марик, - тонким голосом позвал Изя и прислонился своей головой к его затылку. Марк открыл глаза, и она вдруг увидела совершенно другого человека - усталого? Нет, скорее сломленного, отчаявшегося, в глазах которого явно читалась боль. Эта метаморфоза была настолько яркой, что она опустила глаза, не желая быть непрошенной свидетельницей этой боли.

- Ты, конечно знаешь, что делают наши ребята после армии?

- Едут, - коротко ответила она, не поднимая глаз.

- Да, едут. Кто куда. Желательно подальше. Наш Михаэль выбрал Южную Америку. Работал, копил, учил испанский. В общем, мы быстро поняли, что возражать бесполезно. И не возражали. Он взял билет на полгода с правом его поменять бесплатно. Мы считали сначала месяцы, потом недели, а потом он написал, что продлевает своё путешествие ещё на три месяца. И мы начали считать дни. 90 дней - это так много, особенно после 180. Очень много.

Он замолчал, устало прикрыв глаза и потирая переносицу.

- А потом, когда оставалось совсем немного, буквально пара недель до его возвращения, нам позвонили и сообщили о трагедии. Землетрясение, не очень сильное, но этого было достаточно, чтобы сошла лавина. А он был в горах, на треке. Ранило ещё двоих ребят. А мы... Мы просто потеряли нашего сына. Лавина его забрала. И ничего нельзя было сделать. Абсолютно ничего. Его нашли, быстро нашли и привезли в Израиль. А через пару месяцев после похорон нам позвонила девочка и попросила разрешения приехать. Анат. Худенькая, светленькая такая, вся в

кудряшках. Они с Михаэлем были там вместе последние полгода. Пришла сообщить, что у них было всё очень серьёзно. Настолько очень, что она беременна и будет рожать. Принесла много фотографий, где они вместе, и по этим фото мы как-то поняли - да, серьёзно. Очень. Она пришла не одна. Привезла Изю. Нашему Михаэлю его подарил кто-то в самом начале путешествия, и он его просто обожал. Анат пришлось потрудиться, чтобы выбить разрешение на приезд Изы в Израиль. Он был тогда не Изя, а Хосе, и болтал только на испанском. Мы даже купили словарик. За эти четыре года выучил иврит. Анат родила мальчика. Объяснила, что не назвала в честь Михаэля, потому, что нельзя называть в честь трагически погибших. Так ей сказала бабушка. Нельзя. Наверное, она права. Назвала Натанэль.

- Данный Богом, - прошептала она чуть слышно.

- Да, именно так Анат и считает. Что этого ребенка послал ей Бог, как память о нашем мальчике. Одно плохо - она живёт с родителями в Кармиэле. А это не близко. Я ещё не видел такого сходства между отцом и сыном. Мы сравнили фото. Это поразительно, Маша, просто поразительно. Как будто кто-то вернул Мишеньку на землю. А потом... через два года не стало Лены. Обширный инсульт. Она просто ушла к Мише. Если честно, я не знаю, как она продержалась эти два года. Реально её не стало в тот день, когда нам сообщили о случившемся. На плаву её держала работа. У неё был свой садик, небольшой, но очень успешный. К ней записывались почти за год. Ну, ты понимаешь, дети, положительная энергетика, такой позитив с утра до вечера. Родители были очень внимательны к ней после всего...

- Да, понимаю, - Маша кивнула.

- Многие советовали ей родить, но ей было уже сорок три. Не рискнула. И было как-то понятно, что никакой другой ребёнок не заменит ей сына, - Марк задумчиво мешал остывший кофе, а притихший Изя медленно водил крупным клювом по его влажным волосам. - Ну, вот так и живём. С Изей. Гуляем по шабатам. Я, наверное, стал уже местной достопримечательностью. Кто-то мне сказал на работе, что меня называют "человеком с попугаем". Где-то раз в месяц-полтора еду в Кармиэль. Натанэль уже большой мальчик, смыслённый, красивый. Анат его очень правильно воспитывает. Хорошая девочка. Мы с Леной были бы рады такой невестке. Но случилось то, что должно

было случиться. Ведь как говорят - от судьбы не уйдёшь, - Марк грустно улыбнулся. - No puedes escapar del destino. Правда, Изя? - он погладил попугая по ярким крыльям.

- Si, si, verdad¹, - Изя печально посмотрел на Машу мудрым взглядом философа.

- Подсох, - с удовлетворением улыбнулся Марк.- Вы простите меня, Маша, загрузил я вас своими проблемами, - он почему-то снова перешёл «на вы». - А вы с кем живёте?

- Я? Я одна. Моя дочка тоже после армии уехала на год. Поработать в Австралии. Уехала на год, а оказалось, что навсегда. Встретила там парня, местного. Любовь, - Маша развела руками и вздохнула. - Любовь... Моей внучке годик, я её ещё не видела, только через «Скайп». Но зато теперь есть шанс увидеть Австралию. Они очень зовут. И Алина моя, и Стивен, и даже его родители. Летом поеду, если всё будет нормально.

Она посмотрела в окно. Дождь прекратился, и ветер быстро нёс по небу клочья темно-серых, с лиловым оттенком, облаков, похожих на разрушенные замки.

- Ну, встаём? Надо идти, пока снова не начался дождь. А то Изя опять промокнет.

- Да, конечно, пора.

Воздух на улице был такой чистый и свежий, что хотелось остановиться и просто дышать и дышать.

- Вы на машине? - спросил Марк.

- Нет, я живу тут совсем недалеко, минут пятнадцать ходьбы.

- Да что вы говорите? И я. Можно вас проводить?

И они пошли троём: женщина и мужчина, на плече которого сидел крупный яркий попугай с таким совершенно израильским именем - Изя - и грустным взглядом философа.

¹ Si, verdad (исп.) - да, правда.

Сага о лошади Пржевальского

Смеркалось. Октябрьский вечер с высоких горных небес вольно заливал прохладным золотом озеро Иссык-Куль, туго обтянутое синей шагреновой кожей. На озёрные берега опускался, распластав крылья, сумрак вечера. Мир погружался в чашу ночного покоя, один за другим гасли точки прибрежных огней, и лишь городские фонари Каракола продолжали перемигиваться.

Рамис Акматов появился на Божий свет не здесь, в Караколе, а на южном берегу озера, в кишлаке Сары, в семье чабана Мамбета по прозвищу Зелёная Шапка. Помимо Рамиса, в чабанской семье насчитывалось одиннадцать душ детишек; мать потомства, по имени Аида, числилась, таким образом, матерью-героиней первой степени. Большевики выдали ей в том специальную грамоту в золотой рамке и красивый орден со звездой. По красным дням календаря Мамбет доставал орден из почётной коробочки и прикреплял к своей праздничной вельветовой телогрейке. К чему, действительно, Аиде геройский орден? Зачем? Где она его будет носить?

В тесноте кочевой семьи, вперемежку с отцовскими баранами и собаками, Рамис рос смышлёным пареньком: природа благоприятно на него влияла. Воздух высокогорных пастбищ делал тело подростка жилистым, как ствол арчи, а кобылье молоко наливало румянцем его щёки. Радость жизни была в него заложена чадолюбивым отцом – глядя на мир вокруг себя, он, описывая увиденное, без понуждения распевал, как птица на ветке, песни собственного сочинения. Учился он с охотой – сначала в райцентре, в интернате, а среднюю школу заканчивал уже в областном Караколе, тогда называвшемся Пржевальск.

Рамис, сын Мамбета Зелёная Шапка, был народный человек и натуральный нацкадр. И в этом качестве путь в Москву, к дальнейшей учёбе, был ему гарантирован. Но, держась своих каких-то полусекретных разнарядок, республиканские власти забронировали для него учебное место не в певчем институте Гнесиных, а на журфаке московского университета. А почему? А потому: так надо. Петь каждый дурак умеет, а статейки писать – не всякий.

Журналистскому занятию Рамис проучился недолго - большевикам дали по шапке, наступила свобода. Рамис, тосковавший по дому, сел в самолёт и улетел на Иссык-Куль. Там тоже произошли интересные перемены: большевики попрятались от кулаков развеселившегося народа, советское название республиканской столицы отменили. Публика праздновала победу национального духа, тысячи баранов сложили свои головы по дороге в котёл. Пришёл черёд и городу Пржевальску задуматься о светлом будущем.

Начинать надо было с названия. Что ещё за Пржевальск? Какое отношение имеет русский человек-лошадь к освободившимся от московского гнёта киргизам и их озеру Иссык-Куль? За два года жизни в Москве Рамис многое узнал о том, чему в школе не обучался, и о чём не имел до поры до времени ни малейшего представления. Вот, к примеру, один приятель из Литературного института, киргиз, познакомил его с поэтом Олжасом Сулейменовым, который добивается ликвидации испытательного атомного полигона в Казахстане. Так почему бы ему, Рамису Акматову, не подняться на борьбу за закрытие военного завода на Иссык-Куле, в селе Покровка, где русские пускают по озеру свои торпеды?

Даже путь в тысячу ли, как утверждает миллиард китайцев, проживающих тут рядом, за горой, начинается с первого шага. В типографии, выпускавшей при большевиках газету «Пржевальский комсомолец», Рамис договорился печатать еженедельник «Каракол» и народные листовки под тем же названием. На логотипе изданий была изображена чёрная рука над языком пламени. Объяснение этой картинки носило драматический характер: когда-то, в седые времена, здесь орудовала шайка лихих людей, нагонявшая на торговых путников страх и трепет. Каждый желающий мог присоединиться к разбойникам с Большого Чайного тракта – при одном условии: без стонов и жалоб удерживать в пламени костра правую руку, пока она не почернеет. Вот такое немилосердное условие ставили разбойники перед соискателями. Отсюда и название их поселения: «Каракол» - «Чёрная рука». А другой лингвистический вариант: «Чёрная река» - мало кого убеждал: нет тут никакой Чёрной реки. И ни в том, ни в другом случае русский человек Николай Пржевальский с его лошадьёю не имел к делу никакого отношения, кроме,

разве что, досадной случайности: именно здесь он скончался от брюшной заразы.

Газета – мощный рычаг давления на публику, не то, что пение песен на перекрёстке. Первый же номер, в котором красочно излагалась история Каракола, привлёк к Рамису Акматову преданных приверженцев: читатели видели в географическом путешественнике, и не без оснований, соглядастая русского царя и хищного колонизатора. Это уже не говоря об ужасном родстве открывателя чужих земель с самым главным большевистским чудовищем Иосифом-Сосо Джугашвили, заграбаставшим всю Среднюю Азию, с киргизским озером Иссык-Куль включительно.

С появлением свободной газеты новые замечательные идеи стали расцветать, как цветы-тюльпанки на весеннем лугу. Рамис запустил сбор подписей под требованием граждан снять запрет на ловлю голого османа – «кремлёвскую рыбу», которую при большевиках удили под строгим надзором специально уполномоченные на то проверенные люди и отправляли под охраной в Москву, в правительственный пицтрест. Своевольных рыбаков, покусившихся на запретную рыбку, хватали и без задержки сажали в тюрьму на четыре года.

Шибче всего на освободившихся от большевиков территориях дело шло о переименованиях. Конную ферму имени маршала Будённого в Чолпон-Ата переименовали в конезавод №101 – для солидности: конезавода №100 или же №99 не существовало в природе. Прибрежное село Рыбачье перевели с русского на киргизский, получилось красиво: Балыкчи. Хуже пришлось деревенькам, основанным русскими переселенцами-крестьянами ещё в царские времена: Ивановка, Степановка, Митьково. Что делать с колониальными именами, никто толком не знал.

Так или иначе, волна обновлений гуляла по всему волшебному озеру, захлёстывала берега и подбиралась к Пржевальску; действительность брала своё, судьба лошадиного названия висела на волоске. И тут сомнений не возникало: пржевальцы готовы были демократично переименоваться в каракольцев. Тут уместно припомнить вечно, конечно, живого, но, вместе с тем, и безвозвратно усопшего Ульянова с его догадкой: «Газета — это не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, она также и коллективный организатор»; уголовники иногда бывают удивительно правы. Увлечательные публикации «Каракола», подобно шпанке-мушке, чрезвычайно

возбудили читателей обоих полов и подвигли их на лютую борьбу с покойным землепроходцем, залегшим на бессрочное хранение на берегу их родного озера.

От статей, вышедших из-под заточенного на московском журфаке пера Рамиса Акматова, захватывало дух. Речь в них шла об амурных приключениях знаменитого путешественника, которого ветром далёких странствий занесло как-то раз на Кавказ, и чьё имя получила не только лошадь, но и столица озера Иссык-Куль, святого для киргизов. Та лошадь никак не была привязана к озёрным высокогорным местам, тут её никто и в глаза никогда не выдывал, но, помяная первооткрывателя добрым или недобрым словом, отделить его от образа лошади было никак невозможно. Лошадь Пржевальского! Может, это она и открыла хребет Алтын-даг, озеро Лобнор и тибетского медведя. Но на Кавказ, в крепостицу Гори, не она забрела. Вот это – нет.

В грузинском Гори он, говорят – а народ зря не скажет! - очутился проездом, как и, в силу своих занятий, повсюду на свете, кроме киргизского Каракола, в котором встал на вечный привал, и переименованного, по этой веской причине, в Пржевальск. Остановившись на ночь у хлебосольного местного князька, он намеревался назавтра же продолжить свой путь в Тифлис – в Гори всё уже было разведано и описано, и нечего там было открывать.

Из-за княжьего пиршественного стола именитый гость приметил молоденькую девицу – милую служанку Кэкэ. Нынче, почти через полтора века после того хмельного вечера, многое изменилось в нашем мире – многое, но, к счастью, не всё подряд: взгляды, условности и некоторые вещи обрели иную форму, а дремучая страсть, толкающая мужчину к женщине, осталась неизменной. Сегодня то, что случилось с представительным усачом, генерал-майором разведки императорского Генштаба Николаем Михайловичем Пржевальским в горийском замке, определили бы как «положил глаз на тёлку» или даже «запал». Да, запал, да, положил. И это, само по себе, хорошо и замечательно, не так ли? Кэкэ тоже так думала, в этом вряд ли стоит сомневаться... Так или иначе, мужское дело - нехитрое, и в конце года милая служанка, на беду, родила сыночка.

Всякий грузинский кутёж непременно включает в себя душевные разговоры и многоголосое пение; так заведено. Сотрапезником Пржевальского оказался местный

винодел и сыровар, по имени Гвидон; он и пел, и рассуждал. Умудрённый опытом жизни Гвидон рассуждал о быстротечности существования и безграничности блаженства. Эта тема трогала своими виноградными пальцами сердце русского путешественника: он был одинок, и в трудных азиатских блужданиях блаженство редко его посещало.

- Тут всё дело в устройстве души, - рассуждал сыровар и винодел. - Куда она повернётся, в какую сторону – то и увидит: сыр сулугуни, кусок льда или, к примеру, молодую барышню.

Он засёк пороховые взгляды, которые генерал метал в сторону Кэкэ, прислуживавшей за столом.

- «Горше смерти женщина, - продолжал зоркий сыровар, - потому что она - сеть, и сердце ее – силки». Это библейский царь Соломон сказал, а уж он-то слыл докой по этой части...

Но землепроходец был храбрец, и предостережения древнего еврея его не остановили. Что же до служанкиного мужа, сапожника Бесо, алкоголика и буяна, то его судьба никого не занимала: он был никчемный человек.

С нетерпением дожидаясь конца застолья и дальнейшего развития ночных событий, генерал слушал Гвидона вполуха: с бокалом рубинового саперави в руке, сыровар рассуждал о прихотливых извилах судьбы, за каждым поворотом которой ходака ждёт интереснейшая новость. Примеривая на себя, Николай Михайлович охотно принимал эту догадку винодела.

Всё, когда-либо начавшееся, приходит к своему концу в назначенный срок. Заглядывая на семьдесят пять лет вперёд, в 1953, открываем перед собой радостную картину: на сталинской Ближней даче, под Москвой, рябой хозяин упал на пол и умер. И так, за непредвиденным изгибом судьбы, захлопнулась жизнь злодея, зачатого той хмельной ночью в грузинском Гори.

К советской власти Рамис Акматов относился индифферентно: Москва от Иссык-Куля далеко, и какая разница, какой там царь сидит – белый или красный. Единственный из них, кто вызывал в нём ярость и гнев, был сынок путеврода Пржевальского – Иосиф Кровавый. Нелепая родственная связь установилась меж тянь-шаньским озером Иссык-Куль и фальшивым потомком кавказского алкоголика Бесо: истинный папа рябого тирана,

корифея всех наук и лучшего друга детей, залёг, неведомо зачем, на вечное хранение на киргизском озёрном берегу. И эта досадная опечатка в книге жизни отважного путешественника и колониального генерал-майора всё перевернула с ног на голову. Мирно проживавшие на своём месте, в Караколе, киргизы, уйгуры и дунгане, слыхом не слыхивавшие ни о каком русском открывателе совершенно дикой лошади, в одночасье превратились из каракольцев в пржевальцев. Для утверждения печального факта решено было установить на городской площади конную статую покойного землепроходца, а на могиле – мраморную стелу с орлом. И, хотя конь был бы тут вполне уместен, власти ограничились лишь орлом и бюстом. Таким образом, под делом была поставлена бронзовая точка: Каракол заснул Караколом, а проснулся Пржевальском.

Всё временно в нашем мире, да не всё своевременно.

Пришёл час, и Пржевальск снова переименовали в Каракол. Внушительную роль тут сыграл Рамис Акматов с его газетой: избавившиеся от большевиков горожане трезвонили редактору по телефону, писали ему письма и громко требовали перемен. Перемены, по всеобщему мнению, должны были начаться с возвращения городу его родового имени. Некоторые, наиболее решительные граждане, предлагали снести бюст сталинского папани и на его месте поставить памятник разбойникам с Чайного тракта, когда-то здесь орудовавшим. Прилагались и художественные проекты: верховые бандиты с карамультуками наизготовку и полыхающий газовый костёр, в пламени которого претендент на вступление в шайку коптит правую руку.

Всё шло честь по чести. В возвращении городу старого названия никак нельзя было разглядеть ход назад – то было движение вперёд, которое многие люди называют прогрессом. И, действительно, прогресс никогда не пятится по-рачьи – он ползёт себе либо вперёд, либо вбок.

Человек привыкает ко всему – как к неволе, так и к свободе. Глотнув свободы, каракольцы с энтузиазмом взялись за обустройство в новой жизни. Частная инициатива теперь не то что не преследовалась - вплоть до посадки за решётку при старой власти, - но, напротив, поощрялась. Тяга к набиванию брюха присуща всем слоям общества без исключений: все хотят есть, и есть вкусно. За считанные недели в Караколе открылось множество закусочных заведений: харчевен, столовок и чайных.

Освобождённые горожане жарили на продажу шашлыки, варили бешбармак, готовили лагман с уйгурским уксусом и ашлямфу по-дунгански. Повсеместная торговля съестным цвела и пленительно пахла. Захватывающий дух коммерции, свойственный человечеству от начала времён, вместе с шашлычным дымом празднично висел над Караколом.

Рамису Акматову стало скучно на свободе. Увлечение его газетой сошло на нет – читатели теперь интересовались рыбной ловлей на живца, кулинарными рецептами и толкованием снов. Открывать чайхану или пивную Рамис, обойдённый коммерческими талантами, не планировал, заведовать народной культурой в горсовете он тоже не собирался. Оглядевшись по сторонам, Рамис собрал в котомку первейшие житейские пожитки и отправился в горы, на отгонные пастбища, славные своей калорийной травой бетэге – там его отец, Мамбет Зелёная Шапка, безмятежно гонял баранов по долинам и по взгорьям.

Хрустальный вид, не искалеченный ни фабричными трубами, ни вонючими тракторами, бегающими по душистому телу земли, лежал вокруг юрты Мамбета. Китайские горы толпились на горизонте, их вершины упирались в небо. Редкий воздух высокогорных тяньшаньских лугов и царственное величие ландшафта побуждали пришельца смиренно заглянуть в себя, как в тёмный провал, и освободиться от накипи прошлых дней. Природа верой и правдой служила душевным подспорьем киргизскому человеку, и Рамис, сын Мамбета, добравшись до отцовского становья, сполна испытал это на себе.

Пара лошадок Пржевальского, жеребец и кобылка, щипали траву в неглубоком ущелье, уходящем в плечо горы. Почуяв сладкий запах кизячного дыма, принесённый ветром, жеребец поднял голову от земли.

- Какая удача, - сказал жеребец, кося вишнёвым глазом в сторону невидимой за холмами юрты Мамбета, - что эти двуногие так и не сумели нас приручить!

Полезьа и вред прогулок на свежем воздухе

Несовременная история

*Нарочно разлюбить так же невозможно,
как и нарочно полюбить.*

Анри-Рене-Альбер-Ги де Мопассан

Как известно, все собачники здороваются друг с другом независимо от того, знакомы они или нет, потому что чувствуют себя членами одного сообщества. В этом сообществе нет отдельно собак и людей, возникают некие парные зооантропоморфные существа, и не удивляйтесь, если владелец злобно рычащего черного бульдога, похожего на маленький живой танк, скажет: «Вы нас не бойтесь, мы кастрированные». Поэтому было естественно, что Антон, молодой человек 44-х лет, гулявший со своим Кентом, поздоровался с девушкой Литой, 33-х лет, гулявшей с вельш-корги-пемброк Барби.

Двухлетняя Барби сразу проявила к пятилетнему Кенту дружелюбный интерес. Было раннее утро, в парке безлюдно, поэтому Лита спустила Барби с поводка, спустил своего Кента и Антон. Барби тут же начала резво бегать от Кента, заманивая, его, давая себя догнать, но тут же шаловливо огрызаясь, в общем, вела себя так, как и свойственно всему женскому полу.

Собаки весело носились, а Лита и Антон беседовали.

– У вас дама или джентльмен? – спросил Антон.

Лите понравилась эта формулировка, обычно слышишь банальное: «Девочка или мальчик? Или: «Кобелек или наоборот?» Собачники матерые, опытные таких слов не любят, они режут прямо: «Кобель, сука?»

– Дама, – ответила Лита. – Барби зовут.

– Смешно, – сказал Антон. – А моего Кент, почти Кен. – Только ваша-то породистая, я вижу.

– Вельш-корги.

– А у меня беспородный. Взял выбракованного из питомника – очень уж понравился.

– Да, симпатичный, – любовалась Лита бойким рыжим псом, похожим отчасти на сеттера, отчасти на спаниеля.

– Быть может, его бабушка согрешила с сенбернаром, – улыбнулся Антон.

– Булгаков, – тут же узнала цитату Лита.

И обоим было приятно от своей эрудиции.

– Я вас раньше не видел, – сказал Антон.

– А мы недавно в этот район переехали. Вон в тот дом, – и Лита кивнула в сторону дома современной архитектуры, отделанного панелями песочного и светло-серого цвета, с застекленными от низа до верха лоджиями, огражденного собственным забором садово-паркового типа, с виньетками; виднелся широкий пологий въезд в подземную парковку — дом так называемого бизнес-класса или клубного типа, невысокий, всего четырнадцать этажей.

– Ясно, – сказал Антон. – Мы тоже рядом живем.

Но показывать на свою пятиэтажку-хрущевку не стал, хотя ее тоже было видно из парка «Дубки», где все и происходило.

У собачников еще одна особенность: они могут знать клички других собак, их повадки и особенности, чем кормят, какие от них бывают неприятности и, напротив, чем они утешают хозяев; им известно, какого песика вчера рвало, а какого пронесло; о самих же владельцах часто не знают ничего – ни имен, ни того, кто они, кем работают. Это считается несущественным в человеко-собачьем комьюнити. Исключение составляют женщины серьезного возраста, пенсионерки, они общительнее, они находят темы для бесед не только о собаках.

Но хватит лирики, перейдем к истории.

У Антона были не только жена, взрослая дочь, сын-школьник, но даже уже и двухлетний внук Никита, а работал он с документацией в одном государственном учреждении, заведовал отделом, состоящим из трех человек. А Лита была замужем за топ-менеджером из – из какой отрасли, угадайте с трех раз! – да, угадали с первого, из нефтяной. Детей у них с двадцатисемилетним мужем Максимом еще не было, он с утра до вечера пропадал на работе, на выходные отправлялись в загородный коттедж, Лита там занималась декоративным садоводством, а еще ежедневно вела блог на морально-политические темы, у нее было почти четыре тысячи друзей и около пяти тысяч подписчиков, уважавших ее за ум, красоту и либеральные воззрения.

Кстати, полное ее имя было Аэлита. Отец, впервые увидев ее, вынесенную из роддома счастливой мамой, сказал:

– Надо же, глаза какие! Прямо марсианка. Аэлита.

– Отличное имя! – отозвалась медсестра, вышедшая на перекур.

– В самом деле, – улыбнулась мама. – Аэлита, Лита. Так и назовем.

Глаза у Литы были и впрямь какие-то марсианские – широко расставленные, водянисто-голубые, слегка как бы затуманенные, обволакивающие, загадочные. При этом очень светлые волосы и очень белая кожа, не как у людей-альбиносов, но близко.

Нет, это опять лирика, а не история.

История в том, что Антон и Лита понравились друг другу.

Лита раньше гуляла с Барби без графика, утром когда проснется (а иногда всю ночь не ложилась – любила ночную одиночную тишину), а вечером, когда Барби сама начинает поскуливать, подходить, подсовывать голову под руку. Теперь же выходила в шесть тридцать, как и Антон, которому после этого надо было ехать на работу, а вечером подгадывала к восьми, когда, опять-таки, появлялся с Кентом вернувшийся с работы и поужинавший Антон. Иногда, очень редко, с Кентом выходил четырнадцатилетний сын Антона, еще реже – супруга, о них Лита ничего не знала, потому что Антон не рассказывал, понимала только, что это – сын, а это – жена.

Они много говорили о кино, о книгах, а потом и задружились блогами, Антон оценил морально-политические эссе Литы, сам же писал мало и редко, предпочитал комментировать и ставить лайки.

Все чаще Лита ловила себя на том, что пишет не для друзей и подписчиков, а представляет себе Антона. И улыбается.

Улыбался и Антон, читая ее тексты, не всегда вникая в суть.

И оба стали в это время добрее, мягче. Жена Антона Анастасия, специалист-технолог знаменитого завода «Карат», не прочь была упрекнуть мужа за невнимание к бытовым проблемам, в недостаточной заботе о детях, в отсутствии честолубия; раньше он раздражался, спорил, выходил на балкон нервно курить, а сейчас на все слова жены отвечал близоруким рассеянным взглядом, словно не вполне понимая, о чем речь.

Лита же встречала мужа преувеличенной заботой, словно была в чем-то виновата перед ним, постоянно что-то готовила, хотя раньше любила заказать с доставкой пиццу или какие-нибудь салаты, предпочитая легкие и полезные, оправдывалась занятостью – она пишет кандидатскую диссертацию по своей специальности, ландшафтному дизайну, которым занималась теоретически и практически до замужества, будучи выпускницей Тимирязевской академии.

Максим, наследственно влиятельный человек, сын отца-замминистра, привыкший все вопросы решать быстро, предлагал Лите за неделю сделать ее кандидаткой, а за месяц докторшей наук, она отказалась:

– Нет, хочу сама.

Много времени у нее отнимала и забота о себе: Лита занималась фитнесом, ухаживала за своей внешностью; она выглядела ровесницей мужа, а то и моложе. Антон, кстати, был уверен, что ей двадцать пять – двадцать шесть лет.

И вот дошло до того, что Антон признался в любви. Не Лите, а другу и сослуживцу Сергею Сергиенко. Сергиенко было тридцать пять, он был рыхл, медлителен, бородат, похож на священнослужителя, поэтому Антон добродушно звал его Отец Сергей. Жил Отец Сергей с мамой и угадывалось, что он и к пятидесяти годам будет таким же, как и сейчас, и так же будет жить с мамой, разве еще больше раздобрееет, и в бороде появится проседь.

– Прямо любишь? – спросил Отец Сергей. – Прямо точно?

– Точно. Тоскую о ней, а когда вижу – счастлив, как пацан. Снится то и дело.

– Эротически?

– В том числе.

– А с женой как?

– Да всё прекрасно, в том-то и дело! Жену люблю – ну, супружески, конечно, не так, как раньше. Детей люблю, внука обожаю.

– Не обязательно уходить, попробуй с ней это самое.

– Не хочу я это самое! То есть хочу, но...

Антон не умел объяснить, чего он хочет. Да и не знал точно, знал лишь, что влюбился без памяти.

– Несовременный ты, – сказал Отец Сергей.

– Будто ты современный.

– Я – очень. Я, как все мудрые люди нашей эпохи, понял, что гендерный дискурс зашел в тупик.

– Что это значит?

– Долго объяснять.

Но и Лита чувствовала, что влюбилась. Так, как ни в кого не влюблялась. И тоже призналась в этом – маме. Ее мама, Жанна Феоктистовна, трижды разведенная, а теперь гордо и счастливо одинокая, была женщиной очень широких взглядов, сейчас у нее имелось сразу два любовника, в чем она не стеснялась признаться дочери, а Лита, в свою очередь, тоже рассказывала ей всё.

Жанна Феоктистовна отреагировала спокойно:

– Нравится – переспи с ним.

– Не могу. Мучиться буду.

– Совесть ты у меня неизвестно в кого. Шучу. Я, когда замужем была, своим мужьям тоже не изменяла. А сейчас могу себе позволить.

– Сама не изменяла, а мне советуешь?

– Не изменяла, потому что дура была. По любому будешь мучиться, Литка, но лучше сделать и мучиться, чем мучиться, что не сделала. Это и для психического здоровья вредно.

И были встречи, встречи и встречи на прогулках, без которых Антон и Лита уже не могли жить. И однажды она вдруг спросила:

– Мне кажется – или ты в меня влюбился?

– До смерти, – сознался он.

– И я тоже.

– Ничего себе... И что будем делать?

– Понятия не имею. Я не хочу мужу изменять.

– А я жене. Может, не встречаться?

– Да, наверно.

И они стали выходить на прогулку в разное время. Но однажды Антон не выдержал и позвонил Лите по мессенджеру соцсети.

Она ответила тут же и призналась:

– Ты не поверишь, я сейчас сама собиралась тебе звонить. Я не могу. Я хочу тебя видеть.

– А я тебя.

Вечером они встретились на прогулке. Лита смыла с себя весь макияж – впрочем, всегда легкий, но, как у многих светловолосых, брови и ресницы ее казались без подкраски бесцветными.

– Вот такая я по-настоящему, – сказала Лита. – Я раньше никогда так на улицу не выходила.

– Ты прекрасная, – сказал Антон. – Ты неземная просто.

– А ты обычный, вот парадокс-то. Мне никогда такие не нравились.

– Значит, и я разонравлюсь.

– Я тоже надеялась, но никак. А еще у меня все плечи в веснушках.

– А у меня на зубах слева внизу – протез бюгельный. Вот, посмотри, – и Антон открыл рот.

Лита посмотрела.

– Ужас какой.

– И я об этом. И еще я в сексе не гений. Средненький мужичок такой, – с трудом солгал Антон и это, нынешние мужчины согласятся, поступок героический, жертвенный, особенно когда на самом деле считаешь себя вполне мастеровитым в любовных делах.

– Да и я ленивая насчет секса, – солгала и Лита. – И вообще ленивая. Привыкла, что у меня богатый муж, машина у меня «порше-кайен», особняк за городом, сад. Я иначе жить не смогу.

– А я никогда тебе такой жизни не обеспечу.

И они долго еще перечисляли свои недостатки, чтобы разонравиться друг другу.

Не помогло.

– Всё равно люблю, – печально сказала она.

– И я, – вздохнул он.

– Да еще живем рядом.

Лита придумала: начала уговаривать Максима сменить место жительства. Он сказал:

– Как хочешь, но не сейчас. Очень много работы.

– Я сама займусь.

И Лита увлеченно взялась за подбор новой квартиры. Ездил смотреть вместе с риэлторами, но всё ей не нравилось. То район не очень, то дом не такой, как хотелось бы, то планировка квартиры не устраивает...

А Отец Сергей посоветовал Антону начать выпивать.

– Чтобы Лита разлюбила? – спросил Антон.

– Чтобы жена выгнала. Разведетесь, будешь свободным, найдешь работу получше. И всё сбудется.

– Я выпивать не очень люблю.

– Не любишь – а надо! Я вот тоже не люблю, но каждый вечер по сто пятьдесят выпиваю. Врачи рекомендуют. Так что – действуй!

Отец Сергей, сам не способный на решительные поступки, в это время очень переживал за Антона, вот и давал другу такие экстремальные советы.

Антон начал выпивать. Жена удивлялась и злилась, дочь специально приехала прочитать отцу нотацию, сын посмеивался.

Лите выпивший Антон сказал следующее:

– Ничего я тебя не люблю, а просто запал на твою внешность чисто сексуально. Хочу тебя поиметь, вот и все. Давай трахнемся, тебе жалко, что ли?

И на следующий день тоже сказал ей что-то в этом духе, на грани хамства.

Но Лита не обижалась, она жалела Антона и говорила:

– Я всё понимаю. И даже спасибо, что ты так стараешься. Но не помогает.

Жанна Феоктистовна, устав от печальных исповедей дочери, сказала:

– Надо совершить что-то подлое. Чтобы он тебя возненавидел. Пожалуйся Максиму, что этот Кен пристаёт, пусть он ему рыло начистит,

Жанна Феоктистовна, как всякая интеллигентная дама нашей эпохи, любила выразиться просто и народно.

– Он не Кен.

– И ты не Барби. Сделай – не пожалеешь.

– Но я и себя буду подлой считать.

– Давно пора! Подлой женщине жить легче, уж поверь мне. А уж подлым мужикам совсем легко и весело, ты посмотри на нашу власть, все эти думы и правительства наши – красавчики, грабят миллиардами и хохочут!

И Лита послушалась, рассказала Максиму о приставаниях Антона.

– Убить, покалечить? – спросил Максим.

– Не надо! Можно немного побить. Без увечий. И не сам, ладно?

– Нет проблем!

И два человека из службы секьюрити фирмы Максима на глазах Литы встретили и побили Антона. Кент бросался на них, рычал, укусил одного за ногу, тот выхватил электрошокер, Лита бросилась к нему, толкнула, закричала:

– Звери, сволочи, а ну, пошли отсюда!

Напавшие переглянулись, пожали плечами и убрались. Лита плакала, обнимала Антона.

– Это ты их натравила? – Антон улыбнулся и поморщился: болели разбитые губы.

– Да. Через мужа. Сволочь я, тварь последняя, гадина.

– Обожаю, – сказал Антон.

Через неделю они решили: надо выложить всю правду. Она мужу, он – жене. И будь что будет. Может, жена его выгонит. А ее выгонит муж. И само собой всё решится.

Что всё, оба не уточняли.

Вечером Лита сказала Максиму:

– Максим, я полюбила другого человека.

– И? – спросил Максим.

– Что «и»?

– «Полюбила» – это вводная информация, ты ее озвучила. А дальше?

– Дальше ничего. Просто – полюбила. Но я и тебя люблю, – поспешила добавить Лита.

– То есть разводиться не собираешься?

– Нет. И у меня с ним ничего не было. И не будет. Это так... – Лита вспоминала старинное слово и вспомнила: – Платонически.

– Тогда на здоровье, – разрешил Максим. – Мне, конечно, неприятно, но бывает. Кто-то может понравиться – временно. Мне вот тоже одна сильно понравилась год назад.

– Ты с ней – ...?

– Нет. Удержался.

– А кто она?

– Какая разница? Ну, девушка одна из юридического отдела. Неважно, я же говорю – всё прошло.

Литу это почему-то встревожило. Через день она, придумав какой-то повод, заехала к мужу на работу, в офис, который занимал половину этажа одного из небоскребов в Москва-Сити, шла коридором, увидела табличку «Юридический отдел», свернула туда. В отделе сидели три женщины за тридцать и одна помоложе, приятной внешности. Наверное, она.

Лита подошла к ней и негромко сказала:

– Мы можем поговорить? Не здесь.

Девушка пожала плечами, встала, они вышли в коридор.

– Вас как зовут? – спросила Лита.

– Юля. А вас я знаю. Фотографии видела.

– Он показывал?

– Не обязательно. Я ваш блог читаю, там ваши совместные фотографии.

– Ясно. Юля, скажи, только честно, я пойму, если совершь: что у вас было с Максимом?

- Ничего. К сожалению.
- Даже так?
- Даже так. Да, он мне нравится, скрывать не собираюсь. С удовольствием отбила бы у тебя, пробовала – не ведется.
- Жаль, – сказала Лита.
- Чего? – удивилась Юля.
- Да это я так. Шучу.

Анастасия же на признание мужа отреагировала странно – рассмеялась.

- Это ты мне, что ли, для того говоришь, чтобы я ценила тебя, что ли? Цену набиваешь, что ли?
- Не набиваю. Люблю. И она меня.
- Молодая, красивая, богатая?
- Да.
- Кто бы сомневался! Дружок, думаешь, я тебя держать буду? Давай – бегом на мороз! Через день ножки замерзнут – вернешься.
- Лето вообще-то.
- А я – образно!
- Ты меня не любишь совсем? – предположил Антон.

– Это мое дело. Я тебя хорошо знаю, Антоша, ты – мечтатель. Ты и на работе, наверно, не столько работаешь, сколько мечтаешь. Ну, помечтай, помечтай.

Антону стало обидно. Так обидно, что захотелось доказать серьезность своих переживаний. И он уехал к маме, которая жила в Гольяново. Кента, естественно, взял с собой. Прожил там неделю, на расспросы мамы отвечал, что хочет взять паузу и переоценить свою жизнь, ездил через полгорода на работу и скучал. Скучал о Лите, с которой даже не созванивался (и она тоже не звонила), скучал о жене, о дочери и внуке, о сыне. И Кент тосковал, целыми днями лежал у двери, гулял неохотно, лишь бы отчитаться по своим собачьим нехитрым обязанностям.

Меж тем Анастасия догадалась о Лите. Это было несложно: она не раз видела с балкона, как Лита и Антон с собаками вместе выходили из парка и прощались, долго беседуя, хотя собаки тянули поводками к домам. Но она думала, что это так, знакомство на почве прогулок, а оказывается, вон что. И однажды, увидев Литу с Барби, торопливо оделась, наскоро подкрасилась, пошла в парк. Встретила Литу, спросила:

- Это, значит, ты?

Лита, зная Анастасию в лицо, честно ответила:

– Я.

– И какие планы?

– Никаких.

Барби рвалась с поводка к Анастасии.

– Знакомый запах чует, – сказала Анастасия. – У нас же с Антоном запах общий. Вместе живем потому что.

– Да, наверно. Вы не думайте...

– А я и не думаю, только он из дома ушел. Ты ему бы сказала, если встречаетесь...

– Мы не встречаемся.

– Ну, позвони. Скажи ему честно: никаких перспектив, никогда у него с тобой ничего не будет. Ведь не будет?

И Лита хотела сказать: конечно, не будет, но вместо этого уронила растерянное:

– Не знаю...

– Неужели влюбилась? – не поверила Анастасия. – Во что?

– Понятия не имею. Он... У него душа чуткая.

– Что есть, то есть, – признала Анастасия. – Если б не душа, давно бы я его бросила. Тяжело с ним. Но я-то привыкла, а ты не сможешь.

– Не смогу, – согласилась Лита.

– У него и здоровье на все пятьдесят лет, а то и больше, – сказала Анастасия. – Сахар повышенный, простата не в порядке, нейропатия – кожу на ногах по ночам жжет. Не рассказывал?

– Рассказывал.

– Тебе, наверно, не привыкать, такие, как ты, за старых миллиардеров выходят, уж прости за правду.

– Это неправда, моему мужу двадцать семь.

– Ох ты. Тогда это точно любовь. Что я тебе на это скажу? – терпи. У меня тоже было, втюрилась десять лет назад. Так втюрилась, так втемяшилась, на всё была готова, если бы он тоже. Но он, слава Богу, нет. И ничего, прошло. И у тебя пройдет.

– Надеюсь.

Шло время. Антон вернулся домой, Лита нашла отличный вариант, квартиру в доме-сталинке на Кутузовском, место и красивое, и престижное. Максиму и дом, и квартира понравились. Он в это время был деликатным, ни о чем не спрашивал. В считанные дни продали они свою квартиру и переехали в новую.

За это время, то есть до переезда, Антон и Лита почти не встречались, в парке, увидев друг друга, сворачивали. Кент и Барби рвались, скулили, не понимая, в чем дело, Антон и Лита оттаскивали их, строго крича: «Фу! Нельзя!» Собаки, конечно, этого не понимали. Недавно было можно, а теперь нельзя – почему? Впрочем, и Кент, и Барби знали, что в человеческом поведении нет никакой логики. Лежащую палку или ветку разрешают схватить и понести в зубах, а пластиковый стаканчик или металлическую банку нет – почему? Присесть в кустах или густой траве, где все колется и мешает, можно, а сделать то же самое на дорожке, где чисто, где хозяевам легче все собрать в пакет и бросить в урну – нет, почему? Наскакивать приветственно на людей с собаками можно, а на людей без собак нет – почему?

После отъезда Литы обоим показалось, что понемногу отпускает. Недаром же мудрая поговорка учит: «С глаз долой – из сердца вон». Антон даже перестал читать блог Литы, да она и сама не делала новых записей – не до того было, защищала диссертацию, и успешно защитила. А потом устроилась на работу в одну из лучших проектных фирм Москвы. Устроиться помог Максим, на этот раз она позволила ему это сделать – хотела быть ему обязанной. Фирма в это время трудилась над крупным заказом – проектировали подмосковный парк-отель на берегу водохранилища; шеф Сотейников, любивший возбуждать в коллективе соревновательность, поручил сразу пятерым сотрудникам разработать ландшафтные варианты, и заказчиком понравился вариант Литы, в котором она использовала образы фильма «Властелин колец» – домики и шале в холмах, с овальными дверьми и круглыми окнами. Оказалось, что главный заказчик, Иван Саргсян, был страстный поклонник этого фильма, и он взял вариант Литы, но не для парк-отеля, а для собственного поместья. Вышло эффектно, друзья Саргсяна засыпали Литу заказами – кому-то хотелось копию окрестностей Хогвартса, кто-то мечтал о настоящем саде камней, а один бывший горец попросил создать маленькое ущелье, похожее на Дарьяльское; трех гектаров его усадьбы для этого вполне хватало.

Так Лита неожиданно стала очень прилично зарабатывать.

Она могла бы трудиться и дома, но предпочитала ездить в офис или на объекты, с Барби гуляла специальная

женщина, профессиональная выгульщица. Лита в это время, кстати, охладела к Барби, будто та была виновницей ее несчастной любви. Соучастницей уж точно.

Антон гулял с Кентом сам, но тоже без прежней охоты – каждая прогулка напоминала о том, что теперь нет Литы и Барби. Кент, необыкновенно чуткий, вел себя необычно – бросится за каким-нибудь собачьим другом или подругой, немного побегаёт и останавливается, оглядывается на хозяина и взглядом словно просит прощения. Я тебя понимаю, как бы говорит он, но и ты меня пойми: жизнь продолжается!

Однажды Лита, возвращаясь с объекта и объезжая пробку на Дмитровском шоссе, поехала, повинаясь указаниям навигатора, по улице Ивановской, мимо того самого парка, мимо своего бывшего дома. И как раз в это время дорогу переходили Антон с Кентом. Лита остановилась. Остановился и Антон, увидевший Литу.

Он смотрел на нее, она на него, и вдруг Лита вышла из машины. Сзади гудели, Лита не обращала внимания. Кент, узнав Литу, бросился к ней, Лита нагнулась, потрепала его голову, потом распрямилась, сделала шаг и обняла Антона.

Так они и стояли, обнявшись, а умный Кент сидел рядом и смотрел в сторону.

– Я так больше не могу, – прошептала Лита.

– Я тоже, – ответил Антон.

– Давай встретимся.

– Давай.

– Я позвоню.

Лита уехала.

Она уехала и намеревалась тем же вечером позвонить Антону. Но не позвонила. Он сам позвонил ей, она не ответила.

Через два дня Лита позвонила Антону. Теперь не ответил он.

А через неделю Лита ездила на гольф-мобиле по угольям Самсона Верейского, человека, выше статусом не только Максима, но и его отца, замминистра. Поместье Верейского занимало площадь большую, чем княжество Монако, а сам он, имея за плечами два брака и взрослых детей, был еще не стар, выглядел вполне крепким. Он ездил вместе с Литой (пешком всё обходить было бы слишком долго) и говорил:

– Хочу деревню под открытым небом. В старом русском стиле. Но не музей, а реконструкцию. Найму людей, будут

моими крепостными, а я буду барин. Буду девок портить, а провинившихся на конюшне сечь.

– Вы серьезно? – не поверила Лита.

– А почему бы и нет? Видишь ли...

– Мы на ты?

– Я на ты, а ты как хочешь. Видишь ли, Литочка, все наши несчастья от демократии и свободы выбора. У хорошего помещика крестьяне были счастливы: если засуха или дожди, неурожай, они с голоду не помрут, барин выручит. Раньше было: я ваш отец, а вы мои дети. Кстати, детей от помещиков в деревнях и впрямь бегало множество.

– То есть вы хотите насилловать девушек?

– Сами согласятся. Если девка знает, что барин всю жизнь будет подкармливать своего ублюдка, байстрюка, бастарда, как хочешь назови, она сама подол подымет.

– Это гадко, извините, – толерантно поморщилась Лита.

– Как сказать. Посмотришь на современные отношения – сюси-пуси-маракуси, она ждет, что он инициативу проявит, а он от нее сигнала ждет. Пять лет притираются, еще пять лет живут без брака, потом поженились и опа! – через два года разбежались! А раньше: или отец-мать замуж выдавали и женили, или барин, или сам парень, если не дурак, брал девку за ж... за женское, так сказать, начало, и всё! Моя, и шабаш! И живут счастливо, и семеро по лавкам, никуда не денешься. Всё честно, понимаешь? Я бы вот тебя тоже взял, прямо вот тут, в рощице, да ведь в суд подашь, – упрекнул Верейский.

И тут произошло неожиданное. Лита, оглядев широкоплечего Верейского, сказала:

– А возьмите. Я согласна.

– Цена вопроса? – осведомился Верейский, думая, что понял Литу.

– Ноль. Даром.

– Тогда не въезжаю в ситуацию. Неужели я тебе понравился?

– Не очень, но я коллекционирую новые ощущения.

– Елки-палки... Ну, давай попробуем.

И Верейский подал Лите руку, как даме, выходящей из кареты, и повел ее в кусты. Там он облапал ее, густо и горячо дышал, потянулся ртом к ее губам, Лита терпела. «Мне это надо», - думала она, не проникая слишком глубоко в недра своего ума, чтобы понять, зачем надо. Полагалась на интуицию. Верила, что после этого она станет другой и перестанет сомневаться, будет все делать

по порыву, а не по надоевшему уму. Но Верейский отвалился от нее, сел на траву и признался:

– Не могу. Я, знаешь ли, всю жизнь преодолевал и побеждал. Стереотип у меня. И если кто сразу соглашается, у меня не выходит. Мне победить надо.

– Зачем тогда крепостные девки? Они ведь тоже соглашаться будут.

– Я им вводную дам, чтобы брыкались.

– Могу и я побрыкаться.

– Нет, у меня или сразу – или никогда. А заказ я тебе не поручу, прости. Чтобы не терлась перед глазами, чтобы я не вспоминал, что не смог. Начну ненавидеть, мужу твоему наврежу, тестю, могу и убить со злости.

– Правда можете?

– Шуток не понимаешь? – отсмехнулся Верейский и отвернулся, но Лита поняла: может.

Прошла еще неделя. Лита знала, что надо что-то решить, но сама она решить ничего не могла, нужен был чей-то совет. К матери обращаться не стала. Позвонила подруге Даше, бывшей сокурснице. Даша не так давно вышла замуж, родила близняшек, была, насколько знала Лита, счастлива. Собираясь спросить совета, мы обычно выбираем того, кто скажет нам именно то, что хочется услышать. Лита хотела услышать от Даши: не дури, роди Максиму ребенка, будь счастлива тем, что имеешь!

Но Даша, выслушав Литу, сказала:

– Завидую. Мне бы тоже влюбиться.

– Неужели тебе плохо?

– Не то, чтобы плохо, Лит, а одинаково. Запарилась я. Кухня, дети, муж. Паразитки мои болят то и дело, и нет, чтобы в одно время, шиш-то вот: Глашка выздоравливает, Симка заболевает, Симка выздоравливает – Глашка опять заболевает. Прямо нон-стоп какой-то. Нет, я их обожаю, но – устала. А я ведь литературой, если ты помнишь, увлекалась, стишки сочиняла, роман собиралась написать. Ага, роман, щас прям. Стишки иногда выскакивают, но такие тоскливые, самой противно. Вот, например. «Подгузники. Ипотека. ЗОЖ. Долги. Еда. Езда. Ещё. Цени!»

– Какие-то странные стихи. Без рифмы.

– В современных стихах рифма не всегда нужна. Ты запиши в столбик, и все поймешь.

– Я не запомнила.

– На телефон сброшу в готовом виде. А тебе я, знаешь, что скажу? Пока нет детей, люби, живи, отрывайся! Потом некогда будет.

– Спасибо...

В машине Лита посмотрела текст, который послала ей Даша:

Подгузники.

Ипотека.

ЗОЖ.

Долги.

Еда.

Езда.

Ещё.

Цени!

И всё равно не поняла, в чем тут стихи.

Она решила встретиться с другой подругой и сокурсницей, Улей, Ульяной. Уля, высокая и крупная девушка, была, как она сама о себе говорила, ушиблена сексом, постоянно меняла партнеров, относилась ко всему легко и жизнерадостно. Может, Уля скажет: хватит страдать, переспи с ним, да и все!

Она почти так и сказала. Но перед этим спросила:

– Ты чего хочешь, любить или трахаться?

– Наверно, и то, и то.

– Так не бывает. Вот у меня сейчас трое. С одним мне нравится трахаться, с другим говорить интересно, но трахаться не очень, а третий меня страшно любит, с ним ни говорить, ни трахаться не интересно, но приятно же, когда кто-то страшно любит, вот я его и навещаю: ладно, люби. А так, чтобы всё сразу, у меня не было. Подозреваю, что и не бывает. Короче, по тому, как ты его описала, я думаю, надо тебе с ним...

– Только не говори трахаться. Не люблю я это слово.

– Всегда поражалась тебе, Литка. Ты обалденная, ты ходячий секс, но ты всегда была одна. У тебя сколько мужиков было до замужества?

– Один. Недолго.

– Кошмар.

– Никакого кошмара. Я считаю, что это должно быть только по любви.

– Ты в каком веке живешь, подруга?

– При чем тут век? У века своя мода, а у меня свои правила.

– Несовременная ты.

– Может быть. Я не понимаю, что такое - быть современной. Дашка вот стихи современные пишет, посмотри.

Лита показала, Уля прочитала и долго смеялась.

– Что? – не понимала Лита.

– Ты действительно не видишь?

– Что тут видеть?

– Нет, ты не просто несовременная, ты инопланетянка какая-то. Аэлита, этим все сказано. Ты не ответила: чего ты хочешь?

– Любить.

– Тогда трахнись. И сразу все пройдет. Гарантирую. Могут дать адреса особых гостиниц, сдают отличные комнаты для встреч. Мужчины любят, чтобы на нейтральной территории. Дать?

– Не надо, – отказалась Лита.

А из машины написала Уле: «Ладно, пришли адреса».

И Уля прислала список. И не просто список, а под каждым названием прямая ссылка на сайт гостиницы.

Лита остановилась, просмотрела. Выбрала. И написала Антону: «Предлагаю встретиться здесь. В субботу вечером. Сможешь?»

И послала ссылку.

Он тут же ответил: «Да».

И они встретились возле обычного жилого дома, с торца которого был вход в полуподвал, над дверью многозначительная вывеска, не без юмора: «Нумера».

– Лихо, – сказал он.

– Пойдем быстрее, – сказала она.

Комната была зарезервирована и оплачена Литой заранее, она назвала номер заказа, женщина за стойкой у входа, похожая на сердобольную больничную сестру-хозяйку (возможно, из-за медицинской маски на лице), выдала ключ и напутствовала: «Отдыхайте!» – глядя при этом куда-то вниз и в сторону, показывая этим гостям, что она не собирается запоминать их внешность, и если потом кто спросит, скажет: «Не видела, не помню, не знаю!»

В комнате было полутемно, плотные шторы почти задернуты, все пространство занимала кровать, по бокам две тумбочки. Больше ничего – ни стульев, ни кресел, ни шкафов. Сбоку дверь в санузел. Пахнет приторными духами, табачным перегаром (хотя на двери листок с перечеркнутой сигаретой в красном кружке), еще чем-то не очень приятным.

Лита не могла говорить – сдавило грудь и горло, даже дышать было трудно.

Она начала раздеваться. Но, сняв футболку, подошла к окну и задвинула шторы. Стало темно до кромешности.

– Ты уверена? – послышался голос Антона.

– Да, давай уже!

Лита наощупь нашла тумбочку, сложила на нее одежду, стянула с постели покрывало, свернула, положила на ту же тумбочку, забралась под одеяло. Ждала. Через некоторое время к ней присоединился Антон. Они лежали по краям, не касаясь друг друга. Замерли. Но вот Антон заворочался, повернулся на бок, его рука коснулась Литы и тут же отскочила.

– Нет, – сказала Лита. – Я так не могу.

– А как? – спросил Антон.

– Не знаю. Я тебя люблю, очень люблю. Люблю встречаться с тобой, говорить. Я без тебя тоскую. Остальное – не обязательно. Я ненормальная? Или, как подруга говорит, несовременная?

– Я сам такой, – ответил Антон. – Я боялся признаться, какой мужик в этом признается, я тебе тоже люблю, но...

– Без секса?

– Сложнее. Я этого тоже хочу, я о тебе мечтаю, по-мужски иногда мечтаю, то есть...

– Я поняла.

– Да. Но мечтать одно, а чтобы вот так вот, как у всех... Или пусть не у всех, но... Я тоже без тебя тоскую, хочу тебя видеть, говорить, но... Ты мечта, Лита, а мечту не трахают.

– Будто другого слова нет.

– Нет. Нет для этого нормальных слов. Иметь, переспать, заниматься любовью, совокупляться, перепихиваться, чпокаться...

– Перестань!

– Я и говорю: всё не то.

Антон помолчал и спросил:

– Ты это для того решила, чтобы всё кончилось?

– Да.

– Ты хочешь, чтобы всё кончилось?

– Нет.

– Тогда зачем?

– Не знаю. А вдруг понравится?

– Этот вариант мы не учли. Тогда... – и Антон опять зашевелился.

Но Лита отодвинулась, чуть не упав при этом.

Она восприняла это как подсказку тела и встала. Начала одеваться.

– Даже если понравится, – сказала она, – всё пойдет к концу. И очень быстро. Ты мне стал как старший брат, понимаешь? А с братьями...

– Точно. А ты – как младшая сестра. С сестрами тоже...

– Прости, я пойду. А ты попозже, ладно?

– Ладно.

Лита вышла из комнаты, а потом из гостиницы. По глазам привратницы было видно, что та не удивилась. Ко всему привыкла.

Неделю они не созванивались, обоим было неловко, будто что-то меж ними все-таки было.

А потом Лита не выдержала, позвонила, приехала к парку «Дубки», и они гуляли вчетвером. Кент и Барби бросились друг к другу с таким визгом, будто не виделись сто лет, и гонялись, играли не меньше часа, не обращая внимания на других собак.

А Лита и Антон, с улыбками глядя на них, говорили о...

Впрочем, неважно, о чем.

А потом Лита всё же развелась с мужем, который, как оказалось, завел себе подружку модельных параметров, а через полгода женился на ней.

Лита живет одна, выполняет интересную работу, получает хорошие деньги, купила квартиру.

Около года они встречались изредка с Антоном, но потом Анастасия заболела сложной аутоиммунной болезнью, начались больницы, врачи, пансионаты, Антон не отходил и не отходит от жены ни на час в свободное от работы время, с Кентом гуляет выросший сын.

И встречи прекратились.

Что потом? Потом продолжилась жизнь с ее разными мелочами, трудностями и радостями, но и Литу, и Антона всегда поддерживает чувство, что в их жизни было счастливое и необычное время, когда они оба пережили то, что, возможно, удастся пережить не каждому, и этим можно гордиться. Да, иногда жаль того, что не свершилось, но, если подумать, многим людям, оглядываясь назад, и пожалеть-то не о чем.

Вернуться

Рассказ для кино

Геннадий Кружкин счищал снег с крыши особняка Савиных, у которых он служил-работал, и вдруг у него закружилась голова, он пошатнулся, поскользнулся и упал с трехэтажной высоты. Его в беспомощности отвезли в больницу, где он и пролежал в коме три с лишним месяца.

Очнувшись, Геннадий вспомнил всё так, будто произошло вчера. Однако зеленое дерево за больничным окном дало ему знать, что времени прошло немало.

Геннадий хотел уточнить у тех, кто лежал с ним в палате, сколько он тут находится, но выяснилось, что говорить – не получается. Из рта выходят неразборчивые звуки, как у младенца. А-гу-гы-га. Самому смешно.

Хуже того, Геннадий обнаружил, что не понимает человеческую речь. Слышит звуки слов, но они ни во что вразумительное не складываются. Будто иностранцы вокруг.

Пришел врач. О чём-то спрашивал. Геннадий разводил руками, пожимал плечами, мычал, показывал на рот, на уши, просил этими жестами, чтобы помогли, вернули речь и разборчивый слух, врач кивал, обещал, но в глазах было сомнение.

Навестила жена Марина со своим восемнадцатилетним сыном, пасынком Геннадия Ильей. Геннадий улыбался им и бодрым мычанием убеждал, что все в порядке, они тоже старались улыбаться, но выглядели напуганными и растерянными, особенно Марина. Геннадию даже жалко их стало. Он махнул рукой: ладно, идите. Тут вошел врач. Марина что-то спросила. Наверное, излечимо это или нет. Врач, конечно, успокаивал и обнадеживал. Марина, странно глянув на Геннадия, будто опасалась, что он поймет, когда не надо, задала еще один вопрос. Геннадий догадался: она интересуется, нормальный ли он.

Нормальный, уверенно ответил врач, руками указав сначала на Геннадия, а потом на Марину и Илью. Вроде того, вас же он узнал, это признак нормальности.

Геннадий закивал, Марина обрадовалась: понял, понял, Гена, да?

Понял, понял, мотал головой Геннадий.

Врач был доволен, Марина была довольна, Илья тоже был доволен, потому что для детей проблемы родителей всегда досадная обуза, мешающая их привычным занятиям.

Полежав еще несколько дней, Геннадий вернулся домой.

Жили они с Мариной и Ильей не при хозяевах, а в соседнем поселке, в своем небольшом, но очень ухоженном доме. Некоторое время Геннадий отдыхал, отъедался, потому что за время бесчувствия и кормления через трубочку исхудал, долечивал поврежденную ногу и смотрел телевизор.

Телевизор его сразу же очень удивил. Там с утра до вечера показывали военные действия, раненых и убитых солдат, обездоленных мирных жителей, разрушенные дома, а в промежутках долгие разговоры людей, которые то чему-то радовались, то гневались, но между собой были во всем согласны, при этом выглядели грозно и решительно. И самодовольно, как все, кто чувствует за собой правоту.

Марина попробовала объяснить, что к чему, Геннадий напряженно слушал ее, смотрел на экран, но не мог ничего сообразить. Тут пошли новости с субтитрами для глухонемых, Марина тыкала в них пальцем: читай, читай. Геннадий щурился, будто на приеме у окулиста, но закорючки букв не становились словами. Значит, он и читать разучился, совсем плохо.

Марина придумала остроумный способ, как всё объяснить. Дверца холодильника была сплошь обложена магнитами с изображениями стран и городов, был там магнит и с Путиным на коне, с обнаженным торсом. Марина Путина всегда любила и уважала, а Геннадий относился к нему равнодушно, как и к политике в целом. Марина сняла несколько магнитов, добавив к ним те, на которых были виды города Мариуполя, откуда был родом Геннадий. Он почти каждое лето навещал родителей и старшую сестру Галину, привозил магниты на память о родине. Раньше они тоже были на холодильнике, а когда началось то, что началось, Марина убрала их в нижний ящик комода, заложив бельем – от греха подальше.

И вот Марина показала Геннадию магнит с Мариуполем, а потом магнит с Кремлем и постучала ими друг о друга. Геннадий не понял. Тогда Марина взяла магнит с Путиным, и им тоже постучала о Мариуполь. Геннадий опять не понял. Тогда Марина взяла магнит, где был, среди прочего, изображен флаг Украины и магнит, где был флаг России, и

постукала их друг о друга, грозно нахмутив брови и губами изображая то ли взрывы, то ли выстрелы.

– Ту, ту, ту! Бдух, бдух! Бабах! – старалась она.

На этот раз Геннадий понял, но не поверил.

– Ва-а? – спросил он.

Марина ответила не одним словом, что-то объяснила дополнительно, но в целом подтвердила.

– Не озы! – промычал Геннадий.

«Не может быть!» – догадалась Марина.

И ответила:

– Еще как может!

Илья смотрел на это и прыскал смехом, Марина выгнала его из комнаты.

Геннадий стал очень встревоженным и беспокойным. Он мычал, чего-то то ли прося, то ли требуя. Схватил свой телефон, нажал на звездочку внизу, открылся короткий список избранных телефонов. Геннадий помнил наизусть: сверху телефон Галины, под ним домашний, названный «Папа-Мама Дом», а потом мобильные телефоны матери и отца. Он дал телефон Марине, она поняла, принялась звонить. Ни до кого не дозвонилась – или тишина, или резкая неприятная мелодия, а потом тоже тишина.

Марина покачала телефон в руке, показала рукой в сторону, широко помахала, обозначая что-то далекое, а потом разрубила что-то невидимое. Так она дала понять, что связь сейчас просто оборвана, не стоит волноваться.

И вышла в другую комнату – поплакать.

– Да ладно тебе, – сказал Илья. – Я читал, все восстанавливается.

– Не об этом я, – вытерла глаза Марина.

– А о чем?

Она в ответ глубоко и тяжело вздохнула.

Почитала, как и Илья, в интернете про подобные случаи с пугающими названиями: алалия, афазия, дислексия.

Услышала мычание мужа, вернулась в комнату.

По его жестам поняла, что он просит опять позвонить родителям и сестре. Позвонила – с тем же результатом. Лишь телефон Галины вдруг ответил женским голосом: «Апарат абонента вимкнено або знаходиться поза зоною дії мережі». Этот голос Марину напугал больше, чем молчание.

Она тоже работала у Савиных – кухаркой, уборщицей и всем прочим, что надо по хозяйству. Семь лет назад устроилась туда вместе с Геннадием; хозяину дома Антону,

молодому еще человеку, сейчас ему чуть за сорок, понравилось, что прислугой будет семья, понравилось это и его жене с необычным именем Марфа. Она совсем молоденькая, двадцать восемь лет ей, вторая жена она у Антона, родила ему мальчика Мирона, теперь ему пять.

Марина решила посоветоваться с Антоном. Он ведь очень умный, работает в какой-то правительственно-коммерческой организации, Марина не уточняла, не любила лезть в чужие дела.

– К какому бы врачу мне Гену отвезти? – спросила она.

– К психиатру. Или невропатологу.

Марина и сама это понимала, она рассчитывала не на совет, а на помощь. Ведь помог же Антон устроить Геннадия в хорошую клинику, оплатил лечение и дал сверх этого денег, сказав:

– В виде компенсации. Все-таки из-за нашего дома пострадал.

Вот и теперь она надеялась, что Антон предложит показать Геннадия врачам из той кремлевской больницы, к которой прикреплен сам. Но Антон не предложил, а выпрашивать что-либо Марина не любила.

Она записала Геннадия к невропатологу в ближайшем городе Дмитрове и через день повезла его туда. Зашла в кабинет первой, чтобы все объяснить. Невропатологом оказалась невзрачная молодая женщина лет тридцати, да еще с тремя колечками пирсинга в ухе, это Марину насторожило. Тем не менее, она объяснила ситуацию, по удивленным глазам врачихи поняв, что та впервые сталкивается с подобным случаем. Однако уверенно сказала:

– Разберемся!

Геннадий вошел, сел перед врачихой, она задавала вопросы, он то мычал, когда приблизительно понимал ее, то молча вглядывался, мучаясь от непонимания. Он видел, что врачиха в недоумении и ничем помочь не может, но терпел. Не ради нее, ради жены.

Потом Марина повела его на другой этаж, где долго сидели в коридоре, после чего Геннадия ввели в комнату с капсулой томографа, раздели до трусов, задвинули в капсулу, он бесконечно долго, как ему показалось, лежал и слушал монотонные звуки – то стук, то писк, то звон, то угрожающее уханье, какого не бывает в природе. Да и все звуки были искусственными, механическими, это дополнительно угнетало Геннадия; ему хотелось чего-то,

что напоминало бы о жизни, а звуки эти, наоборот, словно отдаляли его, отчуждали от жизни, вбивали в голову горькую правду, что теперь он совсем другой, не такой, как все.

Несколько дней подряд Марина возила мужа по клиникам и водила по кабинетам, становясь все печальнее и сердитее.

Последним был пожилой психиатр, и он сказал:

– Если кто-то вам пообещает его вылечить медикаментозно – не верьте. Предложат гипноз – тоже не верьте. Для гипноза надо, чтобы человек воспринимал слова, а он как раз не воспринимает.

– И что делать?

– Терпеть и ждать. Минимум раздражающих факторов. Он кем работал?

– Да по хозяйству мы у одних богатеньких.

– Вот и хорошо, что по хозяйству, для этого разговоров не надо. Он же в обычных действиях такой же, как был? В том числе, извините, в сексе? Не утратил ведь потенцию?

– Даже наоборот, чуть не каждый вечер ко мне жметяся.

– Объяснимо – ищет утешения, компенсирует.

– Уж да, – смутилась Марина.

– Радоваться надо! – упрекнул психиатр.

На другой день, вечером, Марина рассказала Антону и Марфе о посещении психиатра и о его совете.

– Гена и вправду здоровый совсем, пусть работает, если можно?

– Можно, – ответил Антон, глядя в телефон.

Марина, выйдя из столовой, услышала шепот Марфы. По интонации шепота поняла, что Марфа недовольна. Прозвучало слово «псих». Хотелось вернуться и сказать, что Гена никакой не псих, но получилось бы, что она подслушала. Нехорошо.

Геннадий с охотой приступил к работе. Навел полный порядок на обширном участке, переложил плитки на одной из дорожек, почистил декоративный прудик, решил даже залезть на крышу, чтобы осмотреть то место, где зимой обнаружались небольшая течь, из-за чего он и сбрасывал снег. Увидел зазор в черепице, съездил в строительный магазин, купил специальный герметик (догадался о назначении по рисунку на бутылке), замазал зазор, втащил на крышу шланг, поливал, проверяя – все отлично, не течет. Был доволен тем, что можно, оказывается, и без слов если не полноценно жить, то нормально работать.

Меж тем атмосфера в доме Савиных с каждым днем менялась не в лучшую сторону. Антон, возвращаясь со службы, садился ужинать и включал телевизор, что висел в столовой, Марфа иногда тоже выходила к столу, и они почти сразу же начинали ругаться. В телевизоре люди кипятились – и они закипали. Телевизор был подключен к интернету, Антон смотрел главные каналы, которые Геннадий узнавал по лицам ведущих, а Марфа хватала пульт и включала что-то другое, там были другие ведущие, незнакомые Геннадию, Марфа, поддакивая им, раздраженно что-то Антону доказывала. Тот кривился, не соглашался, спорил. Сначала, предостерегая, кивал в сторону Геннадия: не надо при нем, потом окончательно убедился, что Геннадий ничего не понимает, и тоже горячился. Доходило до криков, до того, что Марфа глядела на Антона чуть ли ни с ненавистью, а он становился высокомерно враждебным, Геннадий по его тону догадывался, что Антон говорит Марфе оскорбительные вещи. Но и Марфа не отставала, а однажды схватила вазу и грохнула ее об пол. Осколки разлетелись по всей комнате, Геннадий долго собирал и сметал их, тщательно пройдясь еще и пылесосом.

Геннадия при этом они совсем перестали стесняться, словно даже и не замечали его. Это понятно, к прислуге привыкают, как к мебели. Геннадий и не такое видел, однажды застал Антона и Марфу в оранжерее, они устроились на мягкой травке среди кустов и всю любили друг друга. У Марфы были закрыты глаза, а Антон, трудясь, глаз не закрывал, любовался Марфой и своими движениями, и заметил Геннадия, который тут же скрылся. Потом Антон сказал ему без смущения, с мужской похвальбой:

– Вот так и бывает, Гена. Накатит – и...

– Понимаю, – одобрительно сказал Геннадий.

Теперь же дошло до того, что Антон и Марфа даже спали в разных комнатах. Впрочем, может, ночью и сходились, ночью всё бывает иначе.

Марина при этих ссорах и спорах тоже не раз присутствовала, и они к ней даже обращались, чтобы рассудила, Марина говорила что-то примирительное, но это мужа и жену ничуть не примиряло, напротив, Антон толковал ее уклончивые слова в свою пользу, а Марфа в свою.

Однажды показалось, что их вражда прекратилась, они стали подчеркнуто друг к другу вежливыми и деликатными. Это было в субботу, когда к ним приехали по какому-то случаю гости. Геннадий и раньше их видел – не сослуживцы и не родственники, а друзья Антона с женами и подругами, люди молодые, как и хозяева, веселые, легкие, мужчины бодрые, женщины красивые, приятно посмотреть. Антон с помощью Геннадия готовил шашлыки, гости кто сидел за столом под навесом, кто гулял по лужайке; Геннадий знал, что общее застолье у них не соблюдается, не то что раньше, в советских квартирах, когда все собьются в одной комнате, составив столы, в том числе позаимствованные у соседей, стеснятся, кричат что-то друг другу через стол, все вразброд – пока не напьются наконец и не запоют хором «Вот кто-то с горочки спустился» или «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?», или «Ніч яка місячна», или «Несе Галя воду». А тут хочешь выпить и закусить – садись, закусывай, выпивай, хочешь с кем-то нормально пообщаться – иди погуляй с ним, поговори по-человечески. Но вскоре похолодало, подул ветер, закрапал дождик, перебрались в дом, а там уж сели длинный за стол в большой гостиной (в доме имелась и малая) и, нагуляв аппетит, с охотой ели и выпивали. Антон и Марфа выглядели дружной семьей, было тихо, мирно, вечер теплился, как огонь в камине, который Геннадий по просьбе Антона разжег для уюта. Но, как в огонь плеснут бензином, так и в разговоре вдруг вспыхнуло, послышался громкий выкрик – и пошло, пошло разгораться, запылало пожаром, через несколько минут все кричали друг на друга, Антон за кого-то вступился, на него накинулись, Марфа присоединилась к накинувшемуся, а на накинувшемся накинулись другие, пошла жаркая ругань всех со всеми, Антон рассвирепел, цыкнул на Марфу, она оскорбилась, вскочила, засыпала Антона словами, тут молчавшая до сих пор очень красивая блондинка перекрыла речь Марфы своим очень звучным, прямо-таки оперным голосом, пропела в ее адрес что-то уничижительное и что-то, похоже, личное, кто-то из мужчин пьяно заржал, заржавшего обозвали, он пришел в ярость, отшвырнул стул, пошел к обозвавшему, они вцепились друг в друга руками и что-то выкрикивали, это было похоже на перебранку соперников перед боем без правил, Геннадий когда-то был любитель посмотреть по телевизору такие бои. Сейчас он, ничего не понимая, с удивлением смотрел

на происходящее, на эти лица, в которых были не просто гнев, злость или негодование, а настоящая неистовая ненависть – дай им сейчас оружие, так, пожалуй, перестреляют друг друга. Кто-то дико завопил, покрыв всех длинной отчаянной тирадой, и выскочил, хлопнув дверью. После этого гости, посидев еще немного в неловкой тишине, начали один за другим прощаться и уходить, через полчаса остались лишь Марфа и Антон. Антон сидел за столом и выпивал, Марфа сходила наверх к Мирону, вернулась, налила полный бокал вина, села с ногами в кресло и пила вино, отвернувшись к окну. Марина убирала со стола, Геннадий помогал ей, оба делали всё быстро и бесшумно. Антон после долгого молчания что-то сказал, Марфа ответила коротко и резко, давая понять, что не собирается поддерживать разговор.

Между прочим, началось всё из-за того же телевизора, который включили, чтобы посмотреть последние новости. Вот и посмотрели.

Дома Марина не позволяла Геннадию смотреть телевизор, помня слова психиатра о раздражающих факторах. Но есть же телефон, поэтому Геннадий смотрел всё там, по-прежнему ничего не понимая. Каждый вечер, к тому же, он вручал телефон Марине и показывал, на какой номер позвонить. И матери с отцом, и Галине, и кому-то еще – друзьям или родственникам, он узнавал их по фотографиям-аватаркам. Марина никого не знала, она ни разу не ездила с Геннадием в Мариуполь. Причина простая: ей было неудобно, что они с Геннадием не официальные муж и жена, а гражданские, хоть и живут вместе пятнадцать лет.

Геннадий приехал в Дмитров со строительной украинской бригадой, Марина тогда тоже работала на стройке, чтобы прокормить себя и трехлетнего сына. Отец Ильи ничем не помогал, а потом и вовсе бесследно исчез. Геннадий и Марина сразу понравились друг другу, он все чаще приезжал к ней в гости, а однажды остался насовсем. Все эти годы он был для Марины верным и работающим мужем, для Ильи добрым и заботливым отчимом, чего еще больше желать?

Она пробовала отбирать телефон, Геннадий не отдавал, обижался. Да и не казался ей телефон таким вредным, как телевизор. В телефоне всё мельче и тише, а на огромном экране громко и вредно.

Марина вежливо попросила Антона и Марфу не включать при Геннадии телевизор. Объяснила:

– Он ведь с Украины у меня, так что, сами понимаете...

– Это новость, – сказал Антон. – Почему ты раньше не сказала, Марина?

– А есть разница? – с вызовом спросила Марфа.

– Есть.

– Какая?

– Сама понимаешь.

– Не понимаю! – дразнила Марфа, ехидно улыбаясь.

– Опять начинается! – с досадой сказал Антон.

– Не опять, а снова!

– Как из тебя провинция лезет! – съязвил Антон.

– Саратов провинция? – взвилась Марфа. – Да у нас один из лучших университетов в стране!

– Потому что ты в нем училась? – поддел Антон.

– Потому что привыкла выбирать самое лучшее! – отбила Марфа.

– С этим согласен, – расплылся в улыбке Антон. – Меня же выбрала.

– О чем жалею!

– Ты вот шутишь, а другие подумают, что всерьез.

– А если всерьез?

Антон отмахнулся и обратился опять к Марине:

– И давно он оттуда?

– Очень давно, у него и гражданство российское с семнадцатого года.

– Мог бы и раньше, при регистрации брака, – задним числом посоветовал Антон.

– Ну, как... – Марина помялась. – Мы хотели, но всё откладывали, а в семнадцатом году оказалось, что не обязательно, можно и без регистрации гражданство сменить...

– Не понимаю. Почему сразу-то не поженились?

– Да... Я тогда по документам замужем была, а муж пропал без вести... И мама посоветовала, когда живая была: ты не торопись, а то оттяпает он у тебя дом. Недоверчивая она была к людям. И дом был на нее записан... А потом... То я на заочный развод всё не могла подать, то у Гены паспорт был украинский, чтобы легче ездить домой, то... Если бы дети общие были, тогда бы сразу поженились, а детей я не могу, с гинекологией проблемы... Дело-то ведь не в формальностях, а как люди по факту живут. По факту у нас всё хорошо.

– Формальности не для формы, а для порядка, – с необычной строгостью произнес Антон. – Главное даже не это. Главное, что ты мне, Марина, не сообщила. И он не сказал. Нехорошо. Понимаешь меня? Не то плохо, что он бывший гражданин Украины, человек не выбирает, где родиться, а то, что вы меня обманули.

– Ты шутишь, надеюсь? – спросила Марфа, глядя на мужа с такой злой сердитостью, что Марине стало не по себе. Да еще Геннадий в это время зашел в дом и стоял, всматривался и вслушивался, Марине показалось, что он догадывается, о чем речь.

– Ладно, – сказала она. – Извините, потом... Считайте, что я ничего не говорила.

– Считать так мы уже не можем, – веско сказал Антон, и Марина увидела его тем человеком, каким он бывает не дома, а где-то там, в своих деловых сферах. – Я не могу позволить работать у себя людям, которые скрывают от меня серьезную информацию. Значит, могут скрывать и что-то еще. Поэтому я вынужден...

– Да не сходи ты с ума-то! – закричала Марфа. – Вынужден он! Боишься неизвестно чего, как и все вы! Тени уже боитесь своей, живете все в страхе и трусости, смотреть противно!

Геннадий стоял в двери, понимал, что надо уйти, но что-то его удерживало. Между Марфой и Антоном разгорелась такая склока, какой еще не бывало. Марфа в чем-то обвиняла мужа, обличала его, по движениям ее губ и по округлившимся глазам Марины Геннадий догадался, что Марфа без стеснения ругается матом, да и Антон огрызался не менее грубо, а потом перешел в наступление, встал из-за стола, навис над Марфой, сидевшей напротив, яростно кричал. Марфа схватила стакан с соком, плеснула в Антона, он, расшвыряв, бегом обогнул стол, подскочил к ней, схватил за руку, потащил по лестнице вверх, она вырывалась, кричала, обращалась к Геннадию, тот посмотрел на Марину, Марина отрицательно покачала головой, и тут Антон отвесил Марфе пощечину. Марфа завизжала от ярости, ударила Антона кулаком в лицо, Антон обхватил ее, приподнял, Марфа болтала в воздухе ногами. Геннадий не выдержал, подбежал, вырвал Марфу из рук Антона, заслонил собой, не давая броситься на мужа, Антон свирепо рычал, вытянув руку, указывая Геннадию и Марине на дверь...

Так они потеряли работу.

Марина вскоре устроилась туда, где трудилась и раньше, штукатуром в строительную фирму, управляющий и совладелец которой знал ее как исполнительную, неприхотливую работницу и охотно взял.

Геннадий тоже мог бы туда устроиться, но он заболел. Не простуда, не ковид какой-нибудь, который в ту пору еще не исчез, непонятно что – вялость, сонливость, потеря аппетита и температура по вечерам.

А Илья, закончив школу, дальше учиться не захотел, устроился в салон связи, где пошучивал с девушками-клиентками и назначал им свидания; некоторые не отказывали симпатичному парню с хорошо подвешенным языком, из-за этого Илья задерживался до ночи, а иногда и до утра.

Теперь никто не мешал смотреть телевизор, Геннадий и смотрел целыми днями до головной боли, до тоски, которая его и без телевизора ни на минуту не отпускала.

И однажды он увидел свой дом. Дом, в котором вырос, в котором жили мать, отец и Галина до тех пор, пока не вышла замуж. Теперь дом был наполовину разрушен. Именно там разрушен, где была их квартира. Геннадий узнал свой дом, обычную пятиэтажку, сначала не по нему самому, а по соседнему зданию. Оно приметное, желтое, трехэтажное, а главная примета – металлическая трехногая конструкция, похожая на геодезическую вышку, а сверху устройство в виде буквы Ф. В здании была станция «скорой помощи», конструкция – скорее всего радиоантенна, она выкрашена до половины в белый цвет, Геннадий видел ее с детства и узнал бы из тысячи других. Эти кадры он увидел не в телевизионной трансляции, а на ютубе, поэтому вернул и остановил. Разглядел балкон на пятом этаже уцелевшей половины. Он был застеклен необычным образом, закругленными по углам стеклами с прорезиненными прокладками, похожими на окна в старых троллейбусах и автобусах, может, оттуда они когда-то и были взяты. Этот балкон Геннадий тоже помнит с детства, да он и внутри бывал, в гостях у своего дружка Витали, сына какого-то большого транспортного начальника, что и объясняло необычное застекление балкона.

Геннадий рассматривал дом в полноэкранном масштабе, подойдя к телевизору, и увидел то, что больно кольнуло его в сердце. На обгоревшей голой стене сохранилась планка, на которой в полном порядке и составе висели никелированные половники, дырчатые ложки, двурогие

вилки для мяса, разные лопатки, дуршлаг, толкушка, ситечки и прочее. Этот набор он купил маме на день рождения. Та прослезилась, любовалась подарком, отец аккуратно, как он и все делает, прикрепил к стене.

- Красота! – радовалась мама. - Аж сияют!

Но они так и висели для красоты, мама не рассталась ни с треснувшей деревянной толкушкой для картошки, ни с деревянной почерневшей лопаткой, ни со старым эмалированным дуршлагом, в дне и на ручке которого давно уже виднелись темные пятна ржавчины.

И вот это осталось, висит, предназначенное для жизни и уюта людей, а людей – нет.

Геннадий выключил телевизор и стал торопливо собираться. Взял только самое необходимое: смену белья, запасные кроссовки, футболку и джинсы, несколько банок консервов, немного сыра, колбасы, две бутылки воды. Собрался быстро. Нетерпеливо ждал жену. Марина пришла, Геннадий включил телевизор, показал ей разрушенный дом, а потом фотографии родителей в телефоне. Марина взялась за сердце и села на стул. Увидела набитый рюкзак, посмотрела вопросительно. Геннадий жестом позвал ее в комнату Ильи, где на стене висела карта России и окружающих стран, показал на Украину и на себя.

– А е-у! – сказал он.

«Я еду», – поняла Марина и спросила:

– Когда? Как? На чем? Зачем?

Геннадий показал в окно, за которым видно было машину.

Марина взялась возражать. Говорила, насколько понял Геннадий, что машина старая, ненадежная, требует ремонта.

Геннадий подвигал руками, изображая маховики, крутящие колеса поезда. Потом изобразил самолет. Дескать, в таком случае доберется поездом или самолетом. Марина махала руками, уверяя, что поезда не ходят, а самолеты не летают. Затем показала на Украину, на Геннадия, на себя, на календарь и выставила семь пальцев. Поедем вместе через неделю, понял Геннадий. Переспросил, еще раз указал на Украину, на себя и Марину, на календарь:

– А?

– Да, да, – ответила Марина. Это слово простое, его узнать легко.

Геннадий согласился подождать. Он даже начал есть, набираясь сил, а по вечерам гулял по окрестностям для здоровья.

На третий день, вернувшись домой, увидел необычное: Илья глупо хихикает, сидя у кухонного стола, а Марина плачет. Она бросилась к Геннадию, показывала на Илью, кричала, схватила со стола бумажку с печатями, трясла ею, ругала Илью, просила у Геннадия поддержки.

Геннадий кивнул на старый небольшой телевизор, стоявший на холодильнике, где как раз была боевая хроника:

–У-а?

Илья веселился, подтверждая. Его веселье объяснялось запахом алкоголя.

Геннадий постучал себя пальцами по горлу и погрозил: пить нехорошо!

Илья показал, что выпил совсем чуть-чуть.

Марина закричала что-то протестующее. Илья дотянулся до холодильника, ухмыльнулся, щелкнул по магниту с Путиным и удивленно выпучил глаза: как же так, я за твоего Путина готов вступиться, а ты запрещаешь!

Марина бурно возразила, как понял Геннадий, что Путин одно, а то, что собирается сделать Илья – совсем другое.

На это Илья расправил грудь и стукнул по ней кулаком. Это означало патриотизм и готовность ко всему. Марина залилась слезами.

Кое-как успокоившись, она покормила Илью и Геннадия, съела что-то сама. Илья ушел спать, Марина достала бутылку, налила себе и Геннадию. Выпили. Она говорила сначала жалобно, потом сердито, потом раздраженно, а потом ударила кулаком по столу и выкрикнула что-то решительное.

Наутро она кому-то звонила, принарядилась и ушла. Вернулась к обеду обнадеженная, веселая, разбудила Илью, который умел спать целыми сутками, сообщила ему радостную новость. Илья, однако, не обрадовался, наоборот, неприятным голосом ругал мать, Геннадий счел нужным вмешаться, вошел в комнату и положил руку на плечо Ильи. Тот дернул плечом и сбросил руку. Раньше он себе такого не позволял.

Остаток дня прошел в молчаливой печали. Вечером Марина опять достала бутылку, выпила, а Геннадий отказался. Марина показала на Геннадия, на себя и отрицательно помотала головой.

Никто никуда не поедет, понял Геннадий.

Показал: тогда я один.

- Нет, - сказала Марина. Тоже простое слово, как и да, тоже понятное.

Посидев немного, Геннадий встал, взял рюкзак. Марина метнулась к двери, вцепилась в косяки. Она просила, плакала, обнимала Геннадия, заглядывала ему в глаза, Геннадий мягко, но решительно отодвинул ее. Вышел из дома, пошел к машине, на ходу доставая бумажник, где у него был свой комплект ключей. Ключей там не было. Геннадий вернулся. Марина сидела за столом со стаканом в руке. Она стала другой. Не плакала, не упрашивала, лицо было жесткое, упрямое. Геннадий выдвигал ящики комода и шкафа, открывал кухонные дверцы. Ключей нигде не было. Он подошел к Марине, встал перед нею и требовательно протянул руку.

Она махнула в сторону окна: выкинула ключи, не ищи. Геннадий взял ее за плечи и встряхнул. Марина жалобно закричала. Выскочил Илья, увидел это и бросился на Геннадия, замахнувшись кулаком. Геннадий перехватил руку, вывернул, Илья согнулся аж до пола. Марина вскочила, встала между мужем и сыном, отпихивала их друг от друга. Выхватила из кармана джинсов ключи, бросила их Геннадии, промахнулась, ключи упали на пол. Геннадий подобрал их и пошел к двери. В двери обернулся, чтобы попрощаться хотя бы взглядом, но Марина обнимала сидящего на полу Илью, прислонив к нему голову, на Геннадия не смотрела.

Он кивнул и вышел.

Неприятности начались сразу же после Дмитрова: забарахлил двигатель, из-под капота заструился дым. Геннадий вернулся, поехал в знакомый сервис к знакомому мастеру. Тот знал его историю и не удивлялся, что Геннадий изъясняется мычанием. Открыл капот, покачал головой. Показал на часы, провертел пальцем круг. Весь вечер и завтрашний день уйдет, понял Геннадий.

Возвращаясь домой он не хотел, устроился в дешевой гостинице.

Утром завтракал в застекленном кафе и смотрел на здание напротив. Вспомнил, что там клиника, где была беседа с психиатром. Пошел туда, ни на что не надеясь, но ему повезло, психиатр был на месте и принял его. Я, показал на себя Геннадий, собираюсь ехать, он покрутил

воображаемый руль, но мне нужна бумага, он показал на бланки, стопкой лежащие на столе, где будет официально написано, что я не глухонемой и не придуриваюсь, он приложил пальцы к губам и к уху, а потом повертел пальцем у виска и отрицательно махнул рукой, просто у меня такая особенная болезнь, он закрыл глаза, потом открыл, напоминая, что был в коме. И психиатр его понял, но бумагу выдать отказался. Он раскрыл папку, показывал листки: вот так можно, так можно и так можно, а так, как вы просите – нельзя. Геннадий огорчился, но не настаивал – нельзя так нельзя. Встал и пошел к двери. Психиатр окликнул его. Взял листок, обычный, не бланк, что-то написал на нем. Подумав, поставил подпись, число. Геннадий вынул телефон, показал на него и на листок. Напишите, дескать, свой номер. Психиатр поднял руки: это уж слишком! Геннадий чиркнул ребром ладони по горлу: позарез надо! Психиатр шумно выдохнул, почесал в седой голове – и написал номер. Геннадий так был благодарен, что удалялся задом, кланяясь, будто японец, он видел это в каком-то фильме.

Работы с машиной оказалось больше, чем предполагал мастер, пришлось еще раз переночевать в гостинице.

Ранним утром следующего дня, под восход солнца и пение птиц Геннадий наконец выехал. Миновал по кольцевой Москву и двинулся на юг. До 14-го года он ездил через Курск-Белгород-Харьков, а потом, по понятным причинам, другой дорогой, через Воронеж и Ростов-на-Дону. По времени получалось то же на то же: если выехать в четыре-пять часов утра, поздним вечером оказываешься дома.

Он отъехал от Москвы на сто с лишним километров, когда его остановили на посту ДПС. Дэпээсник подошел, козырнул, что-то сказал. Геннадий протянул ему документы. Тот полистал, осмотрел салон машины, ткнул жезлом в рюкзак, лежавший на заднем сиденье. Геннадий вышел, открыл дверцу, взял рюкзак, расстегнул, показал содержимое. Дэпээсник поворошил там жезлом, после чего показал на багажник. Что ж, Геннадий открыл и багажник. Дэпээсник без интереса осмотрел его и вернул документы. Геннадий сел в машину и собирался отъехать, но тут дэпээсник нагнулся и задал еще какой-то вопрос. Может, спрашивает, почему молчу? – подумал Геннадий. И покашлял, приложив ладонь к шее. Горло, вроде того, болит. Лицо дэпээсника стало недоуменным. Видимо, он

спрашивал о чем-то другом. И повторил вопрос, а потом взялся за ручку дверцы и приоткрыл ее, приглашая опять выйти.

Геннадий вышел. Приблизился второй дэпээсник, старше по званию. Первый что-то сказал ему, старший обратился к Геннадию. Геннадий глупо улыбался и молчал. Пройдемте, показал рукой старший. Геннадий залез в карман (оба дэпээсника напряглись), достал бумажку психиатра, вручил старшему. Тот довольно долго читал, то и дело поднимая голову и поглядывая на Геннадия. Дал почитать младшему. Они поговорили между собой, потом старший достал телефон, набрал номер. Психиатру звонит, понял Геннадий. Дэпээсник говорил с психиатром, недоверчиво глядя на Геннадия. Но, наверное, психиатр сумел все ему толково объяснить. Геннадия отпустили.

Без приключений он добрался к полудню до Воронежа, объехал его, остановился на пустынной по случаю выходного дня заправке, чтобы залить бензин и перекусить. Теперь, ограниченный в общении, он оценил те удобства, которых раньше не замечал. Не надо, к примеру, объяснять, какой залить бензин, можно просто встать у соответствующей колонки. Угадать, какая нужна, легко по наклейкам: 92-й бензин маркируется синим цветом, 95-й зеленым. А в кафе при заправках нехитрая еда вроде бутербродов, салатов и йогуртов в свободном доступе, в холодильниках, открывай дверцу и бери. Правда, напитки там только холодные, а Геннадию хотелось кофе с молоком. За стойкой хозяйничала симпатичная молодая блондинка в голубых джинсах и с тонкой загорелой талией, поэтому, наверное, на ней была очень короткая белая майка – грех такую талию прятать. Геннадий показал на доску, где мелом были написаны названия напитков и цены.

– Кофе? – спросила блондинка.

Геннадий понял это по движению губ, он научился уже угадывать простые слова. Сами попробуйте, «кофе» произносится совсем не так, как «чай».

Но блондинка попросила уточнить. Геннадий три раза широко открыл рот.

– С молоком? – она указала на пакет молока.

Геннадий кивнул.

Блондинка, готовя кофе, сочувственно о чем-то спросила. Геннадий развел руками. Она подала кофе и придвинула Геннадию листок с карандашом. Почему-то

заинтересовалась мужчиной. Геннадий помотал головой, отодвинул листок, достал свой, написанный психиатром. Блондинка начала читать, прыснула смехом, но тут же приложила ладонь к губам, извиняясь этим жестом. Дочитала, вернула листок. Смотрела с еще большим сочувствием. Что-то близкое и родственное почувствовал в ней Геннадий. Возможно, и она в нем тоже. Так оно в жизни и бывает, так было с Мариной – столкнулись на лестнице в строящемся доме, перекинулись парой слов, улыгнулись и разошлись, а потом он весь день вспоминал о ней, а Марина вспоминала о нем, в чем потом призналась.

Геннадий, не отходя от стойки, съел бутерброд, творожок, запил это кофе, а блондинке вздумалось представиться. Она указала на себя и два раза открыла рот. Имя свое сказала. Может, Таня, может, Тая, может, Аня, Маша, Катя, многие имена так произносятся. Геннадию хотелось сделать ей приятное, он повторил:

– А-я.

Она засмеялась:

– Ая, Ая, Ая!

Произнесла так же, как он. Наверное, ей это имя понравилось больше, чем настоящее.

Даже жаль было уходить, поэтому Геннадий, указав на опустевшую чашку кофе, дал понять, что хочет еще. Ая, пусть будет это имя, раз уж так получилось, охотно приготовила вторую чашку. Налила кофе и себе. Решила обучить Геннадия. Приподняла руку, назвала ее.

– У-а, – повторил Геннадий.

Она показала на свои глаза, тоже назвала.

– А-а! – повторил Геннадий.

Ая, глянув в сторону двери, лукаво улыгнулась и, полусогнув ладони, округло огладила воздух над своими немалыми красивыми выпуклостями.

– У! – повторил Геннадий, смеясь. И показал большой палец.

Ая ответила горделивым взглядом: что имеем, то имеем! А потом достала телефон, нашла там карту, показала ее Геннадию. Куда, дескать, едешь? Геннадий прокрутил карту, показал на Мариуполь, узнав его не по названию, а по расположению. Ая тут же перестала улыбаться, что-то спросила. Что-то вроде – «серьезно»? Или – «в самом деле»?

Геннадий кивнул, Ая покачала головой. Стала деловитой, убрала бумажную тарелку, чашку и все прочее, чем

пользовался Геннадий, вытерла тряпкой стойку. Она не прочь была пошутить, полюбезничать с симпатичным мужчиной, но, наверное, чуралась всего, что может напрячь и испортить настроение. Геннадий поднял руку, прощаясь, она ответила кивком – без улыбки.

А Геннадий на протяжении нескольких километров – улыбался. Бывает в жизни – ничего особенного не произошло, а приятно. Спыхватился, будто почувствовав вину за свое хорошее настроение, убрал с лица улыбку, достал телефон и в очередной раз попытался дозвониться до родителей или до Гали. Не получилось.

Перед Миллерово, у железнодорожного переезда, Геннадия опять остановили. На этот раз у поста ДПС были не только полицейские-дэпээсники, но и военные.

Усталый дэпээсник, который показался Геннадию пожилым, хотя тот был в звании всего лишь капитана, а капитанов пожилых не бывает, проверил документы, осмотрел, как и предыдущий, рюкзак и багажник, всё это проделал молча, вернул документы, Геннадий готов был ехать дальше, но тут перед капотом возник военный. Он был в камуфляжном комбинезоне, в шлеме с пластиковым забралом. В такую теплынь и так одет, поневоле пожалел его Геннадий. Военный что-то сказал дэпээснику, указывая на номер. Спрашивает, зачем я из Москвы сюда заехал, предположил Геннадий. Военный подошел, постучал пальцем в стекло, Геннадий опустил его и, не дожидаясь вопроса, протянул документы. Военный, подняв забрало, перебрал их и чуть расставил руки, как бывает, когда люди не находят то, что искали.

Может, паспорт нужен? – подумал Геннадий, и дал ему паспорт. Военный раскрыл, и тут же глаза его стали внимательно-подозрительными. Он что-то спросил таким голосом, каким в кино контрразведчики допрашивают шпионов. Геннадий затряс головой, отрицая, хотя не понимал, в чем его подозревают. На губах военного заиграла ехидно-проницательная улыбка, он сунул паспорт под нос Геннадию, указывая на то место страницы, где было обозначено место рождения.

Геннадий кивнул и пожал плечами: ну да, родился в Мариуполе – и что?

Военный резко открыл дверцу и приподнял дуло висящего на плече автомата.

Геннадий вышел, полез в карман за спасительной бумагой, военный отпрыгнул, наставил автомат, закричал приказным и опасливым голосом, дергая дулом автомата вверх. Геннадий понял, задрал вверх руки. Военный подозвал второго военного. Тот схватил Геннадия за руки, завел их назад крепко сжал, а первый военный полез в карман Геннадия, достал листок. Развернул, прочитал. Засмеялся, показал листок напарнику, что-то говоря. Тот тоже засмеялся.

Через минуту Геннадию надели наручники и повели к армейской палатке, стоявшей неподалеку. Палатка большая, войти можно было, не сгибая головы.

Там был стол и две раскладушки. На одной раскладушке кто-то спал, не обращая внимания на происходящее, а за столом сидел военный в звании майора. Он взял у сопровождавшего Геннадия солдата документы и листок психиатра, отпустил солдата, внимательно все изучил. Потряс листком в воздухе, задал вопрос. Что это за фигня? – догадался Геннадий. И закивал на листок, мыча:

– Ззз! Ззз!

Этим он хотел сказать, что надо позвонить по указанному номеру.

Майор набрал номер, довольно долго сидел с трубкой возле уха.

Психиатр не ответил. Может, был занят, может, не отвечал на звонки в нерабочее время, ведь наступил уже вечер. Майор качнул головой с таким видом, будто ничего другого и не ожидал, и произнес небольшую обличительную речь.

Геннадий крутил головой, все отрицая, майор махнул рукой: да ладно, вижу я вас всех насквозь. Он сложил документы и изъятые у Геннадия телефон и ключи от машины в пластиковый пакет с кнопкой-застежкой, громко кого-то позвал. Вошли задержавшие Геннадия солдаты, майор вручил одному из них пакет, они взяли Геннадия под руки, повели из палатки. Геннадий просительно и оправдательно мычал, на него прикрикнули, веля молчать.

Они привели Геннадия к зеленому «уазу», где спереди сидели двое военных, а сзади трое гражданских, все в наручниках. Солдат что-то сказал водителю, тот сердито ответил. Солдат сказал жестче, водитель махнул рукой и отвернулся. Солдат открыл дверцу и стал пихать Геннадия к тем троицам. Но Геннадий не помещался. Дело в том, что сидевший с края мужчина был очень толстым. Он и без того

стеснил двоих соседей, а дать место еще одному человеку никак не мог. Солдат уминал, уминал Геннадия, но тот даже краем тела не помещался, а сидевшие недовольно роптали. Солдат взял толстого мужчину за руку с тем, чтобы вывести из машины, и толстый охотно завозился, вылезая, но водитель выскочил, заругался, показывая в сторону палатки. Солдат тоже закричал и тоже показывал на палатку. На крик выглянул и подошел майор. Водитель и солдат одновременно доказывали свою правоту, майор приказал им помолчать. Сказал толстому человеку что-то осуждающее. Наверно, упрекал за полноту. Толстый обиженно ответил. Кончилось тем, что «уазик» уехал, а Геннадия посадили спиной к столбу у обочины, примкнув его наручниками.

Ждать следующего рейса, понял Геннадий.

Меж тем жара не спала, несмотря на вечер, напротив, становилось все душнее, напоззли тучи и полил дождь. Геннадий сразу же весь вымок. Дзэпээсники и военные продолжали работу, надев полиэтиленовые дождевики. Мимо пробежал майор, тоже в дождевике, остановился, посмотрел на Геннадия, крикнул солдату, тот подошел, отомкнул Геннадия от столба и повел в палатку. Там посадил его на землю и вышел. Спящий по-прежнему крепко спал и даже похрапывал. Снятый ремень лежал возле его головы, на ремне было множество карманчиков, висели наручники и, разглядел Геннадий, ключи.

Геннадий привстал, гусиным шагом, хотя в этом не было необходимости, добрался до входного полога, головой отодвинул его. Дождь лил еще пуще, от нагретой за день земли парило и туманило, у палатки никого не было. Геннадий распрямился, подошел к изголовью раскладушки, присел, нащупал ключи и, стараясь быть максимально тихим, перебирал их. Выбрал самый маленький, долго, очень долго, как ему показалось, нашаривал дырочку замка, и нашарил, вставил ключ, повернул. С негромким щелканьем наручники разомкнулись.

Он кинулся к столу, где на виду лежал пакет с его документами, телефоном и ключами, схватил, выскочил из палатки и сразу же забежал за нее, а потом, сделав большой крюк, пересек автотрассу, издали смутно видя людей и машины, скопившиеся у переезда. Вышел к железной дороге, вдоль которой была лесополоса, пробрался через деревья и вышел прямо к тому месту, где

стояла его машина. Стояла в стороне, одна, будто ждала хозяина.

Геннадий бросился к машине, и вот он уже давит на газ, отъезжает, разворачивается, и тут крики, а потом и выстрелы. Наверное, в воздух, для остротки.

Он гнал, скользя и юзя, по мокрой трассе в обратном направлении, а потом свернул и продолжил путь на юго-восток.

Ехал полевыми дорогами, включив навигатор в телефоне, который, слава богу, работал. В нем все без букв понятно, сам ведет, куда надо.

Один раз увидел в темноте фары едущий навстречу машины. Выключил свои фары, отъехал в поле, переждал. Вернулся, поехал дальше.

Под утро он оказался при въезде в какой-то городок или поселок. Навигатор показывал его, было обозначено и название, но Геннадий не мог его прочесть. Поселок был при реке, а с другой стороны густой лес. Не объедешь. Придется рискнуть, проехать через него. Хорошо, что туман довольно густой. Но оно и опасно – из тумана может неожиданно вынырнуть что-то угрожающее.

Геннадий медленно ехал, поглядывая по сторонам. Вот хилая избушка, но рядом добротный дом, а дальше совсем богатый, два этажа и мансарда, резная жесь на оцинкованной крыше, узоры на ставнях. А вот дом разрушенный, вот еще один, и еще, и еще... Сквозь туман видны горелые черные стены, рваные бреши в них, и от этого жутко, будто попал на войну.

Но ведь война и идет, вспомнил Геннадий, хотя так до сих пор и не уразумел, из-за чего и почему все началось. Догадки какие-то были, но Геннадий не давал им мысленного хода, зная по опыту жизни, что опасения наши часто страшнее реальности. Из-за болей в желудке лет десять назад он, к примеру, возомнил, что у него рак, а оказалась даже не язва, обычный гастрит.

И тут неожиданно возникло, будто родилось из тумана, что-то массивное, громадное, из него что-то торчит. Как что – ствол!

Медленно, крадучись, Геннадий проехал мимо этой громады, и вдруг ствол, качнувшись, плавно повернулся в его сторону. Послышался изнутри чей-то глухой голос. Что-то лязгнуло, голос стал яснее. Он то ли спрашивал, то ли требовал.

Геннадий резко прибавил скорость, помчался, вскоре поселок кончился, Геннадий, не слыша ничего сзади, поехал медленнее, и тут не сзади, а сбоку – лязг гусениц и выстрел, показавшийся Геннадию оглушительным.

Во всю скорость, крутя рулем, скользя то вперед, то боком, несколько раз чуть не перевернувшись, Геннадий мчался почти наугад, а преследователь не отставал. Выстрелил еще три раза, третий раз снаряд разорвался близко, машину сильно качнуло – как лодку качает, когда с берега вступаешь в нее, сравнилось неожиданно, и не только сравнилось, вспышкой вспомнилось, как он с Мариной отдыхал в пансионате на берегу реки Дубны, и как она мило пугалась, входя в шаткую лодку, на которой он захотел ее прокатить...

Геннадию почудилось, что он оглох от страха. Прислушался: нет, не оглох, вокруг пели и чирикали проснувшиеся птицы. А вот гусениц и мощного мотора уже не слышно. Увидев сбоку лес, Геннадий свернул туда. Осторожно проехал среди деревьев поглубже. Остановился. Достал из рюкзака батон, кусок колбасы, бутылку воды, ел быстро и жадно, то и дело замирая и прислушиваясь.

Опустил спинку сиденья, полулег, чтобы отдохнула спина. И неожиданно заснул.

Ему приснился звонок телефона. Геннадий продолжал спать, не веря сну.

Но вдруг открыл глаза и схватил телефон, который и в самом деле звонил.

Это была Марина. Она что-то говорила тревожным и надеющимся голосом. Геннадий успокоительно промычал. Марина заплакала, еще что-то говорила, что-то сообщала. А потом кончила разговор, но тут же послышалось теньканье. Геннадий увидел, что Марина прислала ему чей-то номер телефона. Геннадий нажал на него. Долго играла музыка, он уже хотел отключиться, но тут возник голос, который Геннадий помнит столько, сколько помнит себя, и ни с каким другим не спутает.

– Ма... Ма-ма! – выговорил Геннадий и заплакал от радости: это было первое за долгое время правильно произнесенное слово.

Работа для неграмотного

Больше всего на свет Ицхак Турджеман любил пустыню. Палевый песок, кремовые барханы, желтые горизонты. Он родился, вырос и прожил многие годы в маленьком городке Эрфуд, на краю великой Сахары. В Тафилалетском районе этот оазис был последней остановкой, последним зеленым пятном перед уходом караванов в безграничное море песков.

Евреи жили здесь с незапамятных времен. Когда римские легионы пришли в Марокко, они встретили там процветающие иудейские общины. В семье Турджеманов об этом, разумеется, не знали. Последние триста лет они провели в этом оазисе и водили караваны через пустыню. А что было раньше, никто не помнил.

Конечно, многое написано в книгах, но чтобы ими пользоваться, надо знать грамоту, а на учебу у Турджеманов не хватало ни времени, ни возможностей. Мальчики начинали работать с пятилетнего возраста, а девочки... Про девочек лучше не вспоминать.

В оазисе всем заправлял шейх. Власть его была такой же безграничной, как пески Сахары. Он мог безнаказанно убить любого жителя оазиса, араба или еврея, мог взять себе в наложницы его малолетнюю дочь и, наигравшись, продать в рабство, мог разрубить на куски протестующего отца или брата, а мясо скормить собакам. Только с приходом французов владычеству шейха пришел конец, хотя его влияние на жизнь в Эрфуде по-прежнему оставалось огромным.

Несколько поколений семьи Турджеманов выросли в страхе. Один шейх сменял другого, но все, как один, оставались жестокими, корыстолюбивыми и развратными. Для Ицхака страх был составной частью жизни, он вырос с ним, знал, чего бояться и как уходить от опасности.

По счастью, большую часть своей жизни Ицхак Турджеман, для арабов Ицхак-альехуди, проводил в пустыне, водя караваны по тропам от одного оазиса к другому. Это лишь несведущему человеку Сахара представляется скопищем похожих друг на друга барханов. На самом деле все барханы разные, а через пустыню

проложены дороги, различать которые могут только знающие люди, проводники.

Это знание передавали в семье Турджеманов от отца к сыну. Ицхак ни за какие деньги не показал бы постороннему приметы и знаки, не выдал бы под любыми пытками. Ведь именно они столетиями кормили его род.

Разумеется, львиная доля из того, что платили караванщики, перепала шейху, но и Турджеманам оставалось.

Вместе с французами в Сахару пришли автомобили. Увы, грузовики не шли ни в какое сравнение с верблюдами. Автомобили оказались весьма капризными устройствами, способными поломаться прямо посреди пустыни и в самый неподходящий момент. Кроме того они постоянно требовали дорогостоящего обслуживания и ремонта

То ли дело верблюд! Нет на свете более надежного, неприхотливого и приученного к человеку животного. Часами покачиваясь на его спине, Ицхак мог спокойно молиться и повторять Учение. Да, он не умел ни читать, ни писать, но мужчины его рода с детства заучивали наизусть все молитвы, книгу псалмов и десятки разделов Мишны.

Пять семей в Эрфуде знали наизусть Пятикнижие, каждая семья одну книгу. По субботам и праздникам в доме молитвы выносили на всеобщее обозрение свиток Торы в красивом деревянном футляре, на который женщины так любили привязывать свои платки. Свиток разворачивали, но читали наизусть. Не раз и не два проезжие евреи говорили, что так неправильно, но что можно поделать? Лучше так, чем вообще без Торы.

Ицхак-альехуди привык и к этому, и был уверен, что сыновья пойдут по его стопам. Он уже готовился передать им свои знания, как вдруг, несмотря на бешеное сопротивление шейха, французы открыли школу. Мальчики стали ходить на уроки, в доме появились книги, много разных книг. Заставить детей учить наизусть то, что они могли с легкостью прочитать, стало невозможным.

В 1962 году король Марокко разрешил евреям, которые того пожелают, переехать в Израиль. Жена и дети Ицхака заволновались: неужели все родственники уедут, а они так и останутся коротать свой век в городке на краю пустыни.

– Ну, куда, куда я поеду? – пытался их урезонить Ицхак. – На Святой Земле живут образованные ашкеназы из Европы: врачи, инженеры, музыканты. Что там делать человеку, не умеющему даже поставить свою подпись?

– Поезжай в Мидельт, к хахаму Меиру, попроси совета, – решила жена. – Как он скажет, так и поступим.

О-о-о, хахам Меир Абухацира, сын легендарного Баба Сали, был раввином всего Тафилатетского района и жил в Мидельте, в трехстах километрах от Эрфуда. Евреи Марокко приписывали ему такую чудотворную силу, какой обладали его знаменитые отец, дед и прадед. Настоящий праведник, хахам Меир всегда отрицал приписываемые ему необычные способности, но рассказы о свершенных им чудесах передавались по Марокко из уст в уши.

Стены и забор во дворе раввина были выкрашены голубой краской. Ведь голубой – это цвет неба, а на небе нет чертей. Ицхак просидел в очереди несколько часов и успел хорошенько рассмотреть каждую трещинку каменной кладки.

Оказавшись напротив раввина, Ицхак почувствовал, будто внутри лопнула заградительная перегородка, и все, что мучило его последние годы, вдруг полилось потоком взбудораженных слов. Сможет ли он достойно обеспечить семью, что станет с мальчиками, они уже и здесь не очень послушные из-за школы, как выдержит жена перемену обстановки, ведь их уклад жизни не менялся уже сотни лет, и весь этот уклад держался на женщине, а в Израиле, он, несомненно, переменится, и где поселиться на Святой земле, и куда отдавать детей учиться, и не пора идти учиться самому, и может быть лучше всего ничего не менять, остаться в Эрфуде, как деды и прадеды?

Выслушав сбивчивую речь Турджемана, хахам Меир немного помолчал, словно к чему-то прислушиваясь, а потом спросил:

– Так, в чем, собственно вопрос?

Теперь уже Ицхак замолк на минуту, соображая как двумя словами сказать то многое, что переполняло его грудь, и что он только что пытался высказать.

– Я не умею ни читать, ни писать, – наконец вымолвил он.
– Смогу ли я найти работу?

– Всевышний надзирает за человеком персонально, – ответил хахам Меир. – То, что хорошо для одного, не обязательно хорошо для другого. У каждого свой путь и свои обстоятельства. Если ты дожил до солидных лет без грамотности, значит, Всевышний ведет тебя по такому пути. Рассматривай то, что ты не умеешь читать, не как недостаток, а как преимущество. Какое – я не знаю, но

уверен, что с работой на Святой Земле у тебя все образуется наилучшим образом.

До Эрфуда Ицхак добирался на автобусе. И хоть старая машина скрипела на каждом повороте и с трудом ползла через пески, душа Турджемана то взмывала высоко под облака, то устремлялась еще выше, к самому солнцу. Скоро, скоро он окажется на Святой Земле! Десятки поколений его предков мечтали об этом, молились каждый день, просили Бога удостоить если не их самих, то хотя бы потомков, и вот на нем эти молитвы и просьбы сбываются! Как не петь, как не ликовать!

Собрались быстро. Впрочем, собирать было нечего. За сотни лет под властью шейхов род Турджеманов не сумел накопить никакого имущества. Выжили, и на том спасибо Всевышнему.

На Святой Земле чиновники послали семейство Ицхака в Хайфу, в район для новоприбывших. Даже по сравнению с Эрфудом это были трущобы. Но школа в трущобах оказалась хорошей, и преподавали в ней на святом языке, и все вокруг говорили на этом же языке, и сыновья Ицхака сразу нашли себе друзей и целые дни проводили вместе с ними, о чем в Эрфуде еврей-мальчишки могли только мечтать.

Действительность столь непозволительно не совпадала с представлениями Ицхака о жизни на Святой Земле, что несколько дней он провел в ошеломляющем недоумении. Жена его очнулась быстрее, и расторможенный ее мощной дланью, Ицхак пустился на поиски работы.

Она нашлась быстро. Строительной компании «Солел Боне» требовались рабочие. Ицхак шел на интервью с тяжелым сердцем. Если ему предложат объяснить чертеж, или подписать контракт, тут же выяснится, что он не умеет ни читать, ни писать.

Не предложили. Приемную комиссию интересовали только физические данные кандидатов, а для своих тридцати восьми Ицхак выглядел совсем неплохо. После короткого собеседования его приняли.

Работа, оказалась простой, но тяжелой. Копать траншеи, таскать кирпичи, месить раствор, затаскивать на этажи блоки для каменщиков. Ицхак очень старался, урабатываясь до черноты перед глазами, до головокружения. Домой он добирался выжатый до последней капли, как тряпка с водой в середине пустыни.

Жена охала, причитала и старалась накормить самым вкусным, что было в доме.

Его старания заметили. В конце месяца прораб вызвал Ицхака в свою конторку, наговорил много хороших слов, и пообещал, если так пойдет дальше, через полгода увеличить жалованье.

Жалованье подняли через три месяца. Спустя год семейство Турджеманов перебралось из района новоприбывших в хорошую квартиру в верхней Хайфе. Сыновья поначалу жаловались на разлуку с приятелями, но быстро утешились. Жизнь стала налаживаться, вольная, сытая жизнь, совсем не похожая на прозябание в Эрфуде.

Недоволен был только один человек – Ицхак. Чтобы обеспечить сытую и вольную жизнь своей семье, он работал на стройке от зари до зари, делая по сто сверхурочных часов в месяц. Дома он только ночевал. Перед сном Ицхак часто вспоминал свою любимую пустыню – палевый песок, кремовые барханы, желтые горизонты – и с горечью осознал, что под властью шейха был куда более свободным человеком, чем сейчас. Его жизнь на Святой Земле превратилась в настоящее рабство, тяжелое, изнуряющее рабство, без всякого просвета впереди.

Хахам Меир кругом оказался прав: работа нашлась, грамота не понадобилась, семья обеспечена. Но знай Ицхак, что его ждет, как вывернутся обстоятельства, он бы ни на шаг не двинулся из оазиса.

Поначалу он еще сердился на хахама Меира, почему тот не предупредил, не объяснил, что его ждет на самом деле. Но потом и ребе, и оазис, и вся прошлая жизнь потускнели и отодвинулись на край сознания. Все заполонила усталость и постоянное желание прикрыть веки и заснуть на несколько часов.

Человек склонен предполагать, будто то состояние, в котором он сейчас пребывает, продолжится вечно: он всегда будет молодым, здоровым, женатым на любимой женщине, хорошо зарабатывающим. Увы, крутые повороты в жизни часто происходят без предупреждения и подготовки, одним ударом весла. Раз – и человек уже в совсем другой реальности.

Панель, сорвавшаяся с крана, разможила Ицхаку ступню. Ногу умелые израильские врачи залатали, и внешне она выглядела без изменений, но ходить теперь он мог только опираясь на трость. Ни о какой стройке речь уже не шла.

Начальство «Солел Боне» сразу после выздоровления стало предлагать ему разные «бумажные» должности в конторе. Разумеется, от всех этих щедрых предложений Ицхаку пришлось отказаться.

– Мне нужна работа на свежем воздухе, – повторял он. – Я не могу сидеть в закрытом помещении.

В конце концов, недоумевающее начальство оставило свои попытки компенсировать причиненный ущерб, Турджеману написали хвалебную характеристику, оформили инвалидность, и уволили.

На пенсию жить было невозможно, и через несколько недель он отправился на биржу труда. Просмотрев справки, прочитав характеристику, и выслушав пожелания о работе на свежем воздухе, сметливая чиновница принялась осторожно расспрашивать Ицхака. Дело свое она знала, и спустя десять минут купившийся на хвалебные речи Ицхак, сам того не заметив, выложил свой секрет. По заблестевшим глазам чиновницы он понял, что сболтнул лишнее, сообразил, что и от досады чуть не прикусил себе язык. Но было уже поздно.

– Значит, насколько я поняла, вы не умеете ни читать, ни писать? – переспросила чиновница.

– Да, – подтвердил Ицхак, с горечью понимая, что его шансы получить мало-мальски достойную работу упали ниже кафельных плиток пола.

– Возвращайтесь домой, – сказала чиновница, закрывая серую папку с написанным на обложке его именем. И тщательно завязывая тесемки, добавила:

– Я попробую подыскать для вас что-нибудь подходящее.

– Подходящее, – чуть не плакал от злости на самого себя Ицхак, ковыляя домой. – Подыскать... ах, какой же ты дурак, простофиля, олух, болван!

Желая себя наказать, он не сел на автобус, а потащился пешком. Арабские проклятия сыпались из Турджемана, как песок из дырявого мешка, но он ничего не замечал, полностью погруженный в свои чувства.

Жена собиралась на работу. Она уже полтора года стряпала в дешевой обжорке возле порта, ее блюда пользовались успехом, и хозяин, видя, как выстраивается очередь за харайме, рыбой под острым томатным соусом, или за хумусом, постоянно прибавлял ей зарплату. Понемногу, но прибавлял.

– Перестань себя грызть, возьми лучше куриную ножку, только что приготовила, – сказала жена, выслушав рассказ

Ицхака. – Благодаря тебе мы встали на ноги. Моей зарплаты и твоей пенсии хватит, чтобы прожить. Не хочешь ножку, возьми крылышко.

Но щедрость и великодушие жены не утешали Ицхака. Он погрузился в черную меланхолию и пребывал в ней целых два дня, пока не получил приглашение из очень-очень серьезного государственного учреждения.

Ицхака вызывали к десяти часам утра следующего дня на собеседование по поводу работы. По всему выходило, что чиновница не обманула, а вот он грыз и наказывал себя понапрасну.

На месте он был задолго до назначенного срока. Учреждение занимало многоэтажное здание, вход был только по пропускам, и охранники в форме выглядели более чем внушительно. Ицхак подождал немного, то и дело спрашивая время у прохожих, и вошел. У него попросили удостоверение личности, проверили и сразу пропустили. За турникетом его уже ждал чиновник – молодой парень в строгом костюме с галстуком.

– Хорошо, что вы не опаздываете, – сказал он. – Пунктуальность и точность – главные составляющие вашей будущей деятельности.

Он думал, что этими словами обрадует Ицхака, но у того от них сердце в пятки ушло. Аккуратность и точность нужны при канцелярской работе, это даже верблюду понятно. Что-то напутала дамочка с биржи труда, отправила приглашение не по тому адресу.

Чиновник завел его в комнату с уютным диваном и столиком, на котором горкой лежали газеты и журналы, стояли графин с водой и стакан.

– Придется немного подождать, – предупредил чиновник. – Тот, кто должен провести собеседование, задерживается. Располагайтесь, газеты утренние, журналы самые свежие, они помогут вам скоротать время. Туалет находится за этой дверью, – он указал на дверь в углу комнаты. – Прошу прощения, но вход я обязан запереть. Если вам что-нибудь понадобится, нажмите на кнопку вызова, вот здесь.

Ицхак уселся на диван и принялся ждать. Прямо перед ним висели большие настенные часы, но он не умел ими пользоваться. Хвала Всевышнему, через небольшое окно виднелось небо, и по нему можно было определить, сколько времени прошло.

А времени прошло много, очень много. От нечего делать, он пару раз он брал в руки газету, вертел ее верх и вниз и

откладывал в сторону. Много думал о хахаме Меире и его предсказании. Неужели раввин имел в виду прошедшие два года? Только их и больше ничего? Он ведь сказал: уверен, что с работой на Святой Земле у тебя все образуется наилучшим образом. Ну, и где? Разве пенсию по инвалидности можно назвать работой? И вообще, насколько можно полагаться на слова хахама Меира?

– От таких вопросов прямая дорога к сомнениям в вере и, не приведи Господь, к отступничеству, – оборвал сам себя Ицхак. Устроившись удобнее на диване, он представил, будто сидит на спине верблюда. Мерно покачиваясь, тот шел по барханам, Ицхак смежил веки и сразу оказался в своей любимой пустыне. Выученные в детстве слова Святого Писания зашевелились под языком, еще бы, ведь за свою жизнь он повторил их тысячи, нет, десятки тысяч раз.

Когда спустя четыре часа чиновник вошел в комнату, он застал Турджемана сидящим на диване с закрытыми глазами. Губы его шевелились, а тело мерно раскачивалось, словно у идущего по барханам верблюда.

Очнувшись, Ицхак первым делом поглядел на небо и удивленно распахнул глаза. Чиновник улыбнулся.

– Я понимаю, вы пребываете в полном недоумении: прошла половина рабочего дня, а проверяющий все еще не явился. Хочу вас сразу успокоить, вы успешно выдержали проверку и приняты на работу.

– Вы что-то путаете! – вскричал Ицхак. – Я не проходил никакой проверки и даже не знаю, о какой работе идет речь!

– Сейчас все объясню, – снова улыбнулся чиновник и сел на диван рядом с Турджеманом. – Наша организация занимается разработкой новых видов вооружений. Все это огромное здание битком набито исследовательскими установками и лабораториями. В конце каждого дня результаты опытов и проверок заносятся в специальные журналы, а черновики уничтожаются. Мы долго искали человека, который собирая и сжигая черновики, не смог бы понять, о чем идет речь. И вот, наконец нашли.

Что же касается проверки... Все эти полдня за вами внимательно наблюдали. Мы проверяли, действительно ли вы не умеете читать. Для этого вам подложили газеты и журналы и надолго оставили одного. Любой грамотный человек от скуки стал бы их просматривать. Даже вы не удержались и взяли в руки газету, но – снова улыбнулся чиновник, – вы держали ее вверх ногами. Вы нам подходите,

господин Турджеман, ждем вас на службе прямо с завтрашнего дня.

Ицхак проработал до восьмидесяти двух лет, пока носили ноги. Несколько раз собирался на пенсию, и каждый раз его упрашивали остаться. Ведь отыскать в Израиле неграмотного человека задача практически неосуществимая. Поэтому жалование столь ценному работнику платили очень достойное.

Долгие-долгие годы за каждой субботней трапезой Ицхак Турджеман наливал стопку арака и поднимал ее за здоровье и благополучие хахама Меира Абухацира.

Публикации Архива русско-израильской литературы
Бар-Иланского университета

Михаил Юдсон

«Остатки»

Составление Романа Кацмана

Мы продолжаем публикацию фрагментов, сохранившихся в архиве Михаила Исааковича Юдсона (1956-2019) в конверте под названием «Остатки». Предыдущие публикации см. начиная с №14.

*

Мой друг философ, физик профессор Эдуард Бормашенко говорит, что, увы, чтение не нужно современным детям — есть компьютер, живые картинки, да и самому при желании можно вживую побывать в любой точке мира — от Непала до Иваново. Книга как иномирье, как сказка — уходит. Остается книга-размышление, требующая особых усилий и устройства мозгов.

*

О, парк гиюрского периода! За стеной соседи проходят гиюр, слышны вопли проверяющих: «Опа, попался, гад мясо-молочный!».

-

А сидеть бы, как в «Пригоршне праха» Ивлина Во, где-нибудь в дебрях Амазонки и читать бесконечно вслух Диккенса слепому вождю племени.

-

«Заатмосферные полёты», как выражался Циолковский.

*

Вереи — столбы, на которых крепятся ворота. Евреи — вереи истории.

-

В старославянских рукописях «Богъ» сокращённо писался — Бъ.

-

Масличный жом на артельных началах в Самарии.

*

«Письма» (с Э. Бормашенко)
Сюжет. Что было бы, если...

Гитлера примерно в 18 году спасает (физически и денежно) еврей, он продолжает быть ярким националистом, но без «еврейского вопроса». Он приходит к власти. Его философия — это смесь иудаизма и германской мистики (он изучает Каббалу, она смешивается с Валгаллой). Тем временем Сталин всех евреев отправляет в лагеря, на Ямал, на Колыму, где они истребляются. Эйнштейн остается, они с Ферми и с немцами создают атомную бомбу. Гитлер начинает войну, спасая евреев, побеждает, Новгородский процесс (вешают Молотова, Ворошилова, Сталин кончает самоубийством, принимая яд). Всё это — фантазмагория, переписка двух психов из сумасшедшего дома («Записки сумасшедшего» Гоголя и т. д.). Они — два еврея, якобы один — религиозный физик из Германии, другой — светский литературовед из Москвы. Начинается так, как будто они давно уже переписываются. Письма иногда не доходят, переписка обрывочна.

-

Как там варвара этого, Вагнера — ставят? Шум-гам-медь, дикарские вопли...

-

Сталин ввел православие в середине 30-х и евреев, «врагов Христовых» выслали на Ямал.

-

Антисемитизм Шикляне был биологическим — это был путь к власти, а дальше он стал заложником идеи, навязанного образца, «человек играющий с огнем». А властнообразующая идея изначально могла быть иной.

-

РАПП процветает. Шутят, что Яшке Блюмкину надо было кинуть бомбу не в Мирбаха, а в Авербаха...

-

«Краткий курс» — «Крестный курс»...

Летоисчисление — с года его рождения, 1879... От Р. С... Имя его нельзя писать и т. д. А фюрер, наоборот — Шики, Шикль, Адик, Грубер...

-

«Большой стиль» (БС). Э. Б. [Эдуард Бормашенко]
«Величаявая эстетика БС и лохматая эстетика свободы. БС — гарант осмысленной жизни, на самом деле куда более необходимой человеку, чем свобода».

-

Как воспарят к звездам, сизым орлом под Магеллановы Облака!..

-
Патриарх научной фантастики Павел Амнуэль получил «Аэлиту»¹. Серьезного писателя заметили — фантастика! О, боги Марса! «Марсиане» Уэллса-антисемита: тёмная маслянистая кожа, жирные лоснящиеся туши с огромными пристальными глазами — ишь, кровососы, вылезли из цилиндра Дизраэли!

-
Фантастика. Принцип: текст по цвету должен быть «Сер и Ал», то есть сер — достаточно примитивен для легкости усвояемости. И ал — кровь, любовь, морковь (каротин, «полезность» картинок, короче, ваще).

-
Мускулисто-доспешный Арес и Венера в мехах возникают из мыльной пены.

-
Нехитрый секрет книжного сериала — бей-любви! Всё остальное, больно умное — гоненью и опале!

-
«Время учеников»² отличается языком (его отсутствием — за редким исключением). И всё сразу вянет, исчезает — пропадает звук, цвет, объемность, остается вырезанье человечков из бумаги, ну, как апофеоз, наклеивание на картон.

-
Эх, фэнтези! Неизбывное мое расчёсывание зудящих язв! Филиппики, дики — где вы, где вы?..

-
Амнуэль! Паша из Скитополиса (Бейт-Шеана)³.

¹ Павел (Песах) Амнуэль, репатрировавшийся в Израиль в 1990 году, получил премию «Аэлита» «за вклад в фантастику» в 2012 году.

² «Время учеников» — литературный межавторский проект, задуманный редактором Андреем Чертковым в 1991 году; состоит из фантастических рассказов и повестей, написанных различными авторами в развитие тем, идей и сюжетов произведений братьев Стругацких. Три мемориальные антологии проекта были выпущены в 1996, 1998 и 2000 годах издательствами «АСТ» (Москва) и «Terra Fantastica» (Санкт-Петербург) в рамках издававшейся ими совместно книжной серии «Миры братьев Стругацких» (Википедия).

³ Греческое название израильского города Бейт-Шеан — Скифополис.

Рыбалка¹ живет в Городе Ангелов, но не в Лос-Анжелесе, а в Кирьят-Малахи².

-

А бесчисленные англо-угро-славянские фэнтези — тучные стада цветастых книжек, которые я могу читать только на стульчаке в туалете, будучи загнанным туда судьбой — запорнографическая литература... За пределом добра и зла, и правил правописания.

-

Нам нуль-транспортировка Амнуэля вполне по душе...

-

Море разливанное (по колено!) устаканилось, наконец, вошло в кисельные берега.

-

Название (для интернета) — «Яйцо вечности». Это не конец, но яйцо вечности, «капсула» Азимова...

-

Ох, ходульные котурны авторов-фэнтезиастов! Картонный задник, фанерные герои!..

-

Прав был Честертон: мы живем на развалинах былых цивилизаций, чего ж мы за свою-то так уверены?..

-

Принцип фэнтези: Хучь и холодны мечи, да принцессы горячи! И чистая (пустая) голова!

-

Советская фантастика сызмальства была могуча. Как забыть мужественного Павлика из «Тайны двух океанов» — бичо-мачо! Или неугомонный Марат Бронштейн (кличка Троцкого) оттуда же, или вдумчивый Мотя Гинзбург из Беляевского «Чудесного ока»!

-

Мы все — я и мои друзья — выросли на этих книгах: Стругацкие, Гор, Варшавский, Биленкин, Альтов (фамилии-то сплошь кошерные!). Эх, было время, жили люди!

Научная фантастика — Н.Ф. — инициалы Николая Федорова. Философия «Общего дела». От неё, именно

¹ Александр Рыбалка (1966-2022) — писатель-фантаст, соавтор Павла Амнуэля, журналист, историк, репатрировавшийся в Израиль в 1993 году.

² Город на юге Израиля Кирьят-Малахи назван в честь Лос-Анжелеса, еврейская община которого пожертвовала значительную сумму на строительство города.

научной, остался один талантливый человек — израильянин Павел (Песах) Амнуэль. Последний из!.. Всё рухнуло к ле-Шему! Фэнтези, конфетные фантики литературы — заполонили книжное пространство, читательский охлос. Весь смак, сок, смысл — ушли в песок. Высшая каста — издатели — с отвращением и брезгливостью выпускают «книжки-копейки» (как говаривал Иван Сытин).

ИЗРАИЛЬСКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТЕ СЕГОДНЯ

Этгар Керет

О дядьях и о чертях

По понедельникам приезжает дядя Миха и играет со мной в видеоигры, а если у нас что-нибудь ломается в электрическом бойлере, или компьютере, или миксере, то дядя Миха всегда чинит. Папа говорит о дяде Михе, что у него доброе сердце и золотые руки, а мама считает, что он неудачник, и что если в его возрасте человек не достиг хотя бы чего-нибудь, то, вероятнее всего, уже и не достигнет.

В четверг нас забегает навестить тётя Халина. Она никогда не улыбается, а когда приходит, то они с мамой всегда сидят на кухне и разговаривают на каком-то странном языке, который понятен только им. Мама наливает себе чашку чая с лимоном, а тётю Халине - только стакан кипяченой воды, потому что её организм плохо реагирует почти на всё. Мама говорит, что тётя Халина обижена судьбой, и что эта женщина испытала в жизни такое, чего никому не пожелаешь. Папа говорит, что от неё пахнет крокодиллом, который не мылся неделю, и что тётя Халина сама виновата во всём, что с ней произошло.

Утром в пятницу приходит дядя Эстебан и приносит мне конфеты-жвачки. Папа рассказал мне, что дядя Эстебан приехал в Израиль недавно и, пока всё не устроится, он будет здесь, а тётя Паула и их дети останутся в Аргентине. А поскольку он действительно хороший дядя, то мне не следует каждый раз вспоминать, когда дядя Эстебан в очередной раз рассказывает одну и ту же шутку и при этом треплет меня за щеку, так как все эти шуточки и пощипывания очень помогают дяде Эстебану не чувствовать себя одиноким.

В субботу мы всегда едем навестить дядю Зева. Он никогда не приезжает к нам, потому что наш дом маленький и без плавательного бассейна. Мама говорит, что дядя Зев дьявольски умён и всё, к чему он прикасается, превращается в золото. Она говорит, что он так же силён в бизнесе, как наш папа в умении поесть и поспать. И

поэтому папа работает на дядю Зеева, а не наоборот. Папа ничего не говорит про дядю Зеева, он даже не называет его "дядя Зеев", а исключительно "мамин брат", да и то лишь тогда, когда вынужден это делать.

Из окна гостиной дяди Зеева можно видеть море, а из окна кухни - говниловку, место, куда свозят мусор со всей страны. У входа в дядин дом стоит маленький человечек и спрашивает, к кому мы пришли, а потом сверяется по телефону. Чтобы попасть в квартиру к дяде Зееву, нужно долго ехать на лифте, а потом, уже внутри, есть ещё один маленький лифт, - поскольку в квартире много комнат, её сделали двухэтажной.

Из всех моих дядьев дядя Зеев единственный, кто пожимает мне руку и спрашивает об отметках в школе, и только он говорит, что, если мы не доедим всё, что на тарелках, не получим десерта. Лишь когда мы идём к дяде Зееву, мама настаивает, чтобы я надел брюки, а не шорты, даже летом. Он очень хорошо играет в шахматы и шашки, и ему всегда нравится играть со мной и с папой - и побеждать. Он также любит рассказывать истории про всякие страны, где ему довелось побывать, и о разных зверях, которых он поубивал. Маму эти рассказы всегда приводят в восторг, отцу становится немного грустно, а мне бывает одновременно и весело и грустно, так как эти рассказы дяди Зеева и вправду забавные, но мне не очень нравится, когда убивают животных.

В ту субботу мама одела меня красивее, чем обычно, и попросила, чтобы я вел себя особенно хорошо, поскольку сегодня у дяди Зеева день рождения, а папа купил дяде Зееву от всех нас подарок - шахматы из слоновой кости. Я подумал, что это замечательный подарок, но мама нашла его убогим.

У входа в здание, где стоял русский коротышка, мы встретили всех наших дядей и ещё нескольких людей, кого я не знал. Все были принаряжены и держали в руках подарки. Дядя Миха принес почти новый волшебный фонарь, который починил своими руками. Тётя Халина - вышитый ею гобелен с изображением лица плачущей женщины. Дядя Эстебан принес старую и редкую пластинку какого-то певца, тот пел на таинственном языке, на котором говорят только мама и тётя Халина.

Дядя Зеев был очень-очень растроган. Мало того, что он пожал нам руки, он ещё расцеловал каждого в обе щеки и усадил нас в гостиной за длинным столом с золотыми

приборами. Мне достался специальный стул как раз рядом с дядей Зеевом, мама сидела по другую руку от него, а папа - далеко-далеко на другом конце стола. Еда была вкусная, и я съел всё, что было на тарелке, поскольку видел огромный торт, предназначенный на десерт. Торт из шоколада и золота, на котором был рисунок из сливок и крема, изображающий дядю Зеева, который борется с единорогом.

Однако в середине ужина, как раз между супом и запеканкой, случилось неожиданное: я вдруг услышал голос из своего живота. Такой глухой голос, который мог слышать только я один. И голос произнес: "Мамочки, я заточен! Пожалуйста, пожалуйста, дайте мне выйти!" Я тихо-тихо спросил у голоса, кто он такой, поскольку маме очень не нравится, когда я начинаю странно вести себя на людях. И голос ответил, что он волшебник, и что его захватили в плен пираты с корабля, а старая злая колдунья наложила на него заклятие и заточила в моем в животе на веки вечные...

- Дай мне выйти, я умоляю. Я знаю, ты мальчик с добрым сердцем. Я ведь у тебя в животе и могу видеть твоё сердце.

Я сказал голосу, что очень-очень хочу помочь ему, но как раз сейчас нахожусь на важном-преважном семейном торжестве, так что ему придется подождать, пока оно не кончится.

- Ты не понимаешь, - рыдал голос, – пока что заклятие временное, но, если ты не освободишь меня немедленно, оно станет вечным, и я навсегда останусь заточённым в твоём животе. Пожалуйста, ты должен освободить меня прямо сейчас.

Когда он увидел, что я заколебался, то поклялся:

- Если освободишь меня сейчас, то взамен я выполню любое твоё желание, чего бы ты ни захотел.

- Я хочу, - сказал я, – чтобы дядя Миха достиг чего-нибудь в жизни, и чтобы организм тёти Халины хорошо реагировал на чай и на многие другие вещи, и чтобы семья дяди Эстебана приехала в Израиль, и он бы не чувствовал себя одиноким, и этот русский, который работает в здании дяди Зеева, перестал быть карликом и стал важным-преважным человеком, и я хочу, чтобы дядя Зеев работал у моего папы, а не наоборот.

- Я согласен, – простонал голос в моем животе, – хотя ты попросил гораздо больше, чем одно желание, однако в моём положении не приходится торговаться.

- А, вот ещё, – добавил я еще одно, последнее условие, – когда я освобожу тебя, я хочу, чтобы ты вышел тихо-тихо и исчез себе, не привлекая внимания.

- Хорошо, – нетерпеливо отозвался голос, – только дай, наконец, выйти.

Дядя Зев был как раз в середине рассказа о том, как он охотился на белого кита в Австралии, когда я выпустил голос. Однако вместо того, чтобы выйти тихо, он вырвался с оглушающим звуком, словно одновременно раздался особенно сильный раскат грома, как бывает у нас зимой, и прозвучал трубный гудок огромного парохода в открытом море. И в этот самый момент я понял, что это был совсем не голос заточенного волшебника, а голос чёрта – хитрого и злого. Дядя Зев оборвал свой рассказ про китов на самом напряженном месте, замолчал и уставился на меня.

...Похоже, что на моих губах все ещё блуждала произвольная улыбка от осуществления всех задуманных желаний, и это ещё больше сердило маму. Всю обратную дорогу домой в автомобиле она только и делала, что укоризненно смотрела на меня в зеркало заднего вида. Я рассказал ей и папе о голосе и о том, что выпустил его только ради того, чтобы помочь папе и всем нашим дядюшкам, но думаю, что они оба не поверили мне. Папа сказал, что не важно, из-за чего это произошло, это, в конце концов, не самое страшное, и потрепал меня по волосам, как он обычно делает, когда чем-то по-настоящему доволен. Мама же взглянула на него сердито и сказала, что она наоборот, чувствует себя почти убитой.

Поздно ночью, совсем перед тем, как мне заснуть, меня вдруг пронзила такая грустная мысль, что я едва сдержал слёзы, - что если голос соврал, и вообще это был не волшебник, попавший в трудное положение, а чёрт, тогда, значит, не исполнятся и все мои желания? С другой стороны, думал я, даже если клятву приносят черти-лгуны, они всё равно обязаны её исполнить, так что перед тем, как плакать, я уж лучше подожду и посмотрю, что произойдёт.

И действительно, в четверг, когда пришла тётя Халина, я дождался, пока мама пойдёт отвечать на телефонный звонок, и предложил тёте пирожное, хотя сахар ей вреден. Тётя Халина взяла у меня пирожное и, даже не сказав "спасибо", просто откусила от него, и её организм воспринял это пирожное настолько хорошо, что на тётином лице вдруг засияла улыбка.

Метаморфозы

Был ли я удивлён? Конечно, был удивлён...

Ты начинаешь с девушкой - первое свидание, второе, то ресторан, то кино, но всегда только днём. Ну, доходит дело до постели: секс – супер, потом приходит и чувство. И вдруг однажды она приходит к тебе, плачущая, ты обнимаешь её и говоришь, чтобы она успокоилась, что всё в порядке, а она говорит, что больше так не может, что у неё есть тайна, не просто тайна, а нечто тёмное, проклятие, нечто, что она всё это время хотела тебе открыть, но ей не хватало духа. И это давит на неё, словно две тонны кирпичей. И она должна рассказать, обязательно должна, но точно знает: в тот момент, когда она откроется, ты бросишь её и правильно сделаешь. И сразу опять начинает плакать.

- Да не брошу я тебя, - говоришь ты, - не брошу, я люблю тебя.

Ты, вероятно, выглядишь немного взволнованным, но на самом деле - нет, а если и так, то это из-за её слез, а не из-за тайны. Опыт уже научил тебя, что эти женские тайны, от которых они каждый раз почти готовы умереть, в большинстве случаев оказываются чем-то вроде секса с животным или с родственником, или с кем-то, кто заплатил за это деньги.

- Я – шлюха, - говорят они обычно в конце, а ты обнимаешь и говоришь: «Да нет, никакая ты не шлюха», или: «Тихо-тихо», если она продолжает плакать.

- Но это действительно нечто ужасное, - настаивает она, словно почувствовав эту твою снисходительность, которую ты так пытался не показать.

- Тебе это кажется ужасным, пока держишь в себе, - говоришь ты ей. – Однако, как только выпустишь наружу, это сразу будет казаться гораздо менее серьёзным.

И она почти верит, секунду-другую колеблется и спрашивает:

- Если бы я сказала тебе, что по ночам превращаюсь в низкорослого волосатого мужчину, с короткой шеей и золотым кольцом на безымянном пальце, ты и тогда бы продолжал любить меня?

И ты, конечно, отвечаешь ей утвердительно. А что же ещё сказать, - что не будешь любить? Она всего лишь пытается проверить, любишь ли ты её безоговорочно, а ты ведь

всегда был силён на экзаменах. И действительно, как только ты говоришь ей это, она затихает, и вы занимаетесь любовью прямо в гостиной. А потом вы лежите, обнявшись, и она плачет, потому что ей полегчало, и ты тоже плачешь, поди знай почему.

Она остается ночевать у тебя, а не как обычно, поднимается и уходит. Ты лежишь, не засыпая, смотришь на её красивое тело, на садящееся за окном солнце, на неожиданно появившийся, словно из ниоткуда, месяц, на льющийся на её тело серебряный свет, ласкающий пушок на ее спине. А по прошествии менее пяти минут ты вдруг обнаруживаешь рядом с собой в постели... низенького полного мужчину. Он встаёт, улыбается тебе, немного смущенно одевается, выходит из комнаты, ты – за ним, загипнотизированный. А он уже в гостиной, нажимает своими полноватыми пальцами на кнопки пульта, смотрит спортивный канал. Футбол, лига чемпионов. Когда нападающий мажет, он чертыхается, когда забивают гол – встаёт и делает волну, как на стадионе.

После окончания матча он говорит тебе, как у него пересохло в горле и как пусто у него в животе. Он бы съел лошадь, можно и цыплёнка, но и телёнок устроил бы его. И ты садишься с ним в автомобиль и едешь в какой-то ресторан в Азоре, который он знает.

Это новое состояние беспокоит тебя, очень беспокоит тебя, но ты точно не знаешь, что делать, твоя воля парализована. Рука автоматически переключает передачи, когда вы съезжаете на Аялон, ты словно робот, а он, сидя рядом с тобой, постукивает золотым кольцом на безымянном пальце, а на светофоре возле перекрестка Бейт-Дагон он опускает стекло, подмигивает тебе и кричит какой-то девушке в форме, которая пытается остановить попутку:

- Милашка, хочешь, мы загрузим тебя сзади, как козочку?

Позже, в Азоре, ты объедаешься с ним мясом, пока живот чуть не лопается, а он наслаждается каждым кусочком, смеётся, как ребёнок. И всё это время ты говоришь себе, что это только сон – странный, верно, но ты вот-вот проснёшься. По дороге назад ты спрашиваешь его, где он хочет выйти, а он делает вид, что не слышит, но выглядит очень огорченным, так что, в конце концов, ты оказываешься с ним у себя дома. Время уже почти три часа ночи. «Теперь я иду спать», - говоришь ты ему, и он

приветственно машет тебе рукой с пуфика и продолжает смотреть канал моды.

Утром ты просыпаешься, разбитый, немного болит живот. Она еще в гостиной, спит. Пока ты принимаешь душ, она встает. Она обнимает тебя, чувствуя свою вину, а ты слишком растерян, чтобы что-то сказать.

Время идёт, но вы всё ещё вместе. Секс становится всё только лучше и лучше. Она уже не молода, да и ты тоже, и вдруг ты ловишь себя на том, что начинаешь заговаривать о ребёнке. А ночь ты проводишь с толстяком так хорошо, как не проводил никогда. Он водит тебя по ресторанам и клубам, названия которых ты раньше даже не слышал. Вы танцуете на столах и бьёте посуду, словно сегодня – последний день света. Он очень классный, толстяк, хотя немного грубоват, особенно с женщинами. Иногда он отпускает такие шуточки, что ты не знаешь, куда спрятать лицо, но во всём остальном быть с ним – одно удовольствие. Когда вы только познакомились, ты не особенно интересовался футболом, но теперь уже знаешь все команды. Каждый раз, когда клуб, за который вы болеете, выигрывает, - у тебя чувство, словно ты загадал желание, и оно осуществилось. А это ощущение бывает очень редко, особенно у такого человека, как ты, который большую часть времени вообще не знает, чего он хочет. Ну вот, каждую ночь ты засыпаешь подле него, усталый, перед телевизором, передающим игры чемпионата Аргентины, а утром снова просыпаешься рядом с красивой, понимающей женщиной, которую ты тоже любишь до боли.

Overqualified

(Рассказ из сборника «Совершенно обычная девочка». Тель-Авив, 2014)

Чтобы найти работу, Богу потребовался год. Во всех компаниях по трудоустройству ему говорили, что у него слишком высокая квалификация для должности сотрудника отдела по работе с клиентами.

- Из вашего послужного списка видно, что вы длительное время руководили огромной фирмой, почему же сейчас вы хотите работать на такой незначительной должности? - раз за разом спрашивали его на собеседовании.

- Мне важно начать с самого низу, испытать, как это. Я никогда не начинал снизу, - искренне отвечал Бог.

Однако ничего не помогало, и везде он получал один и тот же ответ.

Тогда он попытался изменить кое-что в своём послужном списке: в графе «Владение иностранными языками» он исправил «все» на «иврит и английский», а в пункте «Предшествующий опыт» изменил «генеральный управляющий» на «администратор». В пункте «Образование» написал «двенадцать лет учёбы», а имя изменил на Хаим Шехтер. Дело в том, что существовала граница, до которой Бог мог отклоняться от истины, и он уже приблизился к ней, однако просто чувствовал, что у него нет другого выбора.

После одиннадцати месяцев и двадцати дней поисков одна достойная женщина в отделе кадров крупного банка сообщила, что готова дать ему шанс попробовать: «Приходите в наш центр по работе с персоналом – начнём с этого».

Бог прибыл в отделение центра в Тель-Авиве, где его попросили заполнить анкеты и изобразить на бумаге несколько символов. Затем его провели в помещение, где уже находились ещё десять соискателей, и им всем предложили выполнить различные задания.

Бог был увлечён: ещё никогда ему не доводилось так тесно общаться с людьми. Когда коллективная часть задания была завершена, его пригласили на индивидуальную беседу с психологом.

- Результаты ваших проверок просто блестящи, - произнёс д-р Зелькович, когда Бог вошёл в его кабинет. – Однако при

выполнении коллективного задания вы были совершенно пассивны, в чём дело?

- Я сожалею, - ответил Бог, - но такие игры для меня совершенно в новинку. Мне было гораздо более интересно наблюдать со стороны, чем участвовать самому.

- А вы понимаете, что это уменьшает ваши шансы быть принятым? – спросил психолог и пристально посмотрел на Бога.

- Я обещаю вам, что, если мне предоставят возможность, я проявлю себя и буду отличным работником отдела по обслуживанию клиентов. Я уверен, что и у вас заняло немало времени, чтобы стать авторитетным и известным психологом, каким вы являетесь сегодня.

Бог смутно припоминал историю Зеликовича и его самовлюблённую манеру держаться, и понимал, что прибегнуть к лести - это единственный способ быть принятым.

- А вот что с рисунками, – продолжал Зеликович. – Похоже, что у вас некоторые проблемы с родителями. Вам уделяли недостаточно внимания в детстве?

- По правде говоря, с самого начала ко мне относились, как ко взрослому. У этого есть и плюсы, и минусы. Ощущаешь на плечах немалый груз, если вам это интересно узнать, - ответил Бог.

В итоге д-р Зеликович выставил ему оценку «три» из семи возможных, но в силу того, что сильных претендентов оказалось недостаточно, заведующая отделом обслуживания клиентов банка решила всё-таки принять Бога на работу.

Подготовительный курс длился месяц, и за это время Бог познакомился с основными понятиями банковского дела, современными компьютерными программами и теорией обслуживания клиентов банка.

- Запомните, - повторяли ему снова и снова, - вы не сотрудник отдела обслуживания, вы – банкир по телефону, будьте горды этим.

В ходе всего курса Бог получал от наставников хорошие оценки, и только на практическом занятии ему поставили низкий балл.

- Вы должны несколько упростить свой язык - до бытового уровня, так как вы, сегодня не говорит никто, - сказали ему, и Бог подумал, что это прекрасное замечание, и что его нужно немедленно реализовать.

В ходе своего первого разговора он немного волновался. После того, как он беседовал с Моисеем на горе Синай, ему почти не доводилось говорить с людьми один на один, и он почувствовал, что несколько утратил эту свою способность.

- Банк «Поалим» по телефону, здравствуйте, говорит Хаим, - произнёс Бог. Девушка на другом конце провода хотела выяснить, каков остаток средств на её счёте.

- Вы должны банку тысячу пятьсот сорок два шекеля, - ответил Бог, и девушка спросила его – это значит, что она в «минусе»?

- Да, к сожалению, это действительно означает, что вы в «минусе». Можно предложить вам заём? – спросил Бог и продолжил: - Проценты на него будут гораздо меньше, чем проценты на ваш «минус», поэтому вы только выиграете от этого.

Что-то в голосе этого сотрудника банка успокоило клиентку, и она решила взять заём.

- Коллеги, аплодисменты Хаиму – уже в первой беседе он сумел убедить клиентку сделать заём, - провозгласил старший смены и позвонил в колокольчик. Все сотрудники захлопали в ладоши, а Бог не мог понять, чему они так радуются.

Бог стал звездой. Коллеги и клиенты полюбили его. Он успешно решал все задачи, которые ставили перед ним, и был лучшим работником службы из двухсот пятидесяти сотрудников.

- Ты наш самый лучший банкир по телефону, - сказал ему в личной беседе заместитель генерального директора банка, - и именно поэтому я ожидаю, что именно ты поднимешь уровень обслуживания. Ты единственный, кто способен это сделать.

И Бог это сделал. В разговоре со следующим клиентом он спросил, есть ли что-нибудь ещё, что он может сделать для него, и тот ответил, что был бы рад выиграть главный приз в «Лотто».

- Вы заполнили карточку на этой неделе? - спросил его Бог.

- Я их не заполняю, потому что не верю в это, - ответил клиент.

Бог попросил его купить карточку лотереи и заполнить её, а на следующей неделе получил огромный букет цветов и прочувствованное благодарственное письмо...

После этого он начал проводить вдумчивые беседы с клиентами и выяснять, что по-настоящему мешает им в

жизни. Одной пожилой женщине он помог наладить отношения с невесткой, а мужчину-трудоголика убедил побольше времени проводить с дочерьми. Бог помогал своим клиентам поправить здоровье, решал их экономические проблемы и вообще делал их более счастливыми. Были клиенты банка, которые звонили, чтобы поговорить именно с ним, и отказывались беседовать с любым другим сотрудником. Бог получил оценку «десять» по удовлетворённости клиентов от общения с ним, и пришлось открыть специальный почтовый ящик для благодарственных писем, которые ему поступали.

По прошествии года работы непосредственный начальник Бога пригласил его в свой кабинет и объявил ему, что он уволен.

- Вы просто не выдерживаете темпа, ваши разговоры с клиентами слишком длинные, - произнёс босс излишне эмоционально.

- Но заместитель гендиректора попросил меня улучшить уровень обслуживания. Я делал всё, что в моих силах, честно, - ответил Бог.

- Однако он, разумеется, не имел ввиду, что ваши беседы с клиентами будут длиться по десять минут. Ваш средний по продолжительности разговор занимает восемь минут и сорок секунд, в то время как у остальных сотрудников – две с половиной минуты. Мы просто не можем позволить себе такое больше, - закончил начальник и вручил Богу письмо об увольнении.

Прошло двадцать лет с той поры, как Бог работал в банке, и за эти годы он провёл в раю радикальную перестройку всей системы обслуживания, которая в значительной степени улучшила жизнь небесных обитателей. Однако несмотря на многочисленные похвалы, которых он удостоился за свои нововведения, и длительный период времени, прошедший после того разговора, Бог не может забыть чувство, которое он испытал, когда его начальник, Коби Шаашуа, изрёк: «Вы уволены»...

Кровь приливает к голове, спазм перехватывает горло и не отпускает, а на лице у тебя появляется глуповатая растерянная улыбка. Но главное – это сомнение, сомнение, которое начинает заполнять каждую клеточку твоего тела, - может, ты не так уж и умён, как думал сам?

Перевёл с иврита Александр Крюков

АРФА И ЛИРА

Произведения современных азербайджанских авторов

Этимад Башкечид

Инта

...Я слышал о праведных птицах и героизме коней, даже прочел кое-какую литературу об этом. А после того, как посмотрел в одном из дешевых московских кинотеатров, вместе с людьми, жующими попкорн и запивающими его «фантой», «Птицы большие и малые» Пазолини, окончательно утвердился в мысли, что человечество может почерпнуть в мире животных немало поучительного для себя. В этом фильме, кроме прочего, говорится о двух монахах, посланных нести слово Божье птицам – соколам и воробьям. Усилиями двух миссионеров и те, и другие поспешили под сень веры, но в природе всё устроено так, что воробьи являются главной добычей соколов, и те не оставили привычку охотиться на воробьев даже после обращения в веру Христову. Словом, христиане-соколы продолжали поедать христиан-воробьёв.

Любезный читатель, обращал ли ты внимание, что всё живое, в том числе и люди, похожи на то, что употребляют в пищу?.. В 2005 году в седьмом номере авторитетного научного журнала «Fox Ltd», издающегося в Лондоне, вышла статья, посвященная эксперименту на кишечных червях. В ней говорится, что перед кормлением этих червей некоторое время стимулировали светом. Подобные опыты ставил на собаках и известный русский физиолог Павлов, но англичане пошли значительно дальше. Сформировав условный рефлекс у первой группы червей, они умерщвляли их и скармливали второй группе червей, у которых не было условного рефлекса. В результате черви, пропустившие через пищеварительный тракт своих сородичей, приобретали все их привычки...

Вот так, дорогой читатель! А ты думал, зря в некоторых африканских племенах едят себе подобных? Просто они

давно знают то, что современные ученые открывают для себя только сейчас, вот и едят себе подобных при всяком удобном случае. Вот так, каннибализм оказывается – кратчайший путь к овладению чужими способностями, силой и опытом. И это говорим не мы, а учёные!

Но оставим африканцев. Мало ли было среди европейцев, кичащихся своей цивилизованностью, - поедавших сердце или пьющих кровь поверженного врага? Я еще не говорю об азиатских полководцах, введших это в регулярную практику. Без сомнения, кровожадность эта восходит к древним верованиям о том, что храбрость, сила и воля врага заключаются в его сердце, печени и крови. Не зря же смелых называли «львиное сердце», «горячая кровь».

До недавних пор я полагал, что обороты «так бы и загрыз», «всю кровь бы выпил» – просто речевые штампы, ибо, если отбросить всяких маньяков, в наши дни никто никого не «загрызёт». Но и здесь оказывается всё не так, как я полагал. Недавно в одном из сакральных текстов я наткнулся на фразу: «Аще же неблагодарностью воздаете за добро, али посягаете на чужое добро – то се яко плоть его ядите». Вот так!

Христос, подавая своим ученикам хлеб и вино, говорил: «Ядите! Это – плоть моя! Пейте! Это – кровь моя!» Судите сами, насколько оправданы бесконечные споры теологов о смысле этих слов. А он, говоря это, имел в виду: знаю, вы предадите меня, неблагодарно попрёте мои труды, другими словами, будете есть плоть и пить кровь мою. Вот и всё! И никакие теологи не убедят меня в обратном.

Я должен извиниться, любезный читатель, что начал издадека, но есть темы, на которые можно говорить лишь так – пространно, или не говорить вовсе. Да и прелюдию изобрели не мы...

...Тогда осень только вступала в свои права. Помню, бабье лето продлилось лишь несколько дней и сменилось дождями, да какими! Я уже третий год жил в Коми, в городе Инта, и знал, что здесь в прямом смысле слова утечёт много воды, прежде чем наступит зима.

В Инте проживает совсем немного коми, и те стараются не афишировать свою этническую принадлежность. Почти всё семидесятитысячное население Инты, если не считать чиновников и учителей, работает в угольных шахтах. Однажды мы, сотрудники городской газеты, провели небольшое исследование, в ходе которого выяснили, что

шахтёры проводят под землёй большую часть своей жизни. Шахтеры Инты полушутя-полусерьёзно называют друг друга «крысами», но никто и не думает обижаться на это. Интинцы обречены на такой образ жизни – у них нет возможности избрать другой род занятий; известно, земля эта не родит: не то, что фруктов, даже картошку здесь сажать смысла нет.

И всё здесь словно не то – ни воздух не тот, ни вода. Если тебе, любезный читатель, доведется когда-нибудь побывать в этих краях, заверни на местное кладбище. Впечатлений, которых ты здесь наберешься, хватит надолго. На этом братском кладбище покоятся представители всех народов бывшего СССР. Все они «з\к» – некогда сосланные сюда люди и их потомки. Люди здесь живут самое большое сорок пять – пятьдесят лет, о чём гласят и надгробия. Инта – из тех российских городов, где ночи длятся полгода и, по правде говоря, нет в этом никакой романтики. Интинец знает, что велика вероятность не дожить до зари; именно в такие ночи, когда нет смысла ждать рассвета, сводят счета с жизнью те, кому эта самая жизнь постыла. Чтобы узнать точное число тех, кто не стал дожидаться восхода, нужно снова заглянуть на кладбище: здесь для них отведено отдельное место. В отличие от льготников, ушедших в предписанный им час, они погребены в сторонке и как придётся. И этот участок, где лежат зачисленные в грешники, на порядок больше самого кладбища.

Ещё одной особенностью этого весьма отдаленного города является то, что попасть сюда можно только на поезде. Иной возможности попасть в Инту или покинуть её нет; по всему периметру город окружен бескрайними болотами. Именно поэтому со дня основания города по сей день никому и в голову не приходило попытаться сбежать из интинской тюрьмы.

Об Инте можно говорить бесконечно, но я ограничусь вышесказанным, добавив только, что слово «инта» означает на языке коми «яма», «дыра», и как по мне, оно весьма точно отражает действительность.

Как я уже сказал, в ту пору шли нескончаемые дожди, и всё вокруг погрузилось в сырость и слякоть. В такую погоду животное - и то носу из конуры не кажет! Мне совсем не хотелось ехать в такую погоду в другой конец города, в редакцию. К тому же дом, где я снимал квартиру, находился

на достаточном отдалении от дороги, и в дождливую погоду расстояние до неё становилось в прямом смысле слова непроходимым. Тому, кто не желал месить грязь, не говоря уж о давке в автобусе, оставалось только сидеть дома.

Решив, что ни за что не выйду из дому, я позвонил нашему репортёру Павлу, и чтобы не слушать его болтовню, без всяких приветствий сразу перешел к делу:

– Паша, меня сегодня не будет, так ты уж, пожалуйста, как-нибудь уладь и мои дела...

– Что значит «меня не будет», бляха?! Я тут кто, бляха?! Чего это я должен за всех отдуваться?! Гриша, нах, в отпуску, Саша, нах, в командировке, а тут ещё ты, нах! Вот увидите, газета не выйдет, нах...

Паша долго возмущался, используя мат как пунктуацию, и всё не мог успокоиться. Правда, Паша трещал, не умолкая, но в редакции ему никто не перечил: во-первых, он был старейшим сотрудником редакции, ему было лет семьдесят, а во-вторых, он был одним из столпов редакции, может, даже главным столпом. Паша вкушал все прелести своей нелёгкой доли – ему, как «главному столпу», не давали отпусков, не отправляли в командировки. Он был живым реликтом – во всей Инте нашлась бы всего пара-тройка человек, доживших до столь преклонных лет, – но день-деньской, по его собственному выражению, он «пахал, как вол». Его самого подобный образ жизни, казалось, ничуть не тяготил: ни жены, ни детей (на долгом жизненном пути их дороги разошлись) – лишь, как говорится, пятая конечность да брюхо.

Я отвёл трубку от уха, закурил и, услышав, что Павел на мгновенье замолчал, быстро сказал:

– Редактор спросит, скажи, что слёг с гриппом! – и положил трубку.

Не прошло и минуты, как телефон снова зазвонил. Это был Паша.

– Смотри, Эдик, – в его голосе появились грозные нотки. – Из искры возгорится пламя, нах!..

Я не дал ему договорить и выдернул телефонный шнур из разъёма.

Наша городская газета называлась «Искра». В отличие от ленинской, из нашей «Искры» не возгорелось бы ничего и за сто лет. В крайнем случае меня могли уволить из редакции, и, сказать по совести, я сделал для этого всё, что мог: приходил на работу вусмерть пьяный, пререкался с редактором, грубил коллегам, и ещё много чего. Я подумал,

вернее - заставил себя подумать, что в такую сырую погоду никакая искра не разгорится, и эта мысль вселила в меня спокойную уверенность, что меня не уволят и на сей раз. Сказать по правде, я не хотел терять это место. Как бы то ни было, я работал здесь уже давно и привык. К тому же, я не умел ничего другого, только писать, а в угольную шахту не спустился бы даже под угрозой голодной смерти.

Всё началось после этого. Я собирался пройти на кухню и поставить чайник на плиту, но стоило мне открыть дверь, как между моих ног прошмыгнула черная крыса и забежала в спальню. Как по мне, нет на свете тварей омерзительнее крыс. Я кинулся за ней в спальню, но не нашел её, сколько ни искал. Я не собирался делить жильё с крысой и потому отправился на балкон за припасенной мышеловкой, зарядил её и установил под кроватью. Крысы прожорливые, но очень хитрые животные – заманить их в мышеловку не просто. Я знал об этом, поэтому замаскировал мышеловку обрывками газеты и воротился на кухню.

Только я поставил чайник на плиту, как из спальни донёсся громкий щелчок. Я поспешил туда и, заглянув под кровать, увидел, что в мышеловку попала крупная крыса. Дуга мышеловки ударила её прямо по спине, но крыса была ещё жива. Она скребла передними лапами пол, вереща едва ли не как человек, а время от времени даже пыталась развернуться и перекусить дугу мышеловки. Собравшись с силами, она даже умудрилась поволочь мышеловку за собой, но ей было не вырваться из этого капкана. Немного погодя она перестала пищать, дернулась несколько раз и издохла.

Только теперь я обратил внимание, что это не та крыса, которая выбежала из кухни. Это была обычная серая крыса, гораздо меньше той, чёрной. Не стоит удивляться – крысы такие существа, что если вы увидели одну, значит, ещё с десятков прячется по щелям. «Одной мышеловкой этот вопрос не решить, - подумал я, - нужно придумать что-нибудь действенное». Видимо, в квартире обосновалась крысиная матка и принесла помёт.

Подталкивая мышеловку ногой, я вынес её на балкон и, свесившись через перила, стал звать Васю – безработного, живущего этажом ниже:

– Вася! Вася! Васили-и-и-й...

Через пару минут Вася, ворча, вышел на балкон в трусах и майке. Его лицо отражало его внутреннее состояние и,

глядя на него, было нетрудно догадаться, что это состояние глубокого похмелья.

– Ну, что там опять, с утра пораньше?.. – простонал он.

– Вася, тут у меня отличный обед для твоего кота.

– Я уж решил, стряслось что... Сейчас моему коту хоть антрекот подавай – и не взглянет.

– Что так? Захворал?

Вместо ответа Вася махнул рукой и ушёл. Это было невиданное дело – чтобы Вася отказался от обеда для своего обожаемого кота!

– Вася! Василий...

– Ну что ещё? – донесся из квартиры его голос.

– Выйди на минутку!

– Ну, вышел! Чего тебе? – сказал он, высунув голову на балкон.

– Ты, кажется, не понял! Я тебе предлагаю крысу, вот такенную! – я показал руками крысу величиной чуть ли не с кота.

– Этих крыс у меня в квартире – табун!

– Вот оно что! – меня взяла злость. – Что ж ты мне не сообщил?!

Он удивлённо посмотрел на меня.

– Чего это?! Ты что, из санэпидемстанции?

Ну что на это возразить? Я не мог допустить, чтобы последнее слово осталось за ним, но пока я раздумывал, он добавил:

– Чего-то с тобой происходит, парень...Померил бы ты себе температуру! – и, покачав головой, ушёл.

Сначала я хотел позвать Васю и сказать ему пару ласковых, да постыдился соседей. Оставив дохлую крысу на балконе, я вернулся на кухню. Есть не хотелось. Выпив чаю, я закурил. Ну и дела, только грызунов нам не хватало. Значит, и у Васи завелись крысы. А коли так, то и в других квартирах непременно есть крысы, в этом сомневаться не приходилось. Скорее всего, крысиные норы затопило водой, вот они и полезли на верхние этажи и забрались в квартиры.

Я посмотрел в окно. Шум дождя как нельзя лучше подтверждал мои мысли. Глядя в окно, я подумал, что прогулы чреватые такими вот эксцессами: собирался устроить себе выходной, а вместо этого с утра пораньше занимаюсь чёрт знает чем. Устроившись поудобнее в плетёном кресле, я постарался думать о другом.

В полдень, проснувшись на звук дверного звонка, я понял, что уснул в кресле. Теперь в дверь барабанили.

– Кто там? – отозвался я.

– Откройте! Мы из санитарной службы, – донесся из-за двери раздражённый голос. Видимо, они давно стоят под дверью, пытаясь достучаться до меня. По всей видимости, эта история с крысами начинает набирать обороты. Это наверняка из службы дератизации, но я их не вызывал. Подобная инициатива санитарной службы, которую обычно не дозовешься, настораживала.

Я открыл им двери и увидел делегацию из мужчины и двух женщин, держащих в руках какие-то бумаги и чемодан с красным крестом. Едва дверь открылась, вся эта компания ввалилась в квартиру. Женщины без лишних слов принялись деловито осматривать моё жилище, а мужчина прошёл за письменный стол и, разложив перед собой бумаги, стал допрашивать меня.

– Квартира ваша?

– Нет, я снимаю её.

– Ясно, – он отметил что-то в бумагах. – Сколько человек проживает в квартире?

– Только я.

– Ясно. Где работаете?

Задавая вопросы, он смотрел на кончик своей ручки.

– Корреспондент газеты «Искра», родни за рубежом нет, из интеллигентной семьи, непартийный, не привлекался, азербайджанец, родом из Грузии. Что ещё вас интересует?

Мне всё это порядком надоело. И какое отношение всё это имеет к крысам?

Он отвёл, наконец, взгляд от своей ручки и посмотрел на меня удивленно и немного разочарованно. Потом, помахав в воздухе лежащим перед ним листом, сказал:

– Спроси у того, кто составил эту анкету! – он уже обращался ко мне на ты. – Вот, подпишись здесь.

– Что это?

– Акт о санитарных мерах по выведению грызунов в квартире, которую ты снимаешь, Подписывай!

Я подписался. Он вложил этот лист в тетрадь и позвал женщин:

– Девочки, поторопитесь! Нам ещё вон сколько квартир осталось обойти!

Таким образом, в моей квартире были «осуществлены санитарные меры по выведению грызунов». Одна из «девочек», – крупная женщина с толстым слоем пудры на

лице, строго-настрого предупредила меня, чтобы я не вздумал прикасаться к ядовитым препаратам, которые они расставили по углам квартиры. Кроме того, мне рекомендовалось по возможности не хранить дома продукты питания, а ещё лучше - покинуть квартиру на несколько дней. Я заверил их, что последую всем рекомендациям, лишь бы они оставили меня в покое.

Выпроводив их, я снова уселся в плетёное кресло. В голове гудело, во всем теле ощущалась слабость. Я чувствовал себя больным и разбитым. Я вдруг подумал, что ненавижу и этот город, и всех, кто в нём живёт, включая себя, ненавижу всё и вся в этой богом забытой дыре. Я по натуре спокойный, медлительный, тяжёлый на подъём человек. Вернее, был таким когда-то. Этот город сделал меня нетерпеливым, вспыльчивым, раздражительным. Окружающие списывали всё это на кавказский темперамент, но сам я прекрасно знал, что это не так. Я со всей ясностью понимал, что потратил три года своей жизни впустую – они прошли не в стремлении к каким-то светлым перспективам, а в попытках не свихнуться, не оказаться в один прекрасный день в дурдоме или тюрьме, или не свести счеты с жизнью. Как и все интинцы, я жил мечтой уехать отсюда. Может быть, именно благодаря этой мечте я пока держался. Вы можете подумать: о чем тут мечтать, хочешь уехать – уезжай. Но куда? О том, чтобы вернуться в деревню, не могло быть и речи – я уехал из деревни, чтобы покорить мир, а не для того, чтобы воротиться туда ни с чем. А в Баку мне некуда податься, и нет друзей, которые могли бы поддержать меня в первое время. Вся моя родня была рассеяна по бескрайним просторам России.

Просидев так некоторое время, я встал, включил телевизор и, улегшись на кровать, стал смотреть передачи. По местному телеканалу выступал главный санитарный врач города: «...Принимая во внимание всё вышесказанное, призываем вас быть ответственными, строго соблюдать рекомендации соответствующих учреждений. Крысы могут быть разносчиками различных болезней – непосредственный контакт с ними нежелателен. В особенности это касается детей. Истреблять грызунов мышеловками и прочими способами запрещено». Вслед за ним выступали другие: крысы стали главной темой дня.

Под вечер, вставив шнур телефона в разъём, я позвонил Паше.

- Паш, ну, как там дела?
- Как им быть, бляха, крысы заполонили город, мать их! А ты хоть завтра на работу заявишься?
- И у вас дома крысы?!
- А куда мы денемся, нах?! Так ты выйдешь на работу, нет?!
- Не знаю Паша, я сейчас думаю о том, чтобы свалить из этого города.
- А кто об этом не думает, бляха? Я вот уже шестой десяток об этом думаю! – Павел промолчал немного и доверительно добавил: – Эдик, давай вот что, приезжай ко мне, у меня тут отличное топливо, из Москвы привезли. Заправимся, поговорим...
- Павел не сбавлял тон, даже пытаюсь умиротворить кого-то, только не матерился.
- Чего-то совсем не хочется, Паш, – отказался я.
- Что значит «не хочется»? Ты уж не заболел ли в самом деле? – Паша искренне полагал, что только больной мог отказаться от горячительного.
- Да, заболел, – сказал я.
- Ну, что поделать: если гора не идет к Магомеду, придется Магомеду идти к горе. Сиди дома, скоро буду!
- Не прошло и четверти часа, как Паша уже был у меня. Сидя за столом, мы «заправлялись» московским топливом, и снова речь зашла о крысах. Внимательно взглянув на книги, лежащие на полке, Паша повернул ко мне раскрасневшееся от водки лицо и сказал:
- Ты читал «Чуму» Камю?
- Он спрашивал об этом неспроста. В этом романе Камю, казалось, описал Инту наших дней: крысы, зараженные чумой, разносят болезнь по всему городу, люди гибнут...
- Да, – ответил я, – и город, описанный в нём – точь-в-точь наш.
- Да! Но, слава богу, у нас в городе ничего такого нет; все живы-здоровы.
- Пока нет.
- И не будет! – сказал Павел, опрокинул очередную стопку водки и с хрустом закусил соленьями.
- Откуда ты знаешь? Ты же не предсказатель!
- Он взглянул на меня с укоризной.
- Эх, ты! Плохо ты меня знаешь! Я недавно был в санэпидемстанции, расспросил их обо всём и выяснил, что никаких заболеваний у грызунов выявлено не было!
- Почему же тогда они повылазили из своих нор?

Паша принял важный вид:

– А этого никто не знает!

Он сказал это с таким видом, будто если бы об этом было известно что-то, - уж он-то непременно знал бы это.

– Почему дельфины стаями выбрасываются на берег?

Я поднял руки, давая понять, что аргумент принят. Чуть ли не радуясь, я тоже опрокинул стопку. У нас с самого начала так заведено – каждый пьёт, сколько хочет, никаких тостов и прочего, «Будь здоров» - и всё.

– Сегодня обработали мою квартиру, – сообщил я.

– Мою тоже. Фигня!

– Почему фигня?

Паша вздохнул:

– Ты, я смотрю, многого ещё не знаешь. Это же крысы! Они за версту чуют всякие ядовитые вещества!

Семисотграммовая бутылка водки опустела. Пепельница была переполнена, и мы бросали окурки в пустую бутылку.

– Может, ещё одну? – озвучил Паша обычное для таких случаев предложение.

– Не, Паш, мне хватит. Скажи лучше, для чего вся эта движуха, если крыс невозможно отравить. Зачем они обходят квартиры, зачем это всё?

Павел зычно расхохотался:

– Должны же и они что-то делать!

Его слова напомнили мне одну историю. Одному из наших земляков довелось как-то побывать в Иране. Пошёл он, значит, в туалет: зашел и видит, что за дверью сидит мужчина, а рядом с ним стоят две афтафы¹ – белая и красная. Он хочет взять белую афтафу, но мужчина говорит: «Оставь её, возьми красную». Он берет красную афтафу, идет по своим делам, попутно думая о том, почему ему не дали взять белую, и когда, закончив свои дела, возвращает афтафу на место, не удержавшись, спрашивает: мол, дядя, отчего ты сказал мне взять красную? Тот отвечает: «Должен же я что-то говорить, раз уж сижу здесь!»

Я вспомнил, что некогда сам рассказывал эту историю Павлу и рассмеялся. Меж тем застолье наше подошло к концу. Когда Павел собирался уже уходить, я с самым беспомощным видом попросил его:

– Паш, ты это... только не обижайся... у меня на балконе лежит дохлая крыса. Не мог бы ты выкинуть её в мусорный

¹ Афтафа – восточный кувшинчик для омовений.

бак там, на улице... Ей-богу, не могу прикоснуться к ней, иначе не стал бы утруждать тебя...

– Да что там, – сказал он и направился на балкон. Увидев мышеловку, он ловким пинком отправил её на улицу.

– Ты слишком всё усложняешь, друг мой, нельзя так жить.

Мне и вправду не приходил в голову этот простейший путь избавления от крысы. Я проводил Павла до дверей. У порога он замешкался, словно не решаясь выйти под дождь, потом бодро сказал:

– Выше нос, приятель, и это... Затворничество ни к чему хорошему не приведёт. Чтобы завтра в десять ноль-ноль был как штык на работе. Договорились?

– Договорились, Паша.

– Ну, всё! Завтра поделюсь с тобой единственным действенным способом уничтожения крыс. Не опаздывай!..

Я ещё немного посмотрел Павлу вслед. В редакции его считали нелюдимом. Может, это и впрямь было так, но он явно тяготел ко мне, и я никак не мог понять, отчего. Сказать по чести, я недолюбливал русских, но к Паше, - возможно, именно из-за его нелюдимости, - испытывал особое расположение.

Наутро в редакции царило оживление – все обсуждали нашествие грызунов. Даже редактор, всегда сохранявший невозмутимость, нервно ходил по комнатам, повторяя «кошмар какой... невиданное дело...», и всех пытался втянуть в разговор о крысах. На его лице, кроме тревоги и, как он сам говорил, ужаса, отражалось какое-то торжество, словно в городе приземлилось НЛО, да не одно, а целая вереница. Казалось, он на седьмом небе от счастья, что застал этот исторический момент. Его несложно было понять: в городе, где годами не происходило ровным счетом ничего, нашествие крыс было равно вторжению инопланетян. Увидев меня, он поспешил навстречу:

– О-о-о, Эдик! Видишь, что творится?! Пойдём, пойдём, – приобняв за плечи, он повёл меня к своему кабинету. – Ты, наверно, в жизни столько крыс не видал, да?

У меня не было сил слушать его тираду, и я ответил:

– Видал, конечно!

– Правда? Где? – спросил он, уставившись на меня.

– Разве мы живем не в городе крыс?

Он расхохотался.

– Верно, но речь идет о настоящих крысах.

– Как знать, кто здесь настоящие крысы...

Редактор остановился и снял руку с моего плеча. Кажется, увидев моё состояние духа, он передумал вести меня в кабинет.

– Подготовь материал о последних событиях для завтрашнего номера, – сказал он в директивной форме и направился в свой кабинет один.

Только я вошел в свой кабинет и собирался снять плащ, как вошел Паша.

– Не снимай, не снимай, мы уходим!

– Куда?

– Ты хочешь узнать единый действенный способ уничтожения крыс?!

– Пожалуй, да, – пробурчал я.

– Ну всё тогда, не задавай лишних вопросов! Садись в машину, мы едем в совхоз!

Я сел в старенькую машину Павла. Дождь лил, не переставая, вода мутными потоками стекала по стёклам в сток.

– Да чтоб тебе провалиться, святая Русь, – ругая непогоду на чём свет стоит, Паша сел за руль и медленно повёл автомобиль по раскисшей дороге, по направлению к местечку под названием «совхоз».

Совхоз располагался на самой окраине Инты. Рассказывали, что некогда здесь разводили оленей, но «новые русские» при первой же удобной возможности разворовали и распродали всё без остатка. Сейчас из работников здесь оставался один сторож, да и тот не знал, зачем он здесь и что сторожит.

Паша припарковал машину перед длинным навесом. Мы вышли из машины и прошли под навес. Вокруг не было ни души. Вдоль стены под навесом стояли ящики, напоминающие пчелиные улья. Паша огляделся вокруг и, не увидев никого, громко позвал:

– Гриша! Ау-у, Гриша!

– Иду, иду, – донесся из-за стены писклявый, не свойственный для местных голос.

Показался сторож. На нём был долгополый дождевик с капюшоном и резиновые сапоги с голенищами до бёдер. Запавшие глаза, покрытый морщинами лоб и впалые щёки делали его классическую физиономию алкаша похожей на лики святых великомучеников. Он принес с собой крепкий запах перегара, копчёной селедки и лука.

Они поздоровались с Павлом, как старые приятели.

– Знакомься, – сказал Паша, – это журналист, из Москвы приехал. Хочет, так сказать, ознакомиться с положением на местах.

Честно говоря, я не понял, зачем Паше понадобилось врать. Григорий окинул меня взглядом.

– Уважаю! Журналистов уважаю! Но, Пал Палыч, сам знаешь, мне строжайше запрещено...

– И чё? Запреты на то и нужны, чтобы их нарушать... Эх, Гриша, сукин ты сын...

Григорий вздохнул:

– Нет, Пал Палыч, никак нельзя! Начальство... Сам знаешь... Не то здесь набежит куча народу...

– Ладно-ладно, кончай... – Пал Палыч помахал рукой, словно разгоняя плотный запах перегара. – Я уж думал, поеду, посидим с ним, хлопнем по стаканчику, поговорим. Я и топливо прихватил...

Григорий посветлел лицом.

– А я что... Я не возражаю, Пал Палыч... Но начальство... чтоб ни сном ни духом!

– Да не узнает! Да и чё, если узнает? Ты это... начинай давай, пусть гость увидит, наконец, нашу передовую технологию.

Словом, всё это время Григорий втирал нам про начальство, чтобы выбить себе пол-литра. Он без лишних слов резво направился туда, откуда давеча вышел, и немного спустя воротился, держа в руках продолговатый кустарный сундук и длинные щипцы. Григорий прошел мимо нас и направился к ящикам, стоящим вдоль стены. Мы последовали за ним, и едва подошли к ящикам, – услышали доносящийся оттуда истошный визг, писк и шум возни. Это была непередаваемая, пробирающая до костей какофония, от которой мороз по коже. В ящиках пронзительно визжали крысы.

Паша громко сказал мне на ухо:

– Ого! Кажется, крысы учуяли запах Гриши... Гляди, что будет дальше!

Григорий поставил сундучок на землю, приоткрыл крышку, и мы увидели внутри с десятков прижавшихся друг к другу дрожащих крыс. В отличие от крыс, визжащих в ящиках, эти сидели молча и не издали ни звука, даже когда Григорий по одной забросил их в ящики.

Взяв под локоть, Павел подвел меня к одному из ящиков. То, что я увидел в этом ящике, я не забуду, любезный читатель, даже если заболею тяжелой формой рассеянного

склероза или переживу реинкарнацию. В ящике сидела огромная, чуть ли не с кошку, крыса с туго натянутой, лоснящейся шкурой. Стоя на задних лапах, она шевелила усами и, казалось, принюхивалась. На самом же деле крыса, двигая своей жирной шеей словно змея, рассматривала с различных ракурсов брошенного к ней сородича, значительно уступавшего ей по размерам. Маленькая крыса забилась в угол и еле слышно пищала, царапая передними лапами стенки ящика. Это длилось недолго. Вскоре крупная крыса плавно опустила на передние лапы и стала медленно приближаться к мелкой. Мелкая крыса уже не двигалась; как загипнотизированная, она смотрела на надвигающуюся на неё громадину. Её бока ходили, как мехи, а глаза чуть не выскакивали из орбит. В мгновение ока крупная крыса кинулась на свою жертву и схватила её зубами так быстро, что та даже не нашла возможности сопротивляться. Теперь крупная крыса, быстро двигая головой, мотала её из стороны в сторону; порой выпускала из пасти, чтобы потом снова вцепиться в неё зубами. Вскоре мелкая крыса обмякла и могла лишь тихо пищать... Крупная не стала ждать, чтобы та испустила дух – прижав её передними лапами к полу, она стала, вгрызаясь в плоть, пожирать ещё живого зверька.

Ты можешь подумать, любезный читатель, что я выдумал всё это, и в реальности такого не бывает, но те, кто знаком со мной, знают, что я не любитель выдумывать байки. Такое происходит в Инте, и я видел это собственными глазами!

Когда я понял, что происходит, мне стало дурно. Мне стало казаться, что чавканье крысы доносится из репродукторов и разносится по всей округе. Я зажал было уши, чтобы не слышать этих звуков, но это не помогло – омерзительное чавканье, казалось, раздавалось прямо у меня в голове. Я молча развернулся и направился к машине. Виденная мною картина всё ещё стояла перед глазами, и меня вырвало. Я подумал, что оставаться в этом городе после всего увиденного будет чем-то настолько же омерзительным, как поедание псом срыгнутого.

Всю обратную дорогу Паша увлечённо объяснял увиденное нами. Оказалось, это был многократно испытанный русским мужиком метод борьбы с крысами. А состоял он в том, чтобы отловить несколько крыс, посадить их в ящик и долгое время держать без пищи. Осатаневшие от голода крысы в итоге выбирают самую слабую из них,

нападают на неё и пожирают. Потом наступает очередь следующей крысы, потом третьей, четвертой. Таким образом, в ящике остается только одна из них, и виденная нами давеча огромная крыса была одной из таких тварей. Так вот, эта выжившая крыса – готовое биологическое оружие – крысобой, для которого нет ничего вкуснее крысятины. Его выпускают туда, где развелось много грызунов, и он начинает охотиться на них. Вскоре там не остается ни одной крысы – часть бывает съедена крысобоем, остальные разбегаются, спасаясь от монстра. Таким образом, не остается нужды во всяких ядах и мышеловках.

...В город мы добрались затемно. Паша устал говорить, и молча крутил баранку. Машина словно скользила по слякоти дорог сквозь дождь и темноту – казалось, мы движемся по очень скользкой поверхности, не зная, куда и зачем мы едем, вернее скользим.

– Куда поедем? – спросил Паша, не сводя глаз с дороги.

– К чертям в ад, – ответил я.

– Мы уже там, так что уточни, друже, в какую именно часть ада тебе нужно?

Уже решивший всё для себя, я ответил уверенно:

– Езжай на вокзал! Хочу уехать отсюда первым же поездом!

Паша и бровью не повёл, словно знал, что услышит эти слова.

– Я бы и сам уехал с тобой, не будь у меня пары важных дел, – сказал он, как ни в чём не бывало, и, вздохнув, направил машину к вокзалу.

Перевела с азербайджанского Пюсте Ахундова

ПОЭЗИЯ

Катя Капович

В саду Семирамиды

За ясный нрав, свет в солнечном сплетенье
оставь меня в составе населенья
жуков, сверчков и трубчатых стрекоз:
за то, что я в кругу себе подобных
держала мысль в усталых долях лобных,
чтобы на резкость время навелось.

Оставь меня в саду Семирамиды,
где вверх живут берёзы и ракиты,
рябина тянет веточки к заре,
оставь в саду, где сохнет полотенце,
и в такт сверчку стучит по рёбрам сердце,
как сумасшедший дятел по коре.

И много же оно тут настучало!
Ах, всё-таки опять гони с начала
о счастье, о разлуке, о любви,
о ней, последней, больше, чем о прочем.
Зачем-то ведь, земли простая дочь,
сидела я с богами визави.

Как гусеница носит власяницу,
чтоб в бабочку однажды превратиться,
вот так и я, когда умру вотще,
припомню сад и в нём к живью причастность,
вот почему я так любила ясность,
вот почему любила вообще.

Спасибо, жизнь, за одиночество,
что я хожу в твоём пальто,
что малой каплей камень точится,
что есть твой запад и восток,
твой юг и север с красным тальником.

Спасибо, жизнь, за недолёт,
за то, что друг с ручным фонариком
ночь в Киеве переживёт.

Одному П.

Достало до кишок: они не виноваты,
такими сотворил их одномерный мир
в отчизне болтовни и оливье-салата,
мороженого – как его – «Пломбир».
Легко судить-рядить из вашей заграницы,
талдычит в новостях сутяга-журналист,
он по-над бездной, он сумел там пригодиться.
Достало до кишок, в которых он, как глист.
Я вышла из рядов примерных послушаек,
где чуть не отдала в последний год кранты,
а ты жевал траву с ответственных лужаек
и гранты получал, и говорил мне: «ты».
Напрасно по ночам под музою елозишь,
плохи твои стихи, имперский золотарь!
Не говори мне «ты», я здесь тебе не кореш,
и русский у меня у меня совсем другой словарь.

Стоят под крышами дома,
висят над крышами дымы,
и нехолодная зима
штрихует моросью холмы.
Вздохмаченный унылый лёд,
Его, как стадо, среди нив
река торжественно ведёт
в пустой, совсем пустой залив.

Свободен на все части путь
вплоть до блуждающих небес.
Встряхнуться и вперёд взглянуть,
и в этом состоит прогресс.
Есть лишь движение и строй,
весёлый трубный гул в ушах
новоанглийскою зимой,
когда выходишь на большак.

Одну любовь на этом синем шаре,
одну судьбу под яркою звездой,
цыганка-жизнь спляши мне в красной шали
под птичий звонкий бубен золотой.

Года разлуки и скитаний мимо,
звезда водила за моря, леса,
и вновь на рынке Иерусалима
вдруг бросилась в глаза твоя краса.

Прости, цыганка-жизнь, за пыл с годами
угасший, за души анабиоз,
что только птиц жалею с холодами,
в кормушку засыпаю им овёс.

Из саженцев подвыросли деревья
и новою листвою шелестят,
но нету тех, с которыми в кочевье,
лишь птичьи бубны в воздухе звенят.

И, стало быть, тем дням, где звон, и птица,
и терпкая сосновая слеза,
вновь суждено в том мире повториться,
в котором я исчезну без следа.

Поднимали стихи над руинами,
как возвышенный город над тьмой,
чтоб остаться навек анонимами,
батраками с кайлом и сумой.
В них взрастили мы дым приснопамятный
и слова всухомятку сплели,
целый век разгребая развалины
на краю обречённой земли.

Завещаю тебе, ясноглазому,
с небесами прямой договор,
а, когда все слова уже сказаны,
расширяющийся кругозор.
Где из временных лет нашей повести
нас выдёргивает дергачом,
приговором истрёпанной совести,
завещаю тебе первый гром.

Оглушает меня гулом времени,
громким многоязычием свет,
и кружу я без роду, без племени
Вавилонскою ласточкой лет.
Где река голубеет извилиной,
дни к развязке простой торопя,
я пройду человеком без имени,
чтобы путь проложить для тебя.

Я в дом вошла, и по стеклу
так солнце брызнуло в гостиной,
что обнажился круг в углу
с пустой прозрачной паутиной.
На подоконнике – кружок,
напоминанье о стакане,
и штукатурки порошок –
о времени напоминанье.
На стенке сероватый след
от прислоненной спинки кресла,
как если б сумма этих черт
вернуть хотела, что исчезло.

Что рассказала бы стена?
Про то, как с книгою в ладонях
сидела я возле окна,
поставив чай на подоконник.
Как мать стояла тёплым днём
перед осеннем панорамой.
Об этом в общем обо всём,
об этой лучшей жизни самой.

Откуда я взяла пророчество,
что мне достался светлый дар,
что миру нужно мое творчество
и мой лирический словарь?
Не жалкие оценки в табели
по поведенью и труду,
но Богу в уши я направила
речь про земную красоту.

Алхимией воображения
преображён житейский плен.
Никто не гений, все мы гении,

и можно даже встать с колен.
И там войти бы вновь в прихожую
после безмолвных зим и лет
и там обнять, мои хорошие,
вас, без которых жизни нет.

В густой траве ложусь на спину,
и облака уходят вплавь,
такая ясная картина –
вот это я, вот это явь.
Большими мыслями не парюсь,
смотрю на небо, на закат,
и облака люблю за плавность,
и небо – за бегущий кадр.

Я не знаю любовных прекраснее строк,
чем твоё драгоценное имя,
повторённое трижды на запад, восток
и на север с дождями грибными.

Это вызревших яблок садовая ночь
в глухомани в осеннем тумане,
полумесяц скользит вдоль заоблачных рощ –
это я прихожу на свиданье.

Почему-то досталась мне странная страсть
те же сны пересматривать вкратце,
пробуждаться, где сыплется яблочный сад,
светлой памятью в рай возвращаться.

Ошиваться ночами под яблочный звон
и без всякой понятной причины
до скончания тёплых щадящих времён
этот мир собирать воедино.

Военно-эмигрантское разных лет

У стенки

Выживет - кто обиделся и заткнулся.
Отвернулся к стенке.
К Стене
Плача. И говорит с Богом.
- С богом, - говорят его спине.
В стену упираются лоб и коленки.
- Ты уличен во вранье! -
укоряет упёртый, -
за это простим мы друг другу, -
и гладит камень стёртые,
как гладят подругу,
глаза закрывает и хочет сквозь свет капиллярный
увидеть намёки ответов, но лучше бы всё же бинарно -
нет или да,
тьма или свет,
бред или нет,
ну правда же нет,
ну правда же да,
ну делать-то что, подскажи, не молчи,
когда исчезают с ладони ключи
и заперты люди и города.
Вот жёлтый просвет, там клубится уют,
лампа над круглым столом и друзья,
из них половина - тебя предают,
вернуться и некуда, и нельзя.
Вот синее. Вечности чистый глоток,
что-то мерцает вдали, может снег,
ты ощущаешь, что путь так далёк,
а ты полудохлый дурной человек.
И тут же зелёный. Лес. Светофор.
Болото любовью отравленных глаз.
Конечно, намек, конечно, простор,
конечно, рванёшься, но... не сейчас.
И красное. Кровь щекекочет глаза,
раздразнит отмщеньем, тепло посулит,
на маковом поле проступит роса,
и пот на висках, потому что болит.

Чёрный, чернильный, поблекший уже,
письма, доносы, одежда, зола,
предки, сносимые на вираже,
потомки, готовые для виража.
И белый. Белеет на фоне. Бельмо
тарашится в ждущую душу, а там...
И тихое светлое ничего
расставит всё худшее по местам.

Объяснительная записка

Мутный взгляд опоит самогонной зависимой мыслью,
словно мокрые лозунги вяло подглазья провисли,
и тебе раскрывают объятия: "О, дорогой!
Приди же, приди, даже если теперь ты другой!"

Я очень другой! Я ужасно другой! Агрессивно!
Я убежал из России, спасая Россию.
Но я сохранил заповедник, весеннюю грядку,
я там не сажаю, там нет никакого порядка,
берёзка растёт, да матрёшка брюхатая ходит,
стихи говорит и тоскливые песни заводит.
И братья мои - беглецы, и сестрицы - беглянки
спасают, спасают Россию, сидящую в танке.

О ностальгии

Ну как мне ответить правдиво
мучает ли ностальгия?
За однозначным "Нет"
мечутся тени по стенке,
по стенке из красного кирпича,
а маленький серенький
крадётся к бочку, рыча,
а курочка Ряба вниз головой
качается мерно в авоське,
тянет синие лапы ко всем, кто живой,
не мигает и шепчет: "Бойся",
и даже слов осторожных нет,
слова тут вообще ни при чём,
я знаю, какой на дороге ответ
вымощен рубиновым кирпичом.
А выместить память свою на ком?

Кому предъявить счета
за коммуналку, за комбикорм,
за муть обходного листа...
Клейстер вязкого неба порыв укротит,
сизый слепок мгновенья - в альбоме.
Что ж меня всякий раз, как взгляну, коротит
от противной бессмысленной боли?

"Прощай, немытая Россия" убогой юности моей!
Твоя чумазая мордашка следила, слушала, трепалась,
в твоём питомнике рождалось немало племенных зверей,
да половина в лес смотрела, а много просто так пропало.
А всё же иногда во сне с тобой мы пьем и чай, и водку,
ты блещешь словом, блещешь мордой, а я отдёргиваю руку,
чтобы елеем не намазать твои изогнутые луком
большие чувственные губы над слабовольным
подбородком.

Снова молчим о России. Где это? Да там,
тарарам, тарарам, нет нигде, в мелком детстве,
прозрачном.
Соединительной тканью исполненный шрам
для организма не значим.
Для памяти? Да. Но и я не застала те лица,
мне нашептали о них: ковыли за станицей,
шинель, ордена, и упрямый поручик Голицын,
что призыву не внял, не вернулся, не стал военспецем.
Мне говорили о них постепенные книги,
толстые книги о страсти дворян и народа,
да ладно, ведь образ сложился. Вериги,
свобода, и гулкость души, и простор, и уроды.
Уже не застала. Ещё не увидела. Псы
лет комсомольских нет-нет да и твякнут: Попалась!
Застыв на ветру, руки вытянув, как весы
пытаюсь понять что на чашах ладоней осталось.
Но явь протекает сквозь пальцы. А сны упорхнут.
А горечь осадка брезгливо стряхну.
Пустота.
Волчата пустыни из облака жадно сосут
надежду на жизнь.
А вокруг - красота, красота!

Победное

А знаешь, почему мы победим?
Ну знаешь, ты же был здесь, огляделся.
Ещё тогда, из самых грустных версий
мы выбирали, втягивая дым,
а уж сейчас мы скоро победим,
поскольку грустных версий стало больше,
я, кстати, стала вычурней и тоньше
(нет, мы не голодаем, мы едим),
нет, мы не агрессивны, мы глупы,
поскольку наша ненависть абстрактна,
мы - теоретики, реальности упырь
высасывает свой кровавый завтрак.
Но мы упрямы. Есть ещё судьба.
Победа - это вариант молитвы,
а поражение - всегда удел раба,
ошибшегося во вселенском ритме.
Есть, знаешь, этот суповый набор -
слова, перебираемые свято -
победа, смысл, земля, свобода брата...
от них тошнит, но это приговор -
мы их всё время чувствуем в упор.

Из людей, утомлённых войной
и людей, утомлённых вином,
выбирала тебя, герой,
утирая усмешку.
Из заученных слёту фраз,
заплетённых в чужой венок,
я пыталась десятки раз...
Ну конечно.
Из друзей, полумертвых от зла,
и друзей, выживающих для,
я не выбрала, хоть врала,
что не знаю.
Это острое чувство стекла,
неразбитого для меня,
да запястья на плахе стола.
Чувство стаи.

Закапывая дождь в глаза озёр,
медбрат в халате бирюзово-сером
все смотрит на хорошенькую стерву,
чьи косы - плодородный чернозём.
А нашей ломкой высохшей земле
достанется стакан с холодным чаем
и запах хлорки от посуды в чане,
а на десерт кровавое желе -
прекрасно помогает от морщин,
земля влажнеет, выглядит румяной
и жадно ждёт молоденьких мужчин -
от страха и азарта полупьяных.

Душа

Живёт в углу, не ест, не пьёт - всё мечется,
Сама себе надежды вьёт – колечками,
Сама с собою не в ладах, а ладная,
И всё не вместе, всё никак - а славно бы.

А начиналось всё легко и слаженно,
Ложились тени на стекло наглаженными,
И обнимались, и цвели, и радуга
Соединяла ночи, дни, и радовала.

Но день за днём наперевес - и стрелочки
Минут всё чаще смотрят в лес, как беженки,
И не спокойны, не тихи - морозные,
И называют всех на ты – серьёзно так.

И разбивается строка на паузы,
И время пишет по щекам морщины-кляузы,
И машет длинной чередой черёмуха,
И окунуться с головой, как в омут бы.

Чтоб покачнулись циферблата стрелочки,
Чтоб по верхушкам сосен враз – по-беличи,
Чтобы дрожал от счастья день и жмурился,
Чтобы сегодня и сейчас - всё в музыке.

Играй же, осени листва, не жалуйся,
Ещё не началась пора обжалования,
Пока на солнечном луче в колечках вся
Сидит и нежится душа,.. как вечная.

М.Ю

И не встретимся - время не в счёт,
Чёт и нечет хвостом трясогузки,
Озеро гладью, если вразлёт,
Личная осень на берегу узком.

Мягкая тень на зелёной траве
Утки, случайно сбежавшей из стаи.
Время не лечит, не кажется мне -

Я постоянно тебя вспоминаю.
Голос как голос - по имени Ты,
Мягкий и любящий до сердцевины,
Озеро то же, и те же цветы,
Но без тебя это только картинки.

Где ты, в какой неизменной дали,
Как там тебе без меня - получилось?
Это сентябрь, и уже скоро три
Года, как твой телефон отключился.

Не дозвониться - звони, не звони,
Не дошептаться, не докричаться,
Я назову твоим именем дни,
И заберу их с собою – на счастье.

Осень

Осень, начало,
Утки у причала,
Подорожник, зверобой.
Тишина такая – Боже,
Что идет мороз по коже
И кленовый листик тоже
Замер, словно неживой.
И всего минуту эту
Всё - как не было на свете,
Раньше этих сентябрей.
Этой осени начало -
Я с восторгом, без печали,
Словно ничего не знаю
Я об осени... своей.

В тихой заводи

В этой тихой заводи
Завидно до слёз,
Осень бродит загородно
По ветвям берёз,
По каштанам лаковым
Зеркальце – скажи,
Где ещё так ласково
Обнимают дни.
Осени напраслина,
Осень в облаках

С яблоками красными
На крутых боках.
Пересуды ласточки
И колокола -
Невозможно ласковая
Не моя земля.
А моя перчёная,
Чёлкою звеня,
Яблоками печёными
Ждёт уже меня.

Осень

Вдруг, откуда ни возьмись, - осень,
Листья кленов, лип, осин носит
И бросает, не спросив смело,
Прямо под ноги берёз белых.
Хмурят брови облаков льдинки,
Улетают журавли клином.
Пахнет елями кругом, лесом.
Неожиданно - и нет лета.

Неожиданно - куда детство,
Юность, зрелости года делись?
Проскакали на одной ножке
Чередую дней простых, сложных.
Чередую лет больных, смелых,
По душе прошли рядами стрелок,
И пока ещё не односложно
Неуверенная осень - можно?

Нет, не кончилась пора лета,
Хоть и бабьего - оно легче,
Разноцветнее пора листьев,
Ни единого листа лишнего.
Ни единого листа – даром,
Это лета бабьего подарок.
Не единого листочка бременем -
Это листья под ногами... времени.

Нет одиночества

Нет одиночества - душа
Твоя компания, кампари
Вы вместе пьёте не спеша,

И вместе в осени оправе.
И никогда тебе с чужим
Она не изменит в отчаянии.
И жуткий зной, и сладкий дым
Любви она с тобой встречает.

И чай из липы от тоски,
И чай шиповниковых строчек
Она с тобою будет пить,
Всегда, когда ты пить захочешь.

И скажет ласково - всегда
С тобой одной ловлю мгновенья.
И жизни быстрые года
С тобой годами наслажденья.

Какая верность и порыв,
Какая нежность в этой речи.
И мне б её благодарить,
А я всё жду другие встречи.

Свидание с красотой

Уже смеркалось, ветер стих,
И листья в полном удивлении
Застыли, словно этот миг
На них поставил ударение.

Подчёркивая желтизну,
И чёрточки на крыльях клёна,
Которым нужно ждать весну,
Чтоб снова краситься в зелёный.

И полнокровная река
Несла разлуки и удачи,
И ей казалось, что века
Она несёт, и не иначе.

И с неба словно соловьи
Срывались капли нежным хором.
И человек благодарил
За всё. И робко ждал повтора.

Война

Костюм спортивный, кепка, куртка.
Он просто вышел в это утро - осеннее уже...
Вчера готовился он к встрече
С любимой, в красной юбке клетчатой,
Которая живёт у речки
На первом этаже.

Вчера на поцелуй невинный
И высоченные осины,
И кудри облаков -
Свидетели земного рая
На них смотрели, замирая
И восхищённо, понимая - любовь.

Вчера всё было ясно, точно -
Часы на стенке, торт песочный
И кофе ровно в пять,
Потом футбол и телевизор,
И размышление о кризисе,
И новый день опять.

И снова встречи, разговоры,
И запах телефона нового
И старенький планшет,
И у окна всегда под вечер
Свет фонаря, и там, у речки,
Такой зовущий и беспечный,
Такой манящий свет.

Вчера – сегодня, кепка, куртка,
Он просто вышел в это утро
Осеннюю порой,
А воздух был бедою скован,
И покачнулись все основы,
И покатилося следом слово -
Вернись живой.

Любимые в клетчатых юбках
И невозможный шелест жуткий.
Зачем? Очнись!
А просто кто-то жаждет крови,
И только ветер крестит поле,
И закликает всё живое: - Остановись!

Кофе

Мой кофе! Ароматный господин!
Ворчишь привычно в старой кофеварке.
Бодрящий вкус с утра незаменим -
Вкус пробужденья к жизни в чашке яркой.

Усядемся с тобой за круглый стол,
Посмотрим друг на друга: с добрым утром!
Какая радость - новый день пришёл,
И будь, что будет в этом мире мудром!

Мой кофе! Ты мой давний друг!
И в горечи твоей - мои ошибки.
Но в час невзгод всегда замкнётся круг
В керамике с кофейною улыбкой.

И мы с тобой ещё на много лет -
Я на кофейной гуще не гадаю,
А просто вижу, как лучится свет,
Когда я кофе в чашку наливаю.

Осень

Худые ноги - как большой кузнечик,
Идёт по улице нелепая девчонка,
Солома - волосы, ссутуленные плечи,
Улыбка нежная наивного ребёнка.

Нос в крапинках веснушек, юбка-солнце,
В руках букетик чуть увядших листьев,
Идёт - торопится и вряд ли обернётся,
А позовёшь, пожалуй, не услышит.

Она спешит туда, где неба просинь,
Где звон рябины и прозрачны дали,
Где ждёт ее, чтоб попрощаться, осень,
И где зима уже снегами манит.

Сентябрь

Привет, сентябрь!
Но лучше б всё же лето...
Не потому, что хочется жары,
Не потому, что не хватает света
И улетели в дали журавли.

Не потому, что дрогнули ресницы
Под капелькой холодного дождя.
Не потому, что на руках - синица,
И не хватает главного - тебя!

И в осени есть обещанье солнца,
И в осени есть неба бирюза,
Но только лето снова не вернётся,
А я сказать «спасибо!» не смогла....

Про кошек и собак

Зачем нужны кошки?
Сидеть на окошке,
Мурлыкать протяжно,
Тянуться вальяжно,
Подкрасться тихонько
Царапнуть легонько,
Уткнуться в ладошку -
Для этого кошки.
Собаки нужны, чтоб чесать их за ухом,
И гладить наивное мягкое брюхо.
Когда есть собака - нельзя унывать,
Иначе с ней некому будет гулять!
Простой дам совет: если в жизни облом,
Болтайте почаще с котом перед сном,
Прижмитесь к собачьему тёплому боку,
И сами увидите - всё не так плохо!

Наши обеды похожи
На поминальные трапезы -
Без разговоров. Без звона бокалов. Наскоро.
И победы твои в наших боях напрасные.
Я уйду - это ясно всем.
Я заберу свои книги
И пестроту заморской керамики,
Запах свой
В драгоценном стекле шанелевом,
Без объяснений и слов,
Я уйду от тебя без паники
И без обид -
Отболели все.
Жизнь продолжается,
После зимы закапает
И потечёт мне венам
Весна влюблённо-дождливая,
Веткой в моё окно
Утром легко нацарапает:
«Начался новый день!
Эй, просыпайся, счастливая!»

*«Привычка свыше нам дана,
Замена счастью она».
(А. С. Пушкин)*

Женатые мужчины – маяки.
И ты летишь на свет манящий смело.
Душа свободна, и свободно тело.
Ты делаешь не «для», а «вопреки».

Женатые мужчины – чужаки.
Но ты себе придумываешь сказку,
Где в небе журавлиный клин прекрасный,
И гвалт синиц, отпущенных с руки.

Женатые мужчины – тупики.
Вы разойдётесь в точке невозврата:
Тебе – вперёд, а он уйдёт обратно
В знакомый мир привычки и семьи.

Война затяжная

Новый день откроет новую дверь,
Даст надежду - без процентов, взаимы.
Боже, просьба у меня, даже две:
О здоровье и за мир без войны.

А ещё – по мелочам, как у всех
(Не сдержат мне, просьбы хлынут рекой)
За детей. За хлеб и кров. За успех.
За любимых. За друзей. За покой.

По порядку б разобрать, по уму,
Я ж всё в кучу, как дрова для костра.
Ты Там, Боже, знаешь, что и кому.
Извини, что беспокою с утра.

Ты прости, что я взахлёб и вразброс,
Что сумбурно - не взыщи, не вини.
Просьба, Господи, молитва, вопрос
О здоровье и за мир без войны.

Некуда. Не о чем. Не с кем.
За пустоту держись.
Новые занавески
Могут украсить жизнь.

Парус поднять не чаю,
Тихо гребу веслом.
Надо прощать? Прощаю.
Надо любить? А влом.

Ну же, друзей и присных
Разве не тесен круг?
О одиночество лысое,
Как твой характер крут.

Вьются деньки да ночки,
Быта здоровый сон.
Вот и лелей привычки,

Вот и держи фасон.
Лунный, хмельной, нерезкий
Свет как слеза дрожит
Новые занавески
Очень украсят жизнь

Всё течёт и река и время
Жизнь течёт и текут мысли
У кого-то текут деньги
У кого-то течёт крыша

Никуда не идёт ветер
Крайне редко идёт птица
А кому-то идёт платье
А война идёт всем на горе

Никуда не течёт море
Никогда не молчит море
Море жизни и море соли
Море времени света страсти

Но рекою течёт слово
Льётся плачет летит слово
Лишь одно даже если много
Слово ветер и жизнь и море

Тема модная - убийство
А причины приплетут
Та стрела летела быстро
Звонко пела на лету

И лягушка, просто жаба
Не царевна? Что ты, что ты
Ну не очень-то и жалко
Да и жизнь была болото

И убита незаметно
Ни ущерб, ни следа
Божья тварь, она ведь смертна
Так не все ль равно, когда

Не страдаю пацифизмом
Не болею пофигизмом
И не по лягушке тризна
И не наша там война
Жизнь без цели, смерть без смысла
Только тишина повисла
На болоте непрестижном
Мёртвая тишина.

Пью июльскую жару
Жду февральскую хандру
Тили-тили трали-вали
Мне сказали я помру

Жизнь светла и хороша
От неё болит душа
Тело тоже ну так что же
Всё проходит не спеша

Звезды шепчутся в ночи
Сердце жжёт как из печи
Светит месяц светит ясный
Не пытается лечить

Месяц спрятался в туман
Ножик спрятался в карман
Мой костёр в тумане светит
Жизнь и смерть игра ума

Дни ползут бегут года
Жизнь даётся навсегда
Я уйду других достанут
Солнце воздух и вода.

- Боже, да что же это такое?!
- А это, малыш, Я и Сам не знаю.
План был подробный, чёткий, толковый.
Иди и делай по Моему слову.
А у них ложь, война и "моя хата с краю".

- Господи...Ты с кем сейчас говоришь?
Быть же не может, что Ты – и вдруг со мной.
- Не с кем Мне говорить тут, малыш.

Меня давно уже никто не слышит.
Они предпочитают общение со стеной.
- Господи, прости их, ибо не знают - как.
Не казни, Всевышний, нас прости.
- Ну что дрожишь под звёздами, простыл никак?
Наказывать – фирменный мой знак.
Прощать – фирменный мой стиль.

Так и живем. А что нам еще остается? Сердце болит войной - той, далекой и здешнею, нашей. Новости утром и вечером, перед едой, полною чашей. Проходят с трудом. Вот ведь блажен, кто курит. Всем прочим – глотайте свой кофе. Поможет не очень и все же, из опыта: горький горячий лучше, чем сладкий со сливками. Впрочем, у каждого свой. Ты только не стой. Жизнь не стоит от слова горит. Попробуй уйти в быт.

Двигайся, кашу вари, играй на гитаре, кошку погладь, иди на работу, с работы. Годятся любые заботы, свадьбы, разводы. Роды. Похороны. Нет. Не годятся. Только куда от них деться, разве зажмуриться? Память уносим с собой, мы жаждем свободы, музыки, и тишины, и рутины. Там, в Украине. Здесь, в Палестине. И слушаем сводки погоды как обещание мира и света.

Кто говорит, что у нас два сезона, осень и лето? Наша зима холодна и промозгла, ее не согреть силой. Нынче весна не спешила. Возможно, мешала война. Все же пришла, пробежала, зажгла анемоны, белый миндаль окунула в февраль торопливо, лиловым окутала сливы. Птицы, туманы, хамсины, уж травы пожухли, термометр бьется в ознобе, Солнце в тревоге. Лето стоит на пороге, лето шагнуть не решается. Нам не до лета. Нету покоя. Ну, нету.

Там – там война затяжная. Тут – постоянная. Сводки последних известий. Тревога, усталость, бессилие, боль. Мысли о вечном. Господи, как Ты позволил? Так и живем. А что нам еще остается? Жить. Эту жизнь поднимать, как ведро из колодца. Делать, что должно и ждать. Верить. Молиться. Опять? Как всегда? Да.

По дороге на Арад

Волшебство, ударившее под дых,
просто штучки девчачьи, повадки птичьи,
но на праздники нет ничего привычной,
ничего истеричнее и комичней
этих драм трёхкомнатных типовых.

Ведь канун тревожней самих торжеств,
как ночной звонок потеряшки-брата.
Детский сад – слезами солить салаты...
На ветвях следы прошлогодней ваты,
и стеклянный ангел, один как перст,
в полутьме таращится диковато.

Вдруг очнёшься – довольно толчка, щелчка –
угловато-зажатою по старинке
на чужой студенческой вечеринке,
где слепит прожектор, горит щека
и в луче неподвижно стоят пылинки.

Ангелок качается на весу
с пустотой пастушьей внутри гобоя,
с этой безголосой своей трубою.
Все мои страдания и любви
газировкой щекотно першат в носу.
– Можно мне прощенье? – Бери любое...

Будет день, и будет пицца,
и в груди немой укор:
наши прошлые жилища
не обжиты до сих пор –
все в одной неброской гамме
жёлтоватой старины
и боками, и веками,
и вьюнками сплетены.

Там из памяти, из глины,
из ночных бессонных глыб
каждой трещинки, щербинки
незатейливый изгиб,

где, на вечном слое пыли
не оставив и следа,
мы с тобой как будто жили –
но не жили никогда...

Будет день привычно ранить,
словно пальцы злая нить,
и хранит зачем-то память
то, чего не может быть.

Песня с припевом квартирки-трамвая:
мама и папа ремонт затевают,
ангел-хранитель малярного рая
бродит по кухне босой,
стенку белили – опять шелушится,
краска дешёвая плохо ложится,
кроличья клетка, темница, больница
новой спит бирюзой.

Вечный клубок проводов и сомнений –
где ты, домашний компьютерный гений,
блудный младенец Геракл?
Снова развесить забытые лица –
стены дырявить и рамкам пылиться...
Кроличья клетка, больница, теплица,
корни, столетник, герань.

Свежая кухня – подобие транса,
столько усилий, как будто напрасно:
сколько продержится новая краска –
вечность, ещё полчаса?
Всё шелушится, и память, и слово,
сколько ни есть, доживать бирюзово –
помнишь, в палатке с детьми, у Азова,
кромка воды, небеса...

Сверчит, не смолкая, вечерняя птаха.
Захлопнув окно впопыхах,
по комнате мечется ветер-неряха
и сор замечает под шкаф.

И ты остаёшься, приросшая к месту,
покуда усталость и дым
не скроют тебя до бровей, как невесту,
фамильным шитьём золотым.

За то, что стучит неуёмная створка,
мы держим с тобою ответ,
за то, что творится земная уборка,
и полный соринками свет
прольётся... От матери нам достаётся
оконная рама, портал,
закатного золота серьги и кольца,
наследства тяжёлый металл.

По дороге на Арад
нам спускаться не впервые,
по обочинам стоят
деревеньки кочевые –
их слепили по одной
по привычке легковесной
из фантазии сплошной,
манны бросовой небесной,
из того, что под рукой,
из того, что дарит случай,
из фонащей и глухой
жести кровельной певучей.

Нерушимые пока,
на холме, потом правее,
их ребристые бока
в сером облаке ржавеют,
и такой закат густой
над долиной этой сорной,
словно знахарский настой
местной травки кроветворной.

Смотрит первая звезда
без досады и укора,
словно это навсегда,
и ещё совсем не скоро
те, сошедшие с ума,
времена придут иные

в наши хрупкие дома,
деревеньки жестяные...

В плену у недолгого века,
интимного круга,
мы тихие твари ковчега,
что есть друг у друга -
одни, на исходе творенья
нелёгкой недели,
у дома посадим деревья,
чтоб в окна глядели.

Что так опрометчиво начато -
мигом поблёлкло,
недаром ночами маячат
и шарят по стёклам
деревьев незрячие лица
и пальцы сухие -
нам просто нужны очевидцы,
хотя бы такие...

... в конце всегда больничная палата,
и свет случайных фар почти не виден,
скользнул, протиснулся в иллюминатор,
как Мартин Иден.

Тянись за их лучом затёкшей шеей
и всем своим заледеневшим телом –
он лишь мгновенье на стене рыжеет,
как бок собачий, медное на белом.

Хотя душа уже зависла между,
вдруг отлегло, как будто легче стало,
а это он – прочь по равнине снежной
уводит волчью стаю.

Стихи разных лет

Всяк, кто близко со мной знаком,
за глаза давно говорит,
что недобрым стал старичком
жизнерадостный ферт Бахыт.

Был и я золотой пострел,
по ночам в барабан стучал.
Каюсь, милые, постарел
и порядочно одичал.

Потому ли, что жизнь долга,
под конец охренел, охрип.
Разучился прощать врага,
слушать шелест осенних лип

и нести стихотворный вздор,
подпевая горлице наугад.
Неспроста от горячих гор
надвигается мор и глад.

Неужель наше дело швах?
Голосить уже ни к чему.
Лишь под пеплом помпейский Вахх
выцветает в пустом дому.

2022

Время действия - осень. Москва.
Незапамятная синева
Так и плещется, льется, бледнеет.
Место действия - родина, где
Жизнь кругами бежит по воде
И приплыть никуда не умеет.
Содержание действия - ты.
Покупаешь в киоске цветы,
Хризантемы, а может быть, астры -
Я не вижу, мне трудно дышать.
И погода, России под стать,
Холодна, холодна и прекрасна.
Ждать троллейбуса, злиться, спешить -

Словом, быть, сокрушаться, любить -
Все, что нужно для драмы, в которой
Слезы катятся градом с лица,
Словно в горестном фильме конца
Нашей юности, сладкого вздора
О свободе. Арбатские львы,
Дымный запах опавшей листвы,
Стертой лестницы камень подвальный
И цветы на кухонном столе -
Наша жизнь в ненадежном тепле
Хороша, хороша и печальна.
Если можешь - не надо тоски.
Оборви на цветах лепестки,
наклонись к этой тверди поближе.
Там, вдогонку ночному лучу,
Никогда - я тебе прошепчу, -
Никогда я тебя не увижу.

1983

Два голоса

"Мы пируем на княжеских кашах,
бычьи кости глодаем, смеясь.
Наши мертвые благостней ваших.
Даже если и падаем в грязь –
восстаем и светлее, и чище,
чем лощеный какой-нибудь лях.
Пусть запущены наши кладбища,
но синеют на наших полях
васильки. В заведеньях питейных
рвут рубахи, зато анаши
мы не курим, и алый репейник –
отражение нашей души –
гуще, чем у шотландцев воинственных.
Наша ржавчина стоит иной
стали крупповской. В наших единственных
небесах аэростат надувной
проплывает высоко на страже
мира в благословенном краю,
и курлыкают стаи лебязьи,
отзываясь на песню мою".

"Отсверкала, пресветлая, минула.
Отпустила в пустыню козла

отпущения. Кинула, сгнула,
финку вынула, развела.
Некто, лёжа на печке, к стене лицом,
погружаясь в голодный покой,
повторяет: скифы, метелица,
ночь, София, но и такой....
Дева радужных врат, для чего же ты
оборачивалась во тьму?
Все расхищено, предано, прожито,
в жертву отдано Бог весть кому.
Только мы, погрузиться не в силах
в город горний, живой водоём,
знай пируем на тихих могилах
и военные песни поем.
Ива клонится, речь моя плавится,
в деревянном сгорает огне.
Не рыдай, золотая красавица,
не читай панихиду по мне..."

1998

Элегия седьмая

Л. С.

Все кажется – вернусь, и станет все, как было,
на Малой Бронной, где теперь сугроб
(как я тебя любил, как ты меня любила!),
аптека и кофейня. Жизнь захлёб.

И будет нам тепло среди зимы косматой:
подпольный Галич с плёнки запоем,
и кухню полутемную зальет
люминесцентный свет продолговатый.

Любил-то я тебя, а был влюблен в одну,
другую, третью, и сердился, право,
когда ты выговаривала: ну,
ты, мальчик мой, неправ, а впрочем, слава

Создателю: он сам – творенья часть,
то сдвинет ось земли, то сам себе дивится,
то посылает всякой мрази власть,
то глупость - юношам, то молодость – девицам.

Кончается благословенный век мой.
Ты умерла, (а я не поумнел),
но все смеешься, пепел сигаретный,
как бы профессор с тонких пальцев – мел,

вдруг стряхивая в оранжевое блюдец.
Нет, не вернусь. Ушедшим не проснуться,
лишь Патриаршие сверкают инеем,
и небо черное, и светло-синее.

2007

Я многих был прелестниц зайкой
Служенья музам был пример
А стал простой домохозяйкой
И вообще пенсионер

С утра заместо стопки водки
И малосольны огурцы
Читаю фронтовые сводки
О ходе спецопераци.

Потом, чтоб сердце не промокло
От стариковских тщетных слез,
Ложу в отваренную свеклу
Четыре ложки майонез.

Да и чеснок (к чему лукавить!),
Словно Юлаев Салават,
Кладу, чтоб правильно заправить
Свой восхитительный салат.

Зачем высокое искусство,
когда отечество пыхтит?
Но харч не должен быть невкусно.
Пиит такого не хотит!

2022

Бессонница замучила. Беда.
Виденья, перемешанные с явью,
теснятся в голове, что винегрет
студенческий. Домашние холмы
близ Вакуямы или Хиросимы
желтеют, как положено. Далёко

смех сборщиков японской алычи
разносится. Зеленые плоды
сиротствуют в бамбуковых корзинах, –
и кто-то из работников вздохнет
и вымолвит: «А все-таки цветенье
хоть сакуры, хоть сливы (праздник тленья
и слёзной мимолетности земного)
прекрасней, чем уборка урожая -
не забывай, что сакура вообще
бесплодна и тем более бессмертна.»
Снотворное не действует. Читал,
что мысли (или страсти) неизбежно
приводят к накоплению в мозгу
свободных радикалов. Организм
умеет с ними справиться, когда
его не трогают. И вправду, красота
(спасающая мир) недолговечна,
хоть Чехова, хоть Пушкина открой.
Овраг да степь, чахоточная дева,
в багрец и золото одетые леса.
И мы, подобно липам на бульварах
московских, облетаем. Знаешь, Сталин
планировал их выкорчевать, чтобы
расширить улицы, чтобы фургоны с хлебом
и мясом не стояли в пробках, чтоб столица
цвела знамёнами, колоннами, балетом
из черных рупоров, но не успел – война.
Пройдусь-ка я, пожалуй. На углу
скучает юноша, украшенный двойным
соцветьем сакуры на бицепсе. «Что, брат?».
Он усмехнется, отводя глаза
к билборду (лифчики от «Дикой орхидеи»).
«Не спится, да? Могу помочь.» «Спасибо,» -
скажу ему, не замедляя шага.
Чем пахнет осень? Персиком? Морской
волной? Лежит на парковой скамейке
забытый за ненадобностью томик
«Дао-де-дзин» - газетная бумага,
к тому же отсыревшая. Возьму.
Перечитаю – может, поумнею.

2000

Когда мы с любимым прощались под водку
И он обнимался со мной,
Я скромно просила прислать сковородку,
А может быть, миксер ручной.

Как он целовал мою верхнюю губку,
Шепча расставанья слова...
И вдруг, наконец, мне пришла мясорубка!
Стою ни жива, ни мертва.
Немецкая! Дивная! Не из Китая!
Красотка! Две тысячи ватт!
Любуюсь, смеюсь, и тихонько мечтаю
Как милый вернется назад.

Не вечно играют военные марши,
С победою будем опять!
Теперь никогда магазинного фарша
Не стану уже покупать.

Так будь же бесстрашен, отважен и меток!
Держи несгибаемый строй!
А я настоящих домашних котлеток
Нажарю тебе, мой герой.

2022

когда твой друг болеет сильно
и угождает в лазарет
ему приносят апельсины
и много прочих вкусных ед
в углу маячит *stabat mater*
а гость знай в тумбочку кладёт
колбаску скумбрию в томате
инжир малиновый компот
чтобы покушав мандарина
друг исцелился и опять
как бы младая балерина
мазурку начал танцевать

жаль всё не так в подлунном свете
где слишком много орк и урк
имея мужество в предмете
трудится старенький хирург
усердно колет рубит режет

хворобе нанося урон
бой барабанный крики скрежет
и смерть и ад со всех сторон
но безнадежна cosa nostra
и неприступен тот редут
медсестры наши сабли востры
домой печальные бредут

мы верим медицине честной
увы бессильна и она
где стол был яств там ящик тесный
и стопка горького вина
мораль сей басни неприятна
прощай бесценный братский пир
татап роди меня обратно
как умолял еще шекспир
зачем сынку скучать во гробе
как прадеды и праотцы
блаженны мертвые в утробе
и непитавшие сосцы

2022

"Вечерний, сизокрылый, благословенный свет..."
.А.Тарковский

ах арсений свет осенний голубиной почты взмах
ой вы сени мои сени мебель новая в домах
где закат свинцом окован и за окнами как встарь
бродит с вервием пеньковым государев золотарь

ухмыляясь не случайно он в гороховом плаще
в балаклаве made in China легендарен вообще
встречных радует обычных ест крольчатин и свинин
не язычник не опричник просто добрый гражданин

но когда он за трудами не мешай ему не тронь
претворяя живое пламя в очистительный огонь
было слово стало дело хладным телом на снегу
позвонки ломая смело обреченному врагу

2022

Белая полоса

Свою жизнь я сравнил бы с городом,
Что сдают и опять берут -
То пальбой, то гурьбой, то голодом,
Как евреи брали Бейрут.

Утопая в жаре, как в патоке,
И в курортной ночной ленце,
Всех впускал – как и я опять-таки,
И тотально разбит в конце.

Заливает поток истории
Нашу ласковость и ленцу,
И руины, и санатории
Одинаково нам к лицу.

Перерыта любая улица,
Как непонятая строка –
То в руках у злобного умника,
То у вялого простака.

Порт, бульвары, базар, акации,
Вся в заемных словечках речь –
Город труден для релокации,
И от моря куда же бечь?

Перестал я себя отбеливать
И устал попадать под суд:
Всяк захватчик ведет расстреливать
Всех, кто что-нибудь делал тут.

Ни туда, ни сюда: барахтанье.
И любой мутноватый вал
Назначает коллаборантами
Тех, кто просто рот открывал.

Ибо с точки зрения дьявола
Я Господень коллаборант,
Всякий раз под новые правила
Нацепляющий новый бант.

То заходят адепты истины,
То герои ночных расправ:
Все просвечены, все обысканы,
Все виновны, никто не прав.

Вечер душный, сумрак фланелевый,
Пыль клубами, полынь в степи...
Им, захватчикам, -- знай расстреливай,
Нам, потатчикам, -- знай терпи.

Да не так ли и вся Вселенная,
Чьи стандарты насквозь двойны?
Метафорика в ней военная,
Как всегда во время войны.

Отвечает на каждый звук она,
Потому что внутри пуста.
Переходит в руки из рук она,
Словно песня из уст в уста.

Входят ангелы, входят демоны,
Расползается звездный мрак,
И никто ничего не делает,
Потому что забыли, как.

Только ширится, как в Геническе,
Пир кровавый на сто персон,
И поистине органически
Сочетаются хер и сон.

Иуду мучает вопрос,
Подобье внутреннего зуда:
Когда бы не пришел Христос,
Никто б не знал, что он Иуда.

И про Пилата сам Пилат
Не знал, что он убийца Бога,
А просто римский бюрократ,
Каких и после было много.

Господь, прикрой мои черты,
Не расчехляй мою обитель.
Великий проявитель ты,
Но горше то, что закрепитель.

Сейчас новейшая война
Открыла нам такие рыла,
Что право, лучше бы она
Их окончательно прикрыла –
Открылась бездна, звезд полна,
Точней, червей полна могила.
А мы не знали ни хрена,
И лучше б так оно и было.

Когда б любой из сотни тыщ –
И царь, и тварь, и зверь, и я, блин,
Был тихий дачник, робкий прыщ,
И оставался не проявлен!

Господь, Господь, не проявляй!
Открытья слишком участились.
Не отправляй ни в ад, ни в рай
Унылых жителей чистилищ.
Чего бы лучше: сон-трава,
Пустырь, болотце, редколесье...
Должно быть, Фланнери права:
Ты зря нарушил равновесье.

Природа хочет быть слепа.
Не прокляни ты нас в распале –
Мы так и жили бы, сопя,
В своем болотистом астрале,
Не доросли бы до себя,
Да и тебя бы не распяли.

Из пьесы

*Так – дети выросли, соседи поменялись,
Кот убежал, собака умерла.
Лев Лосев*

А что война? Что, собственно, война?
Что вечно мне войною тыкать в нос-то?
Создателю не важно ни хрена,
Умру я в двадцать или в девяносто.

Пред Богом все виновны и равны.
Создатель не вступает в пикировки
И мир не отличает от войны:
Он смотрит всё на быстрой перемотке.

Любая гибель – гибель на войне,
Она настигнет всех в свою годину.
Мир отдан в управленье сатане,
Низверженному с неба за гордыню.

Всё тот же он, и суть его одна:
Он всех приговорил при воцаренье.
Ну вот война. А если б не война,
Вы думаете, вы бы уцелели?

Она честней, чем пафосный протест.
Она, как вы ни плачетесь, ни врете,
Выводит на поверхность тот процесс,
Который тлеет, словно торф в болоте.

Смерть на войне, полезный идиот,
Неотменимый повод для почета.
Она тебе иллюзию дает,
Что ты убит не просто, а за что-то.

Бессмертие солдату не грозит,
Но ты умрешь как гордый убиватель,
Не так, как обыватель-паразит,
А как вооруженный обыватель.

Потом накроет всех одной доской –
Больших и малых, праведных и подлых:
Бессмертен подвиг в памяти людской,
Но смертны все, кто помнит этот подвиг.

А подвиг – всё: давить на тормоза,
Вытаскивать машину из кювета,
И открывать, и закрывать глаза,
И быть как я, и сочинять вот это.

Война везде, на каждом рубеже,
Хоть все мечи отдайте на орала.
Я мир застал потрепанным уже.
Всё, что я видел, только умирало.

Не надо привыкать к цветам, котам,
Соседям, окнам, запахам, посуде.
Вот был мой дом. Меня любили там,
И там теперь живут чужие люди.

Мы все живем в аду. В его жару
Все сплавилась, сравнялись злой и добрый.

Разрушат все дома, где я живу,
И мне давно плевать, какую бомбой.

И я признаю всякую вину,
Но незачем в ответ орать истошно:
Мол, ты в тылу... тебя бы на войну...
Я на войне. И не вернусь уж точно.

Новые баллады

Пятнадцатая

Несмотря что сейчас
Так угрюмо, бездарно, удушливо,
Если будут не против соседи, земля и вода,
Мы могли бы построить для всех
Золотую Россию Грядущего,
Без кнута и суда,
Для любого, кто хочет туда.

И все стукачи и стукачки,
Кухарки и прачки,
Каторжанин, прикованный к тачке,
И висельник, взорванный в тачке,
Ценители течи и сучки,
Бухла и жрачки,
Служители тайных служб и жрецы айти,
Не дожидаясь полочки,
Не клянча подачки,
По праву рожденья могли бы туда войти.

Никто не хочет?
Ну, хорошо-хорошо...

Средь изгоев изгой,
Среди гонимых гонимые,
Мы летим, как снег,
Под безжалостный хор планет.
Нам бы клочок земли —
Без воды, без травы, без имени, —
Чтоб построить на нем Россию,
Раз места в России нет.

И все разбойники и охранники,
Циники и охальники,
Кнуты и пряники, диски и многогранники,

Крыжовники и багульники, ягели и лишайники,
Любители суммы и разности, праздности и труда,
Без шума и паники, без шуточек о «Титанике»,
Без тени стыда
Могли бы войти туда.

Никто не хочет?
Ну, хорошо, хорошо!

Мы не просим любви,
Надежд уже не питаем мы,
Презирается наш зарок,
Забывается наш язык...
Нам хоть край земли,
Хоть остров необитаемый:
Если люди не верят,
Попробуем жить без них.

Чтоб худшие виды всего живого и сущего,
Грызущего и ползущего, жующего и ревущего,
Все то, что в землю забито, в воду опущено,
Все то, что внушает злобу и будит страх, —
Сыскали приют в Золотой России Грядущего
И чувствовали себя на своих местах.

Никто не хочет?
Ну, хорошо!
Хорошо!

Проспали свою Итаку мы.
Просрали свою атаку мы.
Полагаться на милость потомков?
О, не мели.
Но трех-то аршин,
В конце положенных всякому,
Никто у меня не отнимет.
Они мои.

И тогда в пылающей бездне,
По слову Тютчева,
Там, откуда уже не выгонят никогда,
Я построю свою
Золотую Россию Грядущего,
И со временем все попадут туда.

Да.
Да.

Цвейг отравился вероналом
И отравил жену,
Хоть дело было бы за малым –
Пересидеть войну,
Поскольку после Сталинграда
Случился бы подъём,
И гибнуть было бы не надо –
Тем более вдвоём.

Когда земля погрязла в войнах,
В окопах и во вшах,
Чреда уходов добровольных –
Неблагодарный шаг.
Спроси хоть ксендза, хоть раввина –
Грешно кончать с собой,
Когда планеты половина
Шагает на убой.

Не дотерпел до Сталинграда,
Австрийский автор Цвейг,
Эстет, творец второго ряда,
Любимец белошвейк.
А поскрипел бы, как другие,
Под бременем труда,
И мог в припадке ностальгии
Вернуться... но куда?

А вдруг не слабостью, а силой
Представиться могло б
Презренье к страсти некрасивой
Пережидать потоп?
Что, если это было жертвой,
Десант в страну теней,
Причем двойной, мужской и женский,
Чтоб приняли верней?

Пока ликующая свора
Рулила двадцать лет –
Мы столько вынесли позора
В надежде на просвет!
Все потому, что нет позера,
Эстета старых школ,
Который скажет, что позора
Довольно, я пошел.

Зачем покорно существует
Здравый экспат Цвейг,
Когда повсюду торжествует
Бравый солдат Швейк,
Собой заполнивший окопы
Пустых, как вата, лет,
Могилы сбрендившей Европы,
Куда возврата нет?

Среди горящего металла
Крушителю миров
Лишь их двоих и не хватало,
Чтоб переполнить ров.
Сползла коричневая ересь,
И мировое зло
Двумя австрийцами наелось
И тут же отползло.

А мы-то, нынешние, ну-тка!
В потоке проливном
Все хнычем: вот, еще минутка –
И будет перелом!
Нам как-то кажется безвкусно
Швырнуть в кровавый фарш
Свое имущество, искусство
И спутниц-секретарш.

Ведь кто утешит наших старцев?
Почешет наших псов?
Без нас не будет наших стансов,
Заветных наших строф –
Без нас никто же не напишет
Всю эту ерунду,
Которой выкрашен и вышит
Любой наш день в аду.

Вот потому оно все и длится
Без цели и конца,
Во тьму соскальзывают лица,
Лишенные лица,
И в свой окоп маршируют Швейки,
Расшатывая стих,
И ноют бледные белошвейки,
Оплакивая их.

В небе белая полоса,
Инверсионный след,
Висит последние полчаса,
Слабо меняя цвет.

Она становится все темней,
Переходя в ночь.
Я могу наблюдать за ней,
Не торопясь прочь.

Я могу наблюдать цвет
Неба, песка, ветрил.
Смысла больше ни в чем нет:
Если и был – сплыл.

Ни прошлого нет, ни будущего,
Настоящее вот:
Как ни трясешь, ни будишь его –
Безмолвствует или врёт.

Решать решительно нечего,
Спешить не знаю куда,
Всё обезчеловечено –
Небо, песок, вода.

Так смотрит, шорохи слушая,
Задумчивый азиат –
Узнать, как выглядит сущее,
Из коего смысл изъят.

Ни звука, ни понимания,
Но всё продолжает течь
От всякого препинания
Очищенная речь:

Исхода не испорчу
Всё рухнуло в ничью
Чем хочу закончу
С чего хочу начну

В небе белая полоса
Белая полоса
Упраздненные полюса
Мёртвые голоса

Вырождающийся прибой
Дальние паруса
И хорошо что у нас с собой
Копченая колбаса

Пособие как выйти из ужаса

март, 13

вот пособие пособие
как выйти из ужаса пособие вот пособие
как выйти из ужаса и продолжать жить
вот пособие как выйти из ужаса и продолжать жить
и смотреть в окно пособие
как выйти и продолжать и смотреть в окно и обедать
и продолжать
вот пособие как выйти из ужаса и продолжать жить
и смотреть в окно и обедать и смотреть новости
вот пособие как продолжать и смотреть в окно и обедать
и смотреть новости и проверять уроки и укладывать спать

вот пособие как не остаться одной одному

- через какое время мы привыкаем к войне?
- примерно на восемнадцатый день

надо же как-то жить говорят
и продолжать говорят
да говорят держись
береги себя

вот сборник самых отличных ужасных
примеров, как выйти
из ужаса и продолжить жить
по мотивам давних стихов и сказов
т. е. подсобных пособий

вот пособие как
выходить из ужаса смело и идти дальше
вот пособие как из ужаса выйти и продолжать

вот выхожу
и продолжу
и буду смотреть в глаза
смотреть в лица смотреть в глаза
не видеть не помнить не думать
о той маленькой девочке совсем еще

в разорванном нет не помнить
нет!

вот пособие как
вот
если страшно
как выйти

и продолжать
и жить
и смотреть
и жить

#апрель, 16

вот фильм вот труба вот газеты вот поезда вот гроб вот
свидетели вот милиция вот церковь вот девушка вот
звонок вот она и вот вот

вот
50 и вот они 50 поел 50 болит голова 50 я устал
50 будут проблемы 50 не хочу

50 70 100 400 450 451 спать!

я умею
вот то что теперь
вот вся эта хрень

как дойти до комнаты до кровати до дивана до вот этого
до этого
вот до этого
до нулевого

вот солдатик вид сверху
в прямом эфире
вот он бежит прячется
вот на него летит падает
попадает
я это вижу
это я его убиваю

май 14

.....
.....

ноябрь, 15, 16, 17

как выйти из ужаса?
как выйти когда он везде?
как выйти из ужаса и продолжать жить?

как ничего не бояться?
как не бояться жить в аду?
из ада так просто не выйдешь
на шее всё время адский петух

и что делать, когда петух прокукарекает и время
остановится
и адский колокол забьётся
откуда нам знать что петух не звонит в последний раз
и ад выключится?

как быть когда петуха не слышно и не видно?
как быть когда адский звон превращается в колокол?
руками не дотянуться.

как вырваться из ада?
куда бежать?

почему петух при жизни кричит почему и зовёт на помощь
а после смерти начинает выть и выть, пока не догорит,
постепенно забирая с собой кого-то ещё

когда замолкнет звон?
когда ад закроется?

кто победит ад
кто победит ад при жизни?

конец света?
апокалипсис?
воскресение плоти?
рай с небес на землю?
такая простая вещь как ад

чёрт возьми, как выйти?

какой исход мучительнее:

3 года выходить из ужаса или всё время или жить в ужасе с петухом?

или просто жить в адском звоне адского петуха, ничего не делая и лишаясь всего?

получается, выйти из ужаса можно только в другой ужас?
а вдруг другой ад ещё страшнее этого ада?

получается, в следующем году ад будет ещё страшнее?

или, получается, что нужно просто отказаться от петуха?
и откуда нам знать, что петуха больше нет?

декабрь, 14

вот пуговка
вот тютелька
вот ты
вот они

яйцо
плёночка
тютелька

вот мама
вот я
вот мы

вот кто мы
вот где мы

.....
.....

вот солдатики
вот прямой эфир
вот 294-й день
конца света

ЕЛКА-ZOOM

памяти Ю. Левитанского

а помнишь?	
где-то там	да
далеко-далеко	далеко-далеко
за этим окном	
давным - давно	тогда
	да давно - давно
еще до того	давно да
как мы	
родились	я помню
помнишь	я кажется
помнишь	все помню
	всё
я слышу	все
всё	всё
всё что	что было
было	
	да когда-то
но	в прошлом
почему	но
почему-то	да
мы	почему-то
мы с тобой	да
не вспоминаем	не знаю
ни о чем?	я не знаю
сейчас это так	да так
странно	странно
	да
так	это
странно	<i>stranno</i>
и неправильно	<i>strange strange</i>
	может
как	может это
быть	так всегда бывает?
если	да
даже	
воспоминания	прошло
уже забыты	слишком
	много

прошло	лет
слишком	
мало	
слишком	да мало
пролетело	минута
а мне	
хочется	да
вспомнить наши	улыбки
улыбки	
разговоры	да
чувства	смех
планы	да
вместе	у нас было мало
навсегда	времени
сколько	что?
прошло	да
времени?	пролетело
да утекло	
исчезло	растворилось
растворилось	исчезло
куда оно делось	куда оно
наше	делось
время	да вспоминать
прогулки	разговоры
смех	вместе
навсегда	сколько времени?
столько	да
времени	прошло
прошло	pro-le-te-lo
утекло	
растворилось	куда
исчезло	оно
где	делось?
ты	а где ты была?
был?	
я с тобой	и я
я была с тобой	как же нам
в моих	
мечтах	было
нежно	хорошо

обнимая целуя
шепча
с тобой
нам
с тобой
всегда

я всегда

я
буду скучать
то тебе
мой любимый
мой
сердце
мое
самый
мой!
мой
герой
хранитель мой
счастье мое!

мало
времени
мало

а вечность?

сказка?

да

да

праздник

была
радуга

река
лето

тогда

нам было
хорошо
вместе
да всегда

и я

люблю
любимая
моя
самая лучшая
девочка
моя
солнце мое
душа моя
радость
ангел
солнце мое
принцесса

да

времени
мало
жизни
мало
может это
и есть?

чудо
чудо что мы

а помнишь?
помню

обрыв
цветы
луна
птицы

мало
мало

пролетело
пролетело

не плачь
не

алло
алло!

птицы
птицы
птицы

Этот мир ещё сгодится

**К награждению Владимиром Путиным главы КНДР
Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»**

закурю я что ли капучино
обопьюсь убойною травой
наградили нынче ким чен ына
памятной медалью боевой
за его гвардейскую осанку
за его варшаву и берлин
за его помятую гражданку
и южнокорейский вазелин
чтобы знал гаденыш узкоглазый
вкус победы дедов и отцов
чтоб коронавирусной заразы
не чурался глянцева и пунцов
чтоб стоял зализывая раны
стражем у всемирной буровой
чтобы не старели ветераны
ни второй ни прочей мировой

Кто виноват

оторвали мишке когти обломили мишке зубы
общипали мишке брови и покров волосяной
откусили мишке ухо отпинали мишке почки
нос сломали монтировкой бельма выжгли кислотой
все суставы раздробили жилы все понарезали
печень выгрызли из тела лимфу слили в три ведра
кровь в цистерну нацедили и в еще одну цистерну
и в болгарию послали с ярлыком медвежья кровь
сердце мишкино живое из груди его достали
и сожгли живое сердце в радиоактивный пепел
в душу мишке наплевали укусили мишку за нос
разорвали мишке анус на большой фашистский крест
не придется больше мишке погонять соседских свинок
и со стерхами подсвинков не придется погонять
то-то мишке так тревожно то-то мишке так тоскливо

руки ноги всё смешалось не осталось вовсе лап
нечем мыслить нечем кушать нечем самовыражаться
нечем гадить нечем бредить нечем за голосовать
злая сука исказила лик трагический героя
ты зачем такая сука тетя агния барто
ты же знала как всё будет ты же как слепая ванга
отчего же лишь про лапу ты рассказывала нам
вот виновник всех несчастий вот ответ на все вопросы
это злой советский гений львовна агния барто

Жил да был с тоскою зверской
с бакенбардой от бровей
Пушкин, е*нутый имперской
одержимостью своей.

Прадед Пушкина по маме
был не то чтобы славян,
но приучен был царями
принимать различных ванн.

Сам же Пушкин обучался
всевозможнейших наук,
с Гончаровой повенчался
и имел немало внуков.

Баб дворянских на перину
он десятком завлекал,
а на мать Украину
всяких сплетен навлекал.

Знал французский, но по фене
совершенно не трендел
и Онегина Евгени
я придумывал меж дел.

Был убит на речке Черной
посреди расцвета лет,
где Дантес рукой проворной
вынул черный пистолет.

Так почил он на природе.
Несмотря на то да сё,
после признан был в народе
несомненным нашим всё.

докладываю вам главнокома
ндующий скоро кончится зима
пора пролить чернил и полно плакать
воронеж не единожды разбит
настало время обустроить быт
и жадными клыками впиться в мякоть

спешу заметить вам мой главноко
мандующий мы бьем не в молоко
коль суждено империи родиться
возвысим чувства до разделов прим
и скрепою укропы окропим
как говорится скрепа не водица

при всей такой оснастке главнока
мандующий верховный мой пока
какая-то неясная печалька
общественность не пляшет гопака
с борщами у резного камелька
снедаема зависимостью алко

мы вляпались мой главнокоманду
ющий в совсем дурное катманду
ипать мои седые джавелины
но ведь еще не взорван тот клозет
где мы поляжем в виде буквы зет
суровы непреклонны и былинны

похоже так любезный мой главно
командующий нас вымесят в говно
пора забыть о домике в мацесте
пустоты не таят в себе природ
и бесполезен сероводород
когда тебя избыток в грузе двести

а напоследок я скажу мой гла
внокомандующий что жизнь игла
мы на нее подсели так растленно
и человек ты правый или тля
нас приняла не мать сыра земля
а пара метров полиэтилена

только бросишь взоры вверх и
ты увидишь как вдали
проплывают гордо стерхи
по-над брэнностью земли
обусловливая вежи
силой крыльев маховых
унесите орков стерхи
с предводителями их
чтобы даже сквозь рогожи
не вздымались в куражи
эти взбыдленные рожи
эти вздыбленные лжи
унесите всех их птицы
в область что вне времен
этот мир еще сгодится
он не так уж и говен
мы еще его отстроим
даже лучше во сто крат
только вы могучим строем
унесите орков в ад
на вечерние поверки
да козлиные бои

ой вы стерхи мои стерхи
ой вы лебеди мои

беспартийный товарищ Иван Ползунков
приспособил к мотыге грузило
от макушки до шейных его позвонков
инженерная мысль поразила

эффективность труда возросла на пятна
дцать и восемь десятых процента
и в обед бригадир нафильтрует со дна
алкогольного ингредиента

можно в принципе жить только сука фандун
задирает недельные нормы
и свербит нарисованный Мао Цзе Дун
как продукт долгожданной реформы

а ведь ляг хоть чуток по-иному расклад

оттого и в тоске злое*учей
жизнь была бы не жизнь а сплошной шоколад
знал бы прикуп Иван жил бы в Буче

эта горечь кипит раздувает бока
растекаясь все выше и выше
не сплясать гопака не вступить в КПК
вроде был ВПК да весь вышел

как сложился такой с позволенья дуплет
видно дело тут не в палянице
и спокойствия вот уже несколько лет
нет на финско-китайской границе

Нине Демази

1

- А помнишь наш свадебный танец? Наутилус «Я хочу быть с тобой».

2

и вот когда окончился шабат
и граждане к мангалам норовят
поскольку все мы вышли из шабата
припасть пожарить выкушать и съесть
друзья позвали я ответил есть
но вяло тяжело и виновато

как характерно свойство этих встреч
и все невнятной становилась речь
в особенности русского разлива
за множеством натыканных столов
и мяса дух витал по верх голов
и песнь многоголосая сквозила
соседи справа шумною толпой
играй моя гитара пей и пой
грассировали я хочу с тобой
я так я так я быть хочу с тобой
и это отзывалось не слезливой
но ранюю сердечной ножевой

а воздуха застывшая слюда
была непроницаема казалось
мы столько раз навеки расставались

но в этот бесконечно навсегда
тот пьяный врач был прав и дело дрянь

не умолкай картавь моя гортань
о том как мне хотелось быть с тобою
визгливою и вирусной порою
где парк шашлычных дел себе потел
и тихий ангел в небесах бестел

Памяти Алексея Цветкова

история свойства такого
про то как однажды с клюкой
привез я поэта Цветкова
в больничный приемный покой
сквозь ряд медсестер волооких
вступили мы в этот раздрай
а что воспаление легких
так это раз плюнуть считай
сестрички замерили сходу
давление крови и пульс
поддали дышать кислороду
без всяких возвышенных чувств
дыши Алексей мол Петрович
не кашляй не порть эпикриз
а Леша был очень настроен
сказать что теперь зае*ись
но в силу корректности стилия
присущей ему испокон
он молвил порыв переселя
большой вам сердечный поклон
и молвил так дивно так верно
увесисто так и ново
что все отделение нервно
сбежалось смотреть на него
а Леша с кровати-каталки
махал им в смущеньи рукой
и сыпались с неба фиалки
в больничный приемный покой

историям свойственен все-же
какой-никакой а финал

мы вышли накрапывал дождик
Алеша хот-дог уминал
планета была небезвидна
над миром вставала среда
и буркнул Петрович ехидно
а на хер я ездил сюда

чернильница исполнена чернил
дневной пейзаж в окне ночной сменил
похлупывает в слог клавиатура
а что брат Пушкин windows не порок
и расплескав по монитору строк
он сам себе бормочет все халтура

поди сыщи от жизни панацей
добить по совокупности лицей
под самого себя состряпать пьесу
скрестить судьбу с заведомой НН
затем в апофеозе непременно
вышkolить французишку-повесу

за все и вся судьбу благодаря
любить царя жену поводыря
коллегию и далее по списку
по выходе засесть на склоне дней
в каком-нибудь из дальних е*еней
без потрясений нравственных и риску

как просто оказаться не у дел
backspace сменяет непреклонный del
я вас delete и вас чего же боле
Онегин над десятою главой
склоняется былинкой полевой
и исчезает в опустевшем поле

о как же виртуально как нигде
к перу к свечам к бумажной лабуде
флакон чернил еще почти не почат
доколе жизнь не выплеснулась вся
и он кричит подайте мне гуся
и гусь приходит и пером хлопочет

Меж двух несхожих родин

Если сможешь представить – представь себе эту беду:
Ветошь старого тела, толпу у небесного склада,
Или как через Волгу ходил по сиротскому льду,
Задыхаясь коклюшем – почти до ворот Волголага.
Рядом с хмурым татаринком в красной резине галош,
Мужиком на подшипниках в сказочном кресле военном,
И Тарзана с Чапаем представь сквозь тотальную ложь
Кинофильмов и книжек – взросленьем моим постепенным.

Если сможешь отметить – отметь каждодневный рояль,
Глинку, Черни с Клименти, и рядышком маму на стуле
С офицерским ремнём, что страшнее вредительской пули...
Раз-два-три, раз-два-три... А за пулю хотя бы медаль.
А в придачу к роялю лихой пионерский отряд
Под моим руководством, со сборами металлолома,
А помимо всего – написание первого тома
Неизбежных стихов... Неизбежных, тебе говорят!

Если сможешь забыть – позабудь сабантуй у стола,
Где Ильич на простенке, как мог, заменял Богоматерь,
И густой самогонки струя из бутылки текла,
Чьей-то пьяной рукой опрокинутой прямо на скатерть.
А в соседней квартире компанию тёртых ребят,
Где мне в вену вкатили какую-то дрянь из аптеки,
А ещё одноклассницу в свадебной робе до пят
Не с тобой, а с другим, и как в старом романе - навеки.

Если сможешь запомнить – запомни, как школьник, подряд:
Волжский лёд в полыньях, царскосельскую зернь
листопада,
Новогодних каникул сухой белоснежный наряд
И в дождливую осень сырые дворы Ленинграда.
Стихотворцев-друзей непризнанием спаянный круг,
Кульптоходы в Прибалтику в общем, как воздух, вагоне,
И как фото со вспышкой – кольцо обнимающих рук
Под прощальный гудок на почти опустевшем перроне.

Кутить, геройствовать. Бывать за океаном,
Есть устриц и рокфор, пить скотч и «Абсолют».
Общаться запросто с изгнанником – титаном
Поэзии. Нигде не ждать, когда нальют.

Работать на износ за жалкую зарплату,
Мечтать о пенсии, глотать валокордин,
Не позволять себе сверхплановую трату,
Меж съёмных и чужих скитаться до седин.

Похоже, Время спит, и только мы проходим.
Где детство в Угличе? Рай Царского Села?
Не замедляя шаг, меж двух несхожих родин
Так жизнь моя пройдёт или уже прошла.

Там бедный воздух сер, а здесь горяч и древен.
Там прожил пасынком – и здесь не ко двору.
Засохшей веткой на своём фамильном древе
Я здесь – не важно, где: в Хевроне, Беэр-Шеве -
Когда-нибудь умру

Усталым, видимо, и вряд ли слишком смелым,
Уже не издали глядящим за порог,
Где ждёт нас всех она – костлявая, вся в белом,
Всему на свете знающая срок -

Геройству, кутежам, смиряющей работе,
Диковинному сну, где вместе ад и рай,
Хулон, Кацрин, Бат-Ям, Хермон в крутом полёте,
Седой Ям а-Тихон¹ в полуденной дремоте,
Цфат, Иерусалим – и солнце через край!

Когда я ночью приходил домой,
Бывало так, что все в квартире спали
Мертвецким сном - и дверь не открывали,
Хоть я шумел, как пьяный домовой.
Я по стене влезал на свой балкон,
Второй этаж не пятый, слава Богу,

¹ Средиземное море (иврит).

И между кирпичами ставя ногу,
Я без опаски поминал закон
Любителя ранета и наук,
И – он был мой хранитель или градус –
Я цели достигал семье на радость,
Хоть появлением вызывал испуг.

Мой опыт покорителя высот
В дальнейшей жизни помогал мне мало,
Хотя утёс, где тучка ночевала,
И соблазнял обилием красот.
Но как-то так случалось на бегу
От финских скал до пламенной Колхиды,
Что плоские преобладали виды,
Я в памяти их крепче берегу.

Ленпетербург, Москва, потом Литва.
Я прорывал границы несвободы,
На что ушли все молодые годы
(И без того у нас шёл год за два
А то и за три). Как считал Страбон,
Для жизни север вообще не годен.
Тем более когда ты инороден,
И, говоря красиво, уязвлён.

Цени, поэт, случайности права!
С попутчицей нечаянную близость...
- Молилась ли ты на ночь? – Не молилась.
Слова, слова... Но только ли слова?
Под стук колёс матраца тонкий скрип,
Взгляд на часы при слабом свете спички,
Локомотивов встречных переключки,
Протяжные, как журавлиный крик.

Прощай... Потом, на даче, с головой
Я погружался в стройный распорядок
Хозяйственных забот, осенних грядок,
Деревьев жёлто-красный разнобой.
Грохочет ливень в жестяном тазу,
В окне сентябрь и в комнате нежарко.
Бывает в кайф под мягкий треск огарка
Взгрустнуть, вздохнуть и уронить слезу.

Где застряла моя самоходная печь,
Где усвоил я звонкую русскую речь,
Что, по слову поэта, чиста, как родник,
По сей день в полынье виден щучий плавник.

Им украшено зеркало тусклой воды,
Не посмотришься – жди неминучей беды,
А посмотришься – та же настигнет беда,
Лишь одно про неё неизвестно – когда?

Там живут дорогие мои земляки
Возле самой могучей и славной реки,
Ловят щуку, гоняют Конька-Горбунка,
А тому Горбунку что гора, что река.

И самим землякам что сума, что тюрьма.
Как два века назад, вся беда – от ума,
Татарвы, немчуры, их зловредных богов,
Косоглазых, чучмеков, и прочих врагов.

Да и сам я хорош: мелодический шум
Заглушил мне судьбу, что текла наобум.
Голос крови, романтику, цепи
Я отдал за рифмованные слова.

Оттого-то, видать, и течёт всё быстрее
Речка жизни моей, а, точнее, ручей,
Что стремительно движется к той из сторон,
Где с ладьёй управляется хмурый Харон,

Где земля не земля и вода не вода,
Где от века другие не ходят суда,
Где однажды и я, бессловесен и гол,
Протяну перевозчику медный обол.

В. Е.

Если это провинция, то обязательно дом
С деревянной террасой, чердак, полный разного хлама,
Небольшой огородик, ворота с висячим замком,
Вдоль забора кусты, и сарай, современник Адама.

Обязательно парк, если нет, то, как минимум, сквер.
Пара-тройка скамеек в истоме полуденной лени,
Для сугубой эстетики дева с веслом, например,
Или бронзовый Ленин, а, может быть, гипсовый Ленин.

Непрерывно река, вот уж что непрерывно – река.
Скажем, матушка-Волга, но не исключаются Кама,
Сетунь, Истра, Тверца, Корожечна, Славянка, Ока...
Плюс пожарная вышка, соперница местного храма.

Вспоминается жёлтая осень, сиреневый снег
Под мохнатыми звёздами, печка с певучей трубою.
Так когда-то я прожил дошкольный запасливый век
И уехал, с беспечностью дверь затворив за собою.

За вагонным окном побегут облака и мосты,
Полустанки, деревья в клочках паровозного пара.
И прощально помашет рукою мне из темноты
Белокурая девочка с ласковым именем Лара.

Опять во сне то Пушкин, то Литва.
Я здесь о городке, не о поэте,
Давно плывущем в мутной речке Лете.
Как справедливо говорит молва,
Книг нынче не читают. Интернет
Сегодня и прозаик и поэт.
В который раз – то Пушкин, то Литва...
Там – детство, юность, там – воспоминанья
О сбывшейся любви, её признанья,
С трудом произносимые слова
«Люблю тебя...», а дальше... Дальше дым.
Легко ли в шестьдесят стать молодым.

А я опять то в Царском, то в Литве.
Знакомых улиц узнаю приметы:
Мицкявичюса – вынырнул из Леты
На берег, не прижился, знать, в Москве.
Как я в России. Петербург не плох,
Но бог чужой – чужой навеки бог.
Так почему ж то Царским, то Литвой
Полна душа, и вздох невольный выдаст
То ветхий дом на тесноватой Ригос,
А то Большой Каприз¹ над головой.
В пространстве сна немало кутерьмы,
Вот почему в нём пропадаем мы.

¹ Мостик в Екатерининском парке Царского Села.

И всё ж я брежу Царским и Литвой
Тех баснословных лет, когда телеги
В Софии¹ и на улице Сапеги
Ходили регулярно, как конвой,
А на стене Лицея – высоко
Сушились в окнах женские трико,
Изяществом сразившие Париж
С подачи злоехидного Монтана.
Меж тем, мальчишки, зреющие рано,
На их владелиц с Царкосельских крыш
Глазели жадно в окна бань, пока
Их не сгоняла взрослая рука.

Шестнадцать лет, как я живу в краю,
Где вместо зим шаравы и хамсины².
Другая жизнь, но прошлого картины
По-прежнему смотреть не устаю.
Литва и Пушкин, Пушкин и Литва
В моём сознание близкие слова
Настолько, что их образ неделим
На гулком сна и памяти просторе.
Как две реки, впадающие в море,
Они впадают в Иерусалим,
Где я их жду на низком берегу
И от суровой Леты берегу.

Эта зелень на синем Софиевка Умань Галут Всё теплее
всё нежней исчезающий мир Это дедушка Хунэ
возле мельницы Белый от белой муки
на его голове я увидел следы Это сердце
болью давнее – дальнее Под облаками
и над ними рыдающий ветер
Тихо, внук Тихо, дедушка Умань летит
как летела накрытая талесом
Он сегодня талит - по степному безвременью
В вечное время - где ты
На картине слепой я рисую погром
разноцветный и тёплый и нежный
синий жёлтый зелёный и красный на чёрном ты слышишь
ветер мельница листья Софиевки небо под небом

¹ Район Царского Села.

² Пыльные бури (иврит).

.....

Повторяй про себя ветер Умань Галут
Умань ветер Галут Нежно-нежно не плачь тихо-тихо

если это не память то что в сновиденья приходишь
незаметно и тихо по краю души оглянись
и почувствую зной вязкий камень оазис в пустыне
тёмно-красный гранат у воды золотой виноград
о как сладко целуешь
я помню твой лёгкий портфель
озорную картавость нездешние комиксы фото
конфирмации в белом с корзинкой цветов словно феникс
голубица с оливковой веткой прощай мой ковчег
на библейской горе мне осталось заснуть и проснуться
в том небесном эдеме где пишут сценарии снов

** *

На семейном старом фото
Улыбающийся кто-то –
Щёки видно со спины.

Видно, был фотограф мастер,
Был он спец по этой части,
Просто не было цены.

Всё бурчал он: «Тише едем...»,
И меня с моим медведем
Папа на колени взял.

Сколько лжи во взрослом мире!
И разинув рот пошире,
Я напрасно птичку ждал.

Дни идут, года мелькают,
Птичка всё не вылетает,
Мне, как видно, на беду.

Простучат по крышке комья...
До сих пор с открытым ртом я
Птичку – сволочь эту – жду.

Памяти отца

Когда мне было пять лет
Мы с родителями отдыхали на базе отдыха
Ранним августовским утром
Мы с отцом пошли к реке
Там был плавучий бассейн и отец сказал
«Не подходи к краю»
Я подошел к краю как можно ближе
Засмотрелся на облака
И сам не заметил как упал в воду
Плавать я не умел
Но и тонуть я не умел
Поэтому я просто смотрел
На мир под водой
Я видел рыб
Людей в масках и с лапами
Видел русалок и одноглазых пиратов
Сокровища
Звезды барахтающиеся в водорослях
Капитана Немо
Подсолнухи и речных бабочек
Со сломанными узорами времени на крыльях
Никогда больше мне не дышалось так легко
И тело не было домом-гробом
Который нужно по-улитовски волочить за собой
Я видел большую руку моего отца
Она схватила меня за волосы
И вытащила из воды
По дороге домой папа сказал
«Не говори маме что упал в воду»
Едва увидев еще сонную маму
Я бросился к ней и в восторге закричал
«Мама я упал в воду»
Мама, я и сейчас иногда падаю.
Только я научился тонуть,
И разучился видеть многие вещи.

Пикассо у моря
Собирает цветы
Собирает цветы
И гора Виктория
Пиком врезалась
В колесо зари
И вдали разбилась
Грозовая молния

Пикассо у моря
Быстрее волн
Быстрее волн
Двигется история
И эспрессо льет
Словно краску он
Пляжа полотно
Полдень. Меланхолия

Пикассо у моря
Глубоко внутри
Глубоко внутри
Герника и Троя
Сети рыбаков.
Вечер. Корабли.
Время — бой быков
С гибелью героя.

Губы, когда-то дарившие поцелуй,
Теперь необитаемый остров
В бескрайнем море лица.

Они ждут своего Робинзона
Или пиратского корабля,
Любого кораблекрушения,
Чтобы быть не одни,

Губы – коралловый остров
На самом краю земли.

За горизонтом пусто:
Ни флага, ни паруса,
Не выстрела пушки.
Берег, забывший следы человека,

Перебирает ракушки
Как нищий свое подаяние,
Как мусульманин – четки,

Губы, потрескавшиеся от ветра,
Все еще строят улыбку – лодку.

Зима нас не переживет
И снег облезет.
И дворник в свой карман,
Как в черную дыру залезет,
Провалится рука,
За ней и тело,
Алисе в стране сплошных чудес
Осточертело.

По правилам игры
Еще не раз здесь воплотимся
И ту еще составим пару:
Ты будешь Каин, я буду Авель,
Но только бы не снова эту кару,
Когда была ты солнцем,
Я – Икаром.

С тех пор диск солнечный
На граммофоне неба
Играет только вальс
Тюремного побега,
Скитальцы-пальцы в волосах застряли,
Их между лбом и носом обшмонали.

Да, ты живешь в моем лице,
Как облака живут на дне реки
И иногда их ловят рыбаки
И делают уху
С настойкой из тоски,
Для вкуса прибавляя число Пи.

Скорее выздоравливай, Алиса!
Забудь хандру.
Я попрошу волхвов на рождество
Доставить нам халву,
Горячий чай и дерево лимона,
Не бойся, в этот раз я не Отелло,

Ты не Дездемона.
И может, наконец, падет проклятье,
И домом станут для меня
Твои объятия.

Я видел по радио свои сны
И не один из них не сбылся.
Видимо, волны искажены
Видимо, грех мой еще не смылся.
Я ходил на кладбище телефонных звонков,
Приносил цветы, вспоминал твой голос,
Разматывая километры слов,
Находил времени седой волос.
Ты знаешь, когда-то в раю был сад,
Но червяк завелся в его плодах
Люди голодные до любви,
Впрочем, ели их прямо так.

Конец света

Это имя горькое,
Что идет босиком
По осколкам прошлого,
Что присваивает себе
Далеких и близких,
Что вспарывает смысл
Как вену
И дает жизни течь
Это имя, что приемлет род,
Но не рот,
Имя-тьень,
Накрывает изголовье постели,
Где лежит мой отец.
Лодка приготовлена,
Волны пустыни бьются
О борт,
Зеркало черно
От песка странствий,
Треснувший свет
Бежит по стене
К своему концу.

НОН-ФИКШН

Наталья Громова

Хроники беглого литератора

20 февраля 2022

Кажется, вернулся 2014 год, который мы старались отогнать всеми силами. Он вернулся сразу и ко всем. Оказалось, что это был пропущенный урок Большой Истории, но мы его не поняли, и поэтому всех оставили на второй год. Европу и Америку, потому что они решили не замечать агрессию России. Нас – за то, что хотели и дальше спокойно жить.

Я уверена, что вторжение России не случилось в 2014 году только по одной причине: те несчастные люди в малазийском Боинге заплатили жизнями за передышку в 8 лет. Они стали первыми жертвами, которые остановили массовое вторжение в Украину. Это моё личное мнение, которое я никому не навязываю.

Кроме того, если кто-то в Украине думает, что у нас в России не шла и не идёт всё это время война - он глубоко заблуждается. Убийство Немцова, отравление Навального, поиск иноагентов, невозможность больше выйти на улицы и протестовать... И наше тихое сопротивление. Оно идёт. Наши дети были под судом. Сколько уехало, скольких уволили с работы... И всё это только нарастает.

Для России трагедия именно в том, что, презрев память о миллионах погибших за прошлое столетие, - она выбрала себе в президенты чекиста. И метафизически получилось так, что она тем самым словно выстрелила в себя, - но ещё жива. И ей надо бы, не погибнув совсем, успеть понять, что с ней произошло, и стряхнуть с себя этот кошмар. Страна в тяжёлом беспамятстве. И отсюда все беды. Возможно, создавая катастрофический сценарий, нынешняя власть её каким-то образом разбудит. Однако, разбуженная и раненная, - неизвестно, что она может сделать...

Я пишу это только для того, чтобы попытаться понять; потому что другого мне не остаётся. Лев Шестов и Мераб

Мамардашвили очень любили мысль Паскаля: «Агония Христа длится вечно, и всё это время нельзя спать».

17 апреля

Я бежала из Москвы, из России 4 марта. Сейчас в Варшаве. Дышать уже было нечем. Мир схлопнулся.

Здесь я живу на краешке чужой жизни, в чужих углах. Но меня это перестало волновать. Боль переместилась в Украину. Потеряны смыслы и координаты. Размагниченная стрелка компаса крутится и не может остановиться. Всё рухнуло в одночасье. Дом, работа, книги... Я всегда знала, что расслабляться нельзя. Книги шли, выставки получались как нельзя лучше, несмотря на все трудности. Но маховик войны, который уже был запущен, не мог остановиться.

7 марта

Ехала в автобусе с удивительной украинкой. Немолодой, красивой, сошедшей с иллюстраций к гоголевским «Вечерам на хуторе...». Она везла невестку и внучку к знакомым в Италию. Испуганная девочка всё время тихо плакала (они вырвались из-под бомбёжки Киева). Женщина говорила, что отвезёт их и вернётся к своим под Киев. Там в теробороне сын и муж. Она высадила много цветов возле дома, и должна за ними смотреть. И ещё она кормит птиц; и воронам крошит кусочки сала. Я удивилась.

- Ну, как же, - говорила она, - птицы нам принесут мир. Они всегда исчезали перед бомбёжкой. И мы прятались. А потом вороны возвращались и смотрели с крыши.

Она все время смеялась.

- Седьмого марта должны бы закончить. Почему? У меня день рождения. Это будет мне подарок.

Показывает икону Почаевской Божьей Матери.

- Она нас от татарского ига спасла, и сейчас спасёт!

Расстались в Вене.

А ещё она меня всю дорогу спрашивала:

- А чего он от нас хочет? Чего?

8 марта

Всё больше чувствую, что живём в хоть и страшные, но библейские времена. Внутри Большой Истории. Именно поэтому поведение каждого отдельного человека отразится на его судьбе и судьбе его потомков. Каждая подпись за убийства - станет грязной несмываемой печатью. Просто надо это знать. Занятия историей советской литературы

многое мне показали; в том числе и крест, который несли потомки. Но сейчас всё гораздо серьезней.

Люди думают, что «Дракон» Шварца — это сказка. А Шварц говорил, что это самая что ни на есть правда. Потому что в ней вывернуто наизнанку жалкое, трусливое нутро людей. И все узнают себя. Когда им запрещают смотреть вверх, чтобы не видеть, как у Дракона летит отрубленная башка. Жители спрашивают друг друга: а детей ещё любить можно? А кошек гладить нам позволено? Это про наш сегодняшний народ. Не уверена, что он излечим.

3 апреля

Открытое людоедство делается возможным, и преступления холопов покрываются, потому что на другом конце этой цепи сидит упырь с ядерной кнопкой. Во всяком ином случае - ответ за злодеяния в Буче, Ирпене и других местах прилетел бы немедленно. Ядерная кнопка развязывает руки не только упырю, но и любому насильнику и убийце. И разрешение этого глобального, общечеловеческого кризиса - главная задача нашего времени. Кстати, именно эту проблему обозначил Даниил Андреев как самую главную в предисловии к «Розе мира». Затем и писал книгу во Владимирской тюрьме. И над решением этой проблемы должны биться сейчас лучшие умы человечества.

1 апреля

Казалось, что П. Я. Чаадаев предупреждал про страшный урок октябрьской революции 1917 года. Но оказалось всё серьезнее. Скорее, это наставление сегодняшнее.

«В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас ещё живём для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдалённым потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке».

И ещё. Повторять и повторять.

«Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит в том, что мы всё ещё открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не

принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя».

2 апреля

История делает свою работу. Наш дракон падёт только тогда, когда выполнит задачу по полному и безоговорочному самоуничтожению советской империи в России. Если бы происходящее не было таким страшным, то можно сказать, что исторически это самосокрушение - поистине захватывающее зрелище. Нет ни одной области жизни, которая бы теперь не разрушалась. С каким-то неистовством разбивается всё: культура, наука, ложные человеческие связи, ложная церковь, армия, придуманная история, экономика, медицина, строительство и т. д. Чтобы никому и никогда не захотелось вернуться к безумным планам советской империи. Чтобы не осталось от России - дракона - камня на камне. Чтобы всё стало уже другим.

Сейчас они проводят самолюстрацию. Чтобы каждая их физиономия, каждое их слово отпечатались в нашей памяти, как следы оспы на теле. В удивительное время мы живём!

5 апреля

Все разговоры о русской культуре сейчас, именно сейчас абсолютно неплодотворны. Когда мы наблюдаем нашествие варваров на цивилизацию, странно спрашивать: а облагораживала ли этих варваров русская культура? Оттого, что Шойгу строгаёт деревяшки, а кто-то за него пишет рассказы; Нарышкин посещает музеи и снимается на фоне Пастернака; кто-то повторяет по бумажке Бердяева - можно ли говорить, что они имеют отношение к русской культуре и культуре вообще? Для этой верхушки и их прихлебателей - человеческая жизнь не стоит ничего. И в этом отличие варваров от цивилизованных людей, это корень проблемы. Жизнь отдельного человека не стоит ничего для Прилепина, Ольшанского, Холмогорова и иже с ними. Они мыслят захватами и набегами, делением территорий. Люди там - пешки, которых им не жалко.

Для европейской цивилизации человек - основа культуры. Она шла к этому долго и через море кровавых войн. Но можно сказать, что христианская цивилизация с её

отношением к душе человека как к божественному сосуду, в Европе победила.

Русская литература и язык — это последнее, что скрепляло собой огромное, растёкшееся существо под названием Россия. Сейчас, когда наносится удар по Украине, происходит - как с топором Раскольникова, который бил обухом по старушке, а лезвием - по себе. Раскольников, как мы помним, свою душу уничтожал, убивая старушку-процентщицу. Так и с Россией. За её самоуничтожением последует распад, затем распадётся культура и язык. Будет Тукай вместо Лермонтова, будет Кайсын Кулиев вместо Пушкина; в конце концов, это дело самих людей, которые будут говорить на своём языке, на своей земле.

Что же касается литературы русской и даже советского периода, то история показывает, что она по большей части была литературой постоянного сопротивления власти и попыткой обрести свободу. Как известно, герои Булгакова, Мастер и Маргарита, кончая с собой в конце романа, выбирают именно свободу и любовь, а не работу в хорошем издательстве и хорошую квартиру. Такого рода истины остаются. И всё, что есть в литературе ценного, никуда не исчезнет. Мировой культуре в широком смысле не так важно - русская она или не русская, она примет всё лучшее в себя.

6 апреля

Все эти дни Украина и мой сын следили за судьбой четырёхлетнего Саши, который перебирался с бабушкой ещё 10 марта на лодке через водохранилище. Бабушку нашли в лодке убитой, а маленький мальчик исчез. Он плохо ещё говорил. Надеялись, что кто-то его спас и взял с собой. Вчера его тело нашли. Он был убит. Псы войны могут быть довольны.

Вчера же Прилепин выложил ссылки на своих кровавых собратьев в своём телеграме. Там десятки имён, но не хочется тратить место и всех перечислять. Я только очень хочу, чтобы им всю оставшуюся жизнь снился убитый ими четырёхлетний мальчик Саша, который был бы жив, если бы 24 февраля они бы не напали со своим упырем на Украину.

7 апреля

Жила в одном доме с беженцами из Краматорска. Оттуда бегут толпы людей. Жители этого города натерпелись бед ещё в дни прихода Гиркина.

Доброжелательные люди, муж и жена, месяц назад отправили своих детей и внуков через Польшу в Голландию, в город Дельфт, где молодая часть семьи получила небольшой домик, возможность учить детей в школе и полное обеспечение. Но что удивительно: и младшая, и старшая часть семьи не хотят жить в Голландии, а мечтают вернуться в свой прекрасный Краматорск. Петр, - так зовут старшего - рассказывает о своём городе, как о самом прекрасном месте на земле. Если бы не война...

И вот я, слушая их, понимаю, что такое настоящая связь с землёй. Эти люди всегда чувствовали, что это их земля и их небо, - как и многие другие украинцы. Для русских людей это давно утрачено, уничтожено - не только вместе с убитым в красном терроре и в лагерях крестьянством, но генетически, со времён орды и Ивана Грозного. У русского человека на земле ничего нет, как бы ни клялся он именем родины. Только туман чужих идей, воровство и смерть. Каждое новое поколение пытается хоть как-то закрепиться, то создавая институты памяти, то краеведением, то магазинчиком или кафешкой. Но приходит грубая сила и всё сносит. И опять голое, лысое место на земле.

Легко хватать, рвать чужое, когда у тебя самого ничего нет. И тогда любая земля для тебя полна врагами и предателями. Голова пуста, сердце ушло в пятки, а руки привычно загребают и убивают.

8 апреля

Кажется, будто смотрим очень плохой триллер. Сценарист лепит сюжет, даже не думая о связках. На фоне пышных похорон одного из главных вурдалаков, а может, и в его честь, лупят из ДНР «Искандером» по толпе эвакуирующихся женщин и детей из Краматорска. Пышные похороны упыря - полное признание чекистско-бандитской природы покойного.

Бойня в Краматорске - отсылка к началу войны 2014 года. Пребывание Гиркина в Славянске и Краматорске, и крушение «Боинга». Бессмысленная и демонстративная жестокость призвана, видимо, повязать часть армии, которой необходимо будет теперь биться на укреплённых

ВСУ позициях Донбасса. Чтобы не смели сдаваться. Это такой современный СМЕРШ.

Но Бирнамский лес всё ближе. Скоро он двинется.

21 апреля

Довоенная политология провалилась, потому что строила свои прогнозы и утверждения, опираясь на выводы логики. Но в один миг оказалось, что мы имеем дело с иррациональной путинской войной и иррациональным путинским народом. Когда встреченные мной украинцы спрашивали: «Зачем?» - можно было только развести руками. Но раздумывая над этим парадоксом, я понимаю, что адский абсурд путинизма может объяснить только литература и история (лучше бы в изложении Ключевского), а не современная политология. Замятин, Платонов, Зазубрин, Хармс, Заболоцкий, Шварц, Булгаков, Пастернак и Мандельштам, и многие другие уже в начале XX века проанализировали иррациональность русской души. Ужаснулись ей и показали её путь.

И при этом наша культура и литература в своих лучших проявлениях всегда стояла на стороне отдельного человека, хоть маленького, хоть и лишнего, - но не государства с его Медными Всадниками и Угрюм-Бурчеевыми. В этом она была европейской, а государственная идеология чаще всего была ордынской, дикой и античеловечной. Поэтому мне кажется, что культуру им отдавать нельзя. Её необходимо из-под этого самоподрывающегося государства вытаскивать. Это государство во все времена сживало со свету и сжирало лучших писателей и художников, которые раскрывали его адскую иррациональную сущность.

22 апреля. Пасхальное

Прежней жизни уже не будет. У всех абсолютно. Те, кто стараются по инерции длить её, делать вид, что всё как-то пройдёт, переживётся, - обманываются напрасно. Наступает, как говорила Ахматова, не календарный, а настоящий, только уже 21-й век.

Что я поняла, находясь в Варшаве? То, что здесь всё делается при помощи низовых, сетевых, волонтерских связей. Что свободные люди могут свободно делать добро, помогать нуждающимся сами. Государство просто не мешает. Как оно помогает — это отдельный разговор. Но главная ценность - люди, причём по обе стороны, поляки и

украинцы. Они наводят мосты, спасают, утешают, лечат, расселяют. Россия имела только зачатки этого опыта, но он был благополучно задушен в середине двухтысячных.

Что я поняла в Израиле? Я попала сюда прямо к началу Песаха, и слушала много рассказов о выходе еврейского народа из египетского рабства и об обретении им свободы. Главный еврейский праздник посвящён свободе. А затем будут другие праздники, где горечь от потери миллионов погибших сменится радостью обретения новой жизни в старом-новом государстве. И так - от смерти к жизни, от слёз к просветлению.

И вот под этими небесами теперь была и Христова Пасха как обретение свободы внутреннего человека. И горечь оттого, что Россия пролетела мимо этих станций, околдованная рабством, привыкшая к рабству, как к уютному, давно истлевшему халату. И это унижение рабством русский человек вымещает в дикой и зверской войне в Украине.

Но правда ещё и в том, что чувство справедливости, где-то в потаённой глубине, у русского человека есть. Поэтому он вернётся домой, обвешанный вещами и ворованными детскими игрушками, раздаст их жене и детям, а на следующий же день возьмёт, да и повесится. А перед этим ещё изобьёт вусмерть всех вокруг. Потому что жить рабу невмочь.

8 мая. Непобедное

Почти сразу же после 9 мая 1945 года сталинское государство сделало всё возможное, чтобы отнять у народа победу. Выходного в этот день не было, как мы знаем, до середины 60-х годов. Инвалиды и «самовары» (люди без ног и рук) были упрятаны в самые отдалённые места, по иронии – это были заброшенные монастыри. После войны сокрушительная борьба началась с интеллигенцией, туда же последовали не уничтоженные в фашистских лагерях евреи. Парадокс состоял в том, что интеллигенция проявила себя на войне с лучшей стороны. Интеллигентам нельзя было уже сказать, что они сидят на шее у простого народа, потому что они были со всеми вместе и в окопах, и на фронтах. Потребовалось изощрённое коварство, чтобы выбить у них почву из-под ног. Для этого был включен маховик постановлений: от Ахматовой, Эйзенштейна, Шостаковича до дела театральные критиков. Михоэлса

убили, возглавляемый им Антифашистский комитет расстреляли.

Государство всегда боялось и уничтожало даже самых лояльных своих интеллектуалов. Скорее всего потому, что это были люди, которые ничего бы не могли создать, выдумать, открыть, написать, не имея мало-мальской свободы. Ни мост построить, ни ракету запустить. Это вечная боль грубой государственной машины, которая хочет, чтобы её обслуживали безмозглые роботы (ну, типа наших пропагандистов); но таким образом никак не выходит каменная чаша. Натянув на свои лысые, старые головы ту победу, правители используют её послевоенную злобную маску, которая надевается только со сталинскими усами.

12 мая

Предчувствие большой российской беды очень давнее. И русский фашизм, и весёлый пророк его Жириновский, и мрачный Баркашов, и Дугин, преподающий в Генштабе — всё это сполохи будущей войны. За ними шёл российский бандитский мир, завоевавший экономику, политику и массовую культуру. Он взошёл на вечной русской тюрьме, от аввакумовой ямы до советского ГУЛАГа. Но на наших островках культуры, на выгороженных площадках полуевропейских городов, мы чувствовали себя хотя и в резервации, но всё-таки уютно. Делай, твори, пробуй! Выставки, книги, фестивали, концерты, книжные ярмарки, спектакли... Тёмное ходило и дышало рядом, и тогда мы, пока было можно, выходили на митинги и грозили кулаком. Оно точечно бросалось на нас то здесь, то там. Но всё это было настолько размазано, так растянуто во времени, что понимание большой беды для всех наступало фрагментарно. Глобального ужаса у просвещённой части общества не случилось даже после 2014 года.

Я удивляюсь по сей день, что удавалось открыто писать в книгах о сталинизме и подступающем фашизме; удавалось открыто говорить на выставке, посвященной Евгению Шварцу, о драконе и об униженной им стране. Это была какая-то гибридно-размытая тактика государства, поселившая нас в псевдосвободную резервацию.

Вспомните, как на большие вечера «Знамени» приходил Сергей Караганов, строивший из себя либерала, но призывающий теперь к ядерной войне. Как на «Большой книге» выступали Нарышкин и прочие ястребы войны. Это можно было бы представить как жизнь животных в раю, где

звери ещё ели то там, то здесь травку - и не бросались друг на друга.

Надо ли было делать выставки, писать книги, участвовать в ярмарках? Надо. Потому что это была часть хоть и слабого, но сопротивления. На нас всех напали 24 февраля так же внезапно, как и на Украину. Мы двадцать лет ожидали этого нападения, но оказались к нему не готовы. Многим ещё предстоит понять, как из маленьких удобных компромиссов складывается большая подлость. Как из небольших уступок и желания «просто жить» складывается смерть и конец всего, что ты растил и любил. Как, уступая в малом, ты проигрываешь в большом.

Никому не хотелось соединять культуру и политику. Но культуру втоптали железным сапогом в грязь, и осталась одна политика. Политика войны.

13 мая

Одно из сильнейших впечатлений этой войны - это «прослушки» разговоров российских солдат со своими родственниками. Пропаганда кричала, что это чуть ли не голливудская подделка. Нет, друзья; кто жил в России, ездил в глубинку, бывал в пионерлагере, лежал в государственных больницах, служил в армии, - мгновенно узнаёт свой национальный код, замешанный на непрерывном мате, горделивом петушином кукарекинии и одновременном нытье. Самое страшное - это рассказы о сотворённых солдатами чудовищных убийствах. Им почему-то необходимо об этом говорить и говорить. Они рассказывают об этом женам и матерям, пытаюсь сделать из этого что-то героическое, но время от времени прорывается с истеричным хохотком: «Мы тут мирных заваливаем».

Путин долго старался и из забытых, неразвитых людей вытащил зверя-людоеда. Играл на их самых низких струнах, возбуждал хамство, злобу, зависть. И совсем скоро этот свихнувшийся зверь вернётся и пойдёт гулять по России. Так начинался 1917 год. От убийства командиров на фронтах до горящих усадеб и всепожирающего кровавого колеса. До пожаров особняков чиновников и знати осталось совсем немного.

И ведь всё написано, всё сказано, все предупреждения вынесены. Собственно, культура за этим и нужна, чтобы объяснять и предупреждать. Как хороший врач. Но, если не хотят слушать предупреждений, считают всё это

«культуркой» и развлечением - всё будет повторяться, как страшный сон.

18 мая

Думаю, что самый современный нынешним событиям художник - Питер Брейгель-старший. Недаром он предстал (может, как предупреждение) несколько лет назад перед публикой в Вене. И «Триумф смерти», и «Вавилонская башня», и «Безумная Грета», сеющая смерть, пожары и гибель, и тупые, деревянные лица обывателей, такие же деревянные, как башмаки на ногах - на «Деревенской свадьбе». И всё-таки главная тема почти всех картин - это люди, которые видят только то, что находится перед ними, занятые только собой. А на фоне их слепой жизни - несут Крест, распинают Христа, Мария оседает на руках учеников. Падает Икар. Крупные, поворотные события заговариваются, затираются бытом, пустословием, повседневностью. Так было всегда. И это длится и длится.

Это я о плененных бойцах «Азова». История это очень и очень серьёзная. Потому что все они уже стали национальным мифом. А посягать на героев мифа - чистое безумие. Но ведь нет такой мерзости, которую ещё не сделали и не сделают.

А ещё есть частная жизнь, и в ней много всего происходит. И пальма смотрит в окно. Рядом на проводах сидят зеленые попугаи и разговаривают резкими голосами.

В январе в ежедневнике были записаны какие-то планы: о подготовке выставки, о работе в архиве над книгой, и ещё что-то занимательное. Но жизнь обладает изощрённым чувством юмора. Она показывает человеку, что он может жить без ничего, только с небольшим чемоданом, где лежит самое необходимое. Оказывается, можно существовать без семейных фотографий, без книг, без архивов. Только жить, дышать и говорить. Частная жизнь теперь идёт параллельно, где-то на обочине. И всё, что прежде писалось про историю и литературу, - теперь будет только рифмой к Киеву, Мариуполю, Харькову, Буче и т. д., и т. п.

21 мая

Когда-нибудь иной России потребуется на что-нибудь опереться, найти что-то достойное в своей истории. С царями, большевиками, и даже с разными писателями - всё, как говорится, неоднозначно. Но были люди по-настоящему прекрасные, незатёртые, с которыми можно

будет начать жить сначала. К примеру, князь Дмитрий Иванович Шаховской - либерал, создатель кадетской партии, отрекшийся от своего титула, продавший имения отца, чтобы его дети не выросли «барчуками» и не впитали в себя «вредный помещичий дух». Он остался после революции в России, чтобы развивать кооперацию и спасти страну от голода. Внучатый племянник П. Я. Чаадаева, пушкинист. Один из участников "приютинского братства". Именно он уговорил своего друга Вернадского вернуться в советскую Россию. Зря, конечно.

Родная сестра Шаховского, бывшая фрейлина императрицы Наталья Оржевская, осталась в России; в 1930-е годы покупала хлеб и отправляла посылками в Украину, поражённую голодомором. Конечно же, Дмитрия Ивановича посадили и расстреляли. Пороги Лубянки обивал Вернадский. Он писал Берии: «Я дружен с Дмитрием Ивановичем почти 60 лет. Всё время мы прожили друг с другом душа в душу, находясь в непрерывном, ни разу не нарушенном идейном общении... Д. И. Шаховской — один из самых замечательных людей нашей страны, глубокий, широкого образования, искренний и морально честный демократ. Мне 77 лет. Я по себе знаю, как хрупка организация стариков в зависимости от внешних условий жизни. Выдержал ли испытание организм Дмитрия Ивановича? Здоров ли Дмитрий Иванович Шаховской?.. Очень прошу Вас ответить мне». Конечно, Берия Вернадскому не ответил.

Старика мучили многочасовыми стоячими допросами. Потом расстреляли. Его сестра Наталья поехала вслед за своей ученицей в казахстанскую ссылку, там и умерла. Его зять Михаил Шик, катакомбный священник, расстрелян на том же Бутовском полигоне. Его дочь Анна была секретарём Вернадского, а до этого - сосланного в Дмитров Кропоткина. Вторая дочь, Наталья Шаховская, - была исключительной личностью; писала, спасала и растила детей - умерла во время войны от чахотки.

Почему-то особенно стыдно перед ними, - теми, кто верил в Россию и положил за неё душу и тело...

22 мая

Мария Иосифовна Белкина, которая много мне рассказывала про войну, работала в 1945 году в комитете, расследовавшем зверства немцев. Он был создан при Совинформбюро. Это был огромный ангар, всё

пространство которого уставлено ящиками с фотографиями. Фотографии были взяты у пленных или мёртвых немцев в их вещах или в карманах; эти снимки хранились вместе с семейными фотографиями. На них были изображены казни, расстрелы, мучения множества людей. Удивительным было то, что эти фото лежали вместе с портретами пухлых младенцев и любимых жён. Дополнительный ужас состоял в том, что такие фотографии нередко посылались домой, жёнам.

Мария Иосифовна готовила на основании этих материалов особый альбом, чтобы представить его союзникам. После нескольких месяцев работы её психика начала ломаться; ей становилось всё хуже и хуже. Наконец, её вызвал директор и сказал, что надо срочно покинуть комитет, потому что она может сойти с ума, как и произошло с её прежними коллегами. И хотя Мария Иосифовна ушла с этой службы, ей удалось составить очень важный документ: альбом с ужасающими фотографиями, который на женском конгрессе в 1945 году она, как сотрудник Совинформбюро, показала Клементине Черчилль, жене премьер-министра Великобритании.

Я не могу избавиться от мысли, что среди моих сограждан оказалось огромное количество садистов, насильников, душегубов, злодеев, убийц, которые не только вторглись на чужую землю, но после всего, что знала цивилизация, после победы над фашизмом, «решили повторить» фашизм в его самом отвратительном виде. Уверена, что все фронтовики, которых я знала, с отвращением бы отвернулись от нынешних «з-освободителей». Я это знаю абсолютно точно.

28 мая

Интересно, что Сталин первый стал уничтожать не только «длинную» память (предки, прошлое, заслуги); он разрушал и «короткую» память. Истории Гражданской войны и октябрьского переворота переписали, создав лживо-лаконичный учебник «Краткий курс истории ВКП(б)». Но с особенным блеском уничтожали историю вчерашнего дня. К примеру, многие советские писатели дни и ночи работали над книгой о Беломорканале; этот том готовился как подарок к XVII «съезду победителей» и 1-му съезду писателей. Дорогое издание, фотографии Родченко, лучшие перья страны, всё под редакцией Горького. А через два года все, кто владел этой праздничной книгой, должны

были её уничтожить. Или, в крайнем случае, вырезать-замазать в ней 10-20 фамилий. Простите, но ведь только вчера все те, о ком рассказывала книга, были героями, бравыми чекистами, руководили великой стройкой? Теперь же сами чекисты расстреливали своих же собратьев и большую часть «съезда победителей». Книг с фамилиями врагов народа, как и самих врагов - не должно было существовать. А вчерашнюю (двухлетнюю) память необходимо было стереть.

Эти механизмы сегодня используются в ином ключе. Произносится огромное количество безответственного бреда и чепухи, который слушатели стирают из памяти, чтобы не сойти с ума. Один бред покрывается и полностью дезавуируется другим бредом. Поэтому никто уже не спрашивает: как же так, вы же только что говорили это и это? На Западе поначалу ещё всплывали руками. Вы же утверждали, что никогда не нападёте, что у вас тут учения?! Но наши люди, генетически обученные, вопросов не задают. Ну и что, что говорили? Просто мы хитро обманывали врага. Он же первый напал бы.

Насилие над «короткой» памятью так же отвратительно, как и уничтожение прошлого. Потому что по умолчанию считается, что ты разделяешь такую форму насилия над собой. Мы тут все ежедневно лжём, и наплевать, что говорили вчера; а ты молчи и делай вид, что тебя это не касается.

31 мая

Не получается не думать о матерях и жёнах, продающих жизнь своих детей и мужей за обещанные миллионы. Хотя, скажем честно, им придётся долго выбивать эти серебряники из родного государства. А ведь эти же люди боялись, что их чипируют прививками, бились за свою независимость от вакцинации...

Такая нравственная мутация произошла из-за полного безоговорочного забвения большинством населения мучений и массовой гибели их предков; коллективизации, лагерей, расстрелов и нечеловеческих условий существования. Сколько раз я слышала: «Ну, у меня тоже раскулачили, расстреляли (бабушек, дедушек, родителей), что же теперь, нам не жить? плакать? каяться? Хватит уже про тёмное, страшное, грустное; было ведь и хорошее, светлое, - дружили, созидали, побеждали...».

Сочувствие, даже к родным и близким, - к тем, кто превратился в пыль истории, - так и не пришло; почему же надо теперь жалеть детей, мужей? Человек, который не связан с прошлым, неминуемо на каком-то этапе убивает будущее своих детей. И тут не так важно, продаёт ли он их за семь миллионов государству, или, голосуя за Путина и прочих упырей, обрекает на долгие муки в погибающей стране.

Президент говорит

Эта история произошла осенью 2010 года во время иерусалимской сессии «Лимуд» - специального проекта, придуманного Хаимом Чеслером, одним из самых успешных и опытных сохнутувских деятелей.

С Хаимом я познакомился еще в конце 80-х годов прошлого века, когда он возглавлял Общественный Комитет поддержки советских евреев. Это была в чистом виде «крыша» Бюро по связям "Натив", которое через этот Комитет могло проводить публичные акции. В нескольких из них приняли участие и я с женой, поскольку ее родители тогда все еще находились в отказе.

Как-то раз мы пришли к финскому посольству в Рамат-Гане. Было это в году 1988-м, когда дипломатические отношения, разорванные СССР с Израилем после Шестидневной войны, еще не восстановили, и в финском посольстве находился «израильский сектор», то есть сотрудник советского МИД, представлявший интересы СССР в Израиле. Мы постояли с плакатами под окнами посольства, а Хаим что-то кричал на английском .

Вторая акция произошла в том же году, незадолго до праздника Песах, возле американского посольства. Прямо на тель-авивской улице Аяркон, где находилось здание посольства, Комитет устроил символический седер в честь советских евреев, которых не выпускали из СССР.

Я поехал в Тель-Авив, надев свою шляпу, которую в свое время «выходил» в шляпном магазине на Дерибасовской. Я так часто заходил в тот магазин и просил оставить мне одну шляпу, буде они поступят в продажу, что мне ее таки оставили. И хоть была она не черного, как требовалось, а темно-синего цвета, форма ее вполне соответствовала тем, которые носили израильские ортодоксы.

Сотрудники Комитета расставили перед зданием посольства столы, на них положили пластмассовые тарелочки с какой-то едой. Хаим суетился – давал интервью газетчикам, расставлял фотографов. А потом из посольства вышел высокий господин с пасхальной Агадой в руках, и с криво сидевшей на лысоватой голове черной

кипой - американский посол. Я уже не помню его фамилию, но это был какой-то очередной еврей. Поэтому меня не удивило, когда он начал на вполне сносном иврите подпевать Хаиму одну из пасхальных песенок.

На этом седере я получил «боевое крещение» - моя физиономия впервые попала в израильские СМИ. Несмотря на странный цвет одесской шляпы, какой-то фотограф принял меня за ортодокса и попросил придвинуться поближе к послу. Так, в качестве ортодокса, долженствующего символизировать собой единство нации в борьбе за свободу советских евреев, я оказался на одной из первых страниц «Едиот ахронот».

В третьей акции Хаима приняла участие моя жена. Это была голодовка детей и внуков стариков-отказников, которых не выпускали из СССР. Моя супруга честно голодала, но даже в несколько ослабленном состоянии нашла в себе силы пойти вместе с делегацией Комитета (которую, естественно, возглавлял Хаим) на прием к Шуламит Шамир - супруге тогдашнего премьер-министра.

Встреча состоялась в доме премьера, и в ее начале мадам Шамир, как это летом принято в любом израильском доме, предложила всем прохладительные напитки. Но моя супруга мужественно отказалась: «Я же пощусь». Шуламит была приятно удивлена — значит, акция все же не чистая показуха. После завершения встречи Хаим сказал моей жене, оказавшейся чуть ли не единственным реально голодавшим членом большой группы «постившихся»: «Молодец, это было очень важно».

После этого я сталкивался с Хаимом то на общих тусовках, то в ходе неудачной попытки Натана Щаранского избраться на пост главы Сохнута в 2005 году. В декабре 2009-го мы провели вместе несколько дней в Берлине, на конференции, организованной ВКРЕ (Всемирным Конгрессом Русскоязычных Евреев). Нас возили от одного еврейского места к другому, а мы без конца говорили с Хаимом, который очень забавно комментировал новости Сохнута и израильской политики. Его явная симпатия ко мне была продиктована, конечно же, не нашими былыми встречами. Он, без сомнения, помнил меня возле Щаранского, и поэтому считал его человеком. А такие детали Хаим замечал сразу и не забывал никогда.

После многих лет работы в Сохнуте, где он был, в частности, одним из первых руководителей представительства этой организации в России, и находился

в Москве во время путча ГКЧП, Чеслер решил свить собственное гнездышко. Для этого он придумал программу «Лимуд». Суть программы заключается в том, что в каком-то городе, где проживали русскоязычные евреи, устраиваются в течение нескольких дней занятия на еврейские темы. Охват тем огромный - история, язык, проблемы современного Израиля, политика, искусство. Приглашаются лучшие лекторы, знаменитые люди. Таким образом, русскоязычные евреи Одессы, Москвы, Биробиджана, Ужгорода или Нью-Йорка могут, при желании, за два дня прослушать целый курс лекций на интересующие их израильские и еврейские темы, причем совершенно бесплатно, и из уст прекрасных лекторов. Для оплаты всего этого хэппенинга Хаим сумел залучить ряд спонсоров. Главным из них был Мэтью Бронфман – один из самых богатых людей Израиля, крупнейший владелец акций банка «Дисконт» и израильской ИКЕА.

В июле 2010 года очередная сессия «Лимуд» состоялась в Иерусалиме, в сохнутовском кампусе Кирьят-Мория.

Я прибыл на первый день этого мероприятия часов в 5 вечера, задолго до открытия, поскольку у Натана были назначены несколько встреч и выступлений. Сперва он отвечал на вопросы каких-то американцев. Эту встречу вел главный редактор «Джерузалем пост» Давид Горовиц, и она транслировалась по спутниковому телевидению на несколько десятков еврейских общин США. Поэтому Хавив Гур, главный пресс-секретарь Сохнута, очень волновался и тоже прибежал заранее.

Но меня интересовало другое - почти сразу после этой панели Натан должен был встретиться с главой парламентской оппозиции, лидером партии «Кадима» Ципи Ливни. Я пришел заранее, чтобы посмотреть: и где находится зал панели, и где - место встречи с Ципи, чтобы провести Натана из одного места в другое, не путаясь и не ища дорогу. С точно такой же целью приехал и русскоговорящий пресс-атташе «Кадимы» Роман Гуревич.

Мы встретились во дворе Кирьят-Мория. Во дворе были установлены столы, за которыми со своим товаром расположились представители всевозможных фирм, работающих с русскоязычной публикой, в том числе и книжных издательств. За одним я увидел Пинхаса (Петю) Полонского, главу широко известного всем русскоязычным израильтянам религиозно-просветительского общества

«Маханаим», единственной серьезной организации религиозных сионистов - выходцев из СССР-СНГ.

Я сразу же подошел к нему; с Петей меня связывала давняя дружба, начавшаяся еще в мае 1982 года, когда в квартире одного из его учеников, расположенной неподалеку от московской станции метро «Юго-Западная», мне подпольно сделали обрезание. А на следующий день после обрезания именно Петя помог мне в московской синагоге в первый раз в жизни правильно наложить тфиллин.

Когда я стал советником министра абсорбции Юлика Эдельштейна, Петя тут же попросил о встрече со мной и просто криком кричал: «Спасите «Маханаим», мы на грани закрытия!» Я пошел к Юлику, он нашел какие-то деньги, которые помогли «Маханаим» продержаться.

Одной из моих обязанностей в качестве советника министра по делам диаспоры Натана Щаранского была связь с «Маханаим». Заключалась она в том, что я пробивал для «Маханаим» бюджеты на различные мероприятия, которые мы с Петей сами же и придумывали. Так, мы придумали и организовали операцию «1000 седеров», когда в тысяче семей русскоязычных евреев Германии провели впервые пасхальный седер..

Я дважды выезжал с Петей в Германию, побывал в нескольких общинах. После этих поездок я подробно рассказывал о плачевном положении русскоязычных евреев Германии Натану и главе его канцелярии Роме Полонскому. Может быть поэтому, когда Натан пришел в Сохнут, одним из его первых решений было создание специального отдела по работе с русскоязычными евреями Германии, - в основном с 60 тысячами еврейских юношей и девушек, находившихся на грани полной ассимиляции.

Увидев Петю в Кирьят-Мория, я, конечно, сразу подошел к нему. А он, увидев меня, радостно воскликнул:

- Ты уже видел мою новую книгу?

- За тобой, милоч, не уследишь, ты печешь их, как пирожки, - улыбнулся я.

- Ну да, ты скажешь, - возмутился Петя. - Как раз над этой, - высказывания рава Кука, - я работал много лет. Да ты ведь, собственно, слышал первые ее куски, когда мы проводили шабат во Франкфурте-на-Майне еще в 2004-м году. Вот, я тебе сейчас ее надпишу.

Петя быстро что-то написал в одной из книг, но подал мне две. Увидев мой недоуменный взгляд, объяснил:

– Вторую отдай Натану, я в ней надпись заранее приготовил.

Мы с Гуревичем выяснили, где находится комната проведения панели с американцами; кстати, Ципи Ливни сменяла в ней Натана, - и где намечена их встреча. После выступления Натана, которое прошло без каких-то острых вопросов, чему Хавив был несказанно рад, я отвел его на место встречи, где мы, попивая спокойно водичку, дожидались Ципи.

Наше ожидание затянулось. Я начал вызванивать Гуревича, и выяснилось, что он уже на пути к нам. Телохранители Ципи забраковали комнату, в которой первоначально была намечена встреча. Им не понравилось, что комната была на первом этаже, и ее окна выходили на небольшой газон с деревьями. Главе оппозиции полагалось только два охранника, которые не могли контролировать территорию за окнами. Поэтому они и перенесли встречу на второй этаж другого здания.

С Ципи я был знаком много лет и довольно коротко. На выборах Шарона против Барака в 2001 году она отвечала в штабе Шарона за работу с русскоязычной прессой, а я был в этом же штабе главой «цвет тгуот» - «группы быстрого реагирования». Поэтому я устроил ей несколько больших интервью в русскоязычной прессе - думаю, это были первые интервью Ципи Ливни на русском языке. Несколько раз я будил ее рано утром, чтобы согласовать реакцию штаба, которую следовало озвучить в «Утреннем дневнике актуальных событий» на радио РЭКА.

После поражения «Исраэль ба-алия» на выборах 2003-го года именно Ципи сменила Юлика Эдельштейна в министерстве абсорбции. К тому времени роман ИБА с «Ликудом» был в разгаре, - действительно, вскоре произошло слияние этих двух партий, - и Юлик рекомендовал ей меня в качестве советника по прессе, правда, уже только по связям с русскоязычными СМИ. Но помощницы Ципи, принимавшие у нас дела, сразу сказали:

– Она принимает на работу только членов Центра (ЦК) «Ликуда».

Кстати, первое, что сделали эти помощницы - несомненно, по указанию Ципи, - повесили в канцелярии министра большой портрет Владимира Жаботинского, духовного отца ревизионистов. Ципи считалась если не «принцессой» «Ликуда», то, по меньшей мере, принадлежала к партийной «аристократии» - ее семья

занимала многие годы видное место в ревизионистском движении.

И куда всё это подевалось, когда Ципи ушла, вслед за Шароном, в созданную им партию «Кадима»? Уж какими только словами не крыла Ципи тех самых членов Центра!.. Да и взгляды поклонницы Жаботинского претерпели существенные изменения: левее главы «Кадима», а потом партии со странным названием «Тнуа» («Движение») Ципи Ливни очень быстро осталась только леворадикальная МЕРЕЦ... Я не устал дивиться метаморфозам Ципи, и одновременно не переставал радоваться тому, что мое сотрудничество с ней не сложилось. Хотя она, после рекомендации Юлика, вроде бы хотела, чтобы я начал с ней работать, даже дала мне какие-то поручения. Но потом что-то не сложилось...

Через несколько месяцев я столкнулся с Ципи в предбаннике зала заседаний правительства. Я сопровождал Натана – министра по делам диаспоры, а Ципи, министр абсорбции, тоже пришла на заседание. Она подошла ко мне и спросила:

– Давид, ты с Натаном?

Вопрос был излишним; в этот предбанник могли попасть только тщательно проверенные ШАБАКом личные помощники министров. Я понял: она ощущает некую неловкость по отношению ко мне и хочет что-то сказать.

- Конечно, с Натаном, с кем же здесь я еще могу быть, - ответил я.

- Жаль, что у нас не получилось, - сказала Ципи. - Я даже не понимаю, почему... я так хотела...

Я только развел руками, мол, что случилось - то случилось, а про себя подумал: «Ну да, красавица, так я тебе и поверил. Если бы ты действительно так хотела, то всё бы вышло...».

Увидев меня, входящего вместе с Натаном в комнату сохнутовского корпуса в Кирьят-Мория, Ципи, естественно, первым делом протянула руку Натану, а потом спросила у меня:

- Как дела, Давид? Всё в порядке? Я давно тебя не видела...

- Всё в полном порядке, слава Богу, - ответил я.

Беседа Натана с Ципи длилась больше часа, а когда она завершилась, уже нужно было идти на площадку в центре кампуса, где установили трибуну и несколько десятков

рядов стульев. С минуты на минуту должна была начаться торжественная часть - песни, речи, приветствия.

Вечер вели популярный телерадиожурналист Ярон Декель и не менее популярная актриса театра «Гешер» Евгения Додина. Я стоял возле сцены и ждал, пока, наконец, Натан не произнесет свою короткую речь-приветствие и покинет территорию. Только тогда я мог уйти.

Было уже около 10 часов вечера, и я еле держался на ногах. А сесть было негде - все места оказались занятыми. Пошатываясь от усталости и боли в ногах, я буквально считал минуты. И вот, наконец, Натан выступил. Я приготовился уйти, но тут вызвали на трибуну президента страны Шимона Переса. «Ну, ничего, еще пять минут; сколько уж там Перес будет говорить», - подумал я. Но я ошибся. Перес вышел на трибуну и начал даже не речь - просто беседу с публикой. Он неторопливо рассказывал о своем детстве, о радиопередачах на русском языке, которые слушал в детстве, о встрече с Солженицыным в Москве.

- Мне сказали, что он антисемит. Глупости!

Перес со вкусом перечислял друзей Израиля.

- Вот, говорят, весь мир против нас. Неужели? Давайте подсчитаем. Индия против нас? Нет, за нас. А Китай? Тоже нет. Вот вам сразу два с половиной миллиарда человек. Европа против? За нас, за нас. Соединенные Штаты и Канада? И они с нами! Кто же остается? Арабы и несколько стран третьего мира. И это называется, что против нас всё человечество? Наоборот, всё человечество как раз с нами!

Каждая в отдельности мысль Переса была умна, интересна, да и говорил он прекрасно. Но речь его длилась бесконечно, нарушая уже не только регламент, а и нормы приличия. Прошли пять, десять, двадцать минут. Ко мне подошел помощник Натана Мошико Ревах, племянник знаменитого израильского комедийного актера Зеэва Реваха.

- Этому же конца и края нет, - полусмеясь-полузлясь, шепнул он, - Натан давно должен быть на заседании городского совета Иерусалима, где решается важный для Сохнута вопрос.

- Забудь, - ответил я. - Не может же он встать и выйти во время речи президента.

- Понятно, - вздохнул Мошико. - И самое главное, что Перес, похоже, вовсе не думает закругляться.

Хотя по регламенту Пересу отвели пять, максимум десять минут, он проговорил без остановки сорок пять. Такое наплевательское отношение к расписанию я могу объяснить только одним - старческим маразмом. Не только у меня, у многих возникло тогда странное ощущение: всё, что говорит Перес, вроде бы нормально, более того, очень интересно. Но сорок пять минут неоспоримо свидетельствовали: со стариком что-то не в порядке.

Наконец он закончил свое выступление. Все пропели «Аतिकву», и Натан уехал. Я на негнущихся ногах доковылял до машины и отправился в неблизкий путь домой, в Ришон ле-Цион.

На следующий день я спросил у Мошико, успел ли Натан на обсуждение важного для Сохнута вопроса.

- Кадахат (лихорадка), - кратко ответил Мошико. - Когда мы приехали, заседание горсовета уже закончилось....

Второй раз в подобной ситуации я оказался спустя два года. 21 октября 2012 года тель-авивский колледж имени Левинского (у Моники Левински нет никакой связи с этим сионистом) праздновал свое столетие и открытие нового учебного года. На торжественную церемонию пригласили мэра Тель-Авива Рона Хульдаи, Шимона Переса и Щаранского. Глава Сохнута оказался в числе приглашенных потому, что колледж находился под покровительством Сохнута.

Вообще, чем больше я работал в этой организации, тем больше узнавал о ее бесконечных дочерних компаниях и о связанных с Сохнутом самых диковинных учреждениях и фондах. Не только колледж, а даже «Биньяней ха-Ума»-главный зал страны, где проводились самые важные мероприятия, вроде «Евровидения», тоже относился к Сохнута. Объяснялась эта загадка довольно просто: мировое еврейство десятилетиями давало деньги Израилю через Сохнут.

На церемонии в колледже Пересу вручили мантию и звание «почетного воспитателя». Облаченный в эту мантию и в дурацкую квадратную шапочку, Перес подошел к трибуне и начал говорить. Как и во время иерусалимского «Лимуда», его речь была насыщена шутками, в том числе и по поводу самого себя, воспоминаниями и постоянной связью с актуальными событиями. Слушать его было одно удовольствие. Так, например, Перес вспомнил, что многолетний министр иностранных дел в правительстве Бен-Гуриона, а потом и сам премьер-министр Моше Черток

преподавал турецкий язык в колледже «Левинский». Но отличался Черток тем, что говорил на великолепном иврите.

- И вот однажды, - рассказал Перес, - глава парламентской оппозиции Менахем Бегин, выступая в Кнессете с критикой правительства, сказал: «О, какой великолепный иврит у Чертока! И какая скверная политика. Лучше бы было наоборот!»!

Перес рассмешил всех, кроме меня, перечисляя достоинства Израиля.

- Мы маленькая страна, в которой нет никаких природных богатств, кроме еврейских мозгов. Есть у нас три моря, да и то одно - Мертвое.

Зал взорвался от смеха, а я сидел молча – шутку про три моря я неоднократно слышал еще в 1995–1996-м годах, когда, будучи членом журналистской "тревелинг пресс" израильского премьер-министра, сопровождал Переса в его заграничных поездках.

И точно так же, как на выступлении на вечере «Лимуда», Перес не мог остановиться. Он говорил, и говорил, и говорил... Казалось, что всё, речь заканчивается, поскольку он начал благословлять публику и желать ей успехов. Все встали, ожидая, что, завершив очередную фразу, Перес сойдет с трибуны и выйдет из зала. Но не тут-то было. Дедушку заклинило, и он продержал зал стоя минут пять. И когда, наконец, бесконечная речь президента закончилась, все вздохнули с облегчением.

В третий раз эта ситуация повторилась в начале апреля 2016-го года. Сохнут отмечал 20-летие своей программы городов-побратимов, и в Израиль приехали 150 еврейских активистов со всех концов мира, в основном из Северной Америки. Их принимали на широкую ногу: была встреча с президентом Руби Ривлиным, поездки по городам-побратимам, во время которых активисты своими глазами увидели, как работают в Израиле программы, в которых они принимают участие у себя дома. Последним аккордом была встреча в Центре мира имени Шимона Переса с самим Пересом.

Я приехал пораньше в Яффо и, запарковав машину, прошел к концу стоянки, выходящей на море. Я знал, что там есть скамеечка, и намеревался посидеть на ней минут пять. Но скамеечка оказалась занятой – на ней сидел Натан. Центр Переса расположен прямо на берегу моря в Яффо, и не полюбоваться этим видом было невозможно.

Еще до встречи Хагит, пресс-секретарь Сохнута на иврите, меня предупредила:

– Ты не можешь выпустить фотографии Переса без согласования с его пресс-службой.

«Неужели он так плохо выглядит?» - подумал я.

Перес, действительно, еле двигался. За ним повсюду следовала помощница, поддерживавшая его под локоть. Но когда Перес уселся на стул в центре сцены и взял в руку микрофон, он преобразился. И прочитал целую лекцию про историю еврейского народа – начиная от Моше-рабейну, заканчивая нынешней политической ситуацией. И опять - всё, что говорил он, было очень интересно и умно. Но говорил он без остановки 40 минут!

Больше я с Шимоном Пересом не сталкивался, он скончался несколько месяцев спустя.

Не судьба

Смурным октябрьским утром душный вагон метро вёз меня на работу. Настроение было тоскливое: предстояло в который раз объяснять начальству, почему убеждения не позволяют мне вместе со всем коллективом выйти на демонстрацию 7-го ноября, держа в руках здоровенный портрет какого-нибудь партийного вождя.

С невесёлым выражением лица вошел я к нам в отдел – и был встречен хором восклицаний: "Михаил Маркович, наконец-то! Звоните немедленно домой, ваша старшая дочка уже телефон оборвала! Плачет...".

Сердце у меня ёкнуло – что там стряслось за этот час, как я из дому вышел? Звоню и слышу захлёбывающийся голос:

- П-п-апочка, тебе звонили из ОВИРа, срочно вызывают, папа, что бу-у-удет?!

- Спокойно, Сашуля, не переживай, я только месяц назад у них очередной отказ получил, ну что ещё они нам сделают?

- Папа, она сказала – нам разрешили! Что нам теперь делать?

Положил я трубку – и кубарем на выход, на печально известную всем ленинградским евреям-отказникам улицу Желябова.

Месяц пробежал в отъездных хлопотах, большая часть которых вспоминается сегодня с улыбкой, но тогда, поверьте, было нам не до смеха.

И вот настал с содроганием ожидаемый день досмотра "дальнего багажа". Несмотря на бессовестные поборы, которыми советская власть облагала уезжавших евреев, деньги у большинства оставались, и иногда немалые. С собой же разрешалось брать только по 90 долларов на душу. Остальное надо было превращать в разрешённые к вывозу вещи и "малой скоростью" отправлять в Израиль – в основном, чтобы там этими вещами пользоваться, но большей частью – чтобы продать. По рукам ходили списки ходовых товаров, составленные ещё в семидесятых годах на основе опыта так называемых «прямоков», которые в Вене сворачивали с израильского маршрута и на несколько месяцев оседали в окрестностях Рима, ожидая разрешения

на въезд в США или Канаду. Там они и сбывали местным спекулянтам свои гаванские сигары, фотокамеры "Зенит" с навороченной оптикой и польские туристические палатки. В нашем же багаже, изрядно отощавшем за годы сидения "в отказе", главную ценность составляли пианино "Красный Октябрь" и десяток любовно подобранных собраний сочинений (на пианино до сих пор поигрывают три поколения нашего семейства, из собраний остался неприкосновенный десяти томник Пушкина). Остальной наш багаж – посуда, упакованный в пенопласт фарфор-хрусталь и так называемые "мягкие вещи", расставаться с которыми не пожелала моя теща: «В крайнем случае будет что на пол положить и чем укрыться». Она была мудрая женщина, которой много раз в жизни доводилось совершать вынужденные переезды...

На грузовую таможенную, находившуюся в конце Лиговского проспекта, я поехал один, решив побережь нервы жены и старшей дочери. Сначала процесс пошёл довольно быстро и вполне ожидаемо – по опыту знакомых отказников, подвергшихся ему в предыдущие дни. Несколько изданных до войны и доставшихся от бабушки с дедушкой книг, накануне разрешённых к вывозу экспертом Публичной библиотеки, были, тем не менее, объявлены культурным достоянием СССР, изуродованы соответствующим штампом и возвращены мне. Та же участь постигла фарфоровую статуэтку, изображавшую персонажей басни Крылова "Кот и повар", и ещё пару подобных вещиц. И вот очередь дошла до тещиных "мягких вещей" – двух пуховых перин и нескольких подушек. Таможенники принялись по очереди засовывать их в здоровенный серый шкаф, украшенный символом радиационной опасности и соответствующей надписью – наподобие тех, что позже стали применяться для просвечивания багажа в аэропортах. Не лишённые своеобразного профессионального юмора, ребята в серой униформе между собой называли угрюмый агрегат "бухенвальдом". Одна за другой мягкие вещи исчезали в пасти "бухенвальда" и через несколько секунд благополучно вылезали обратно. Ничто, как говорится, не предвещало - и я, изрядно наскучив противной процедурой, сидел себе и позёвывал на стуле у стенок досмотрового помещения...

...как вдруг "бухенвальд" оглушительно зазвенел и замигал красной лампочкой! Таможенники с

торжествующим воплем "Есть!" вскочили со своих стульев, а я, похолодев, замер на своём.

Тут самое время упомянуть, что буквально за несколько дней до того в газете "Вечерний Ленинград" появилась заметка под рубрикой "Из зала суда". Оказывается, отдельные граждане злонамеренно используют гуманное отношение советского государства, разрешающего им выезд в Израиль для воссоединения с родственниками, и пытаются вопреки закону вывозить из СССР драгоценные камни и металлы! Вот и недавно была пресечена попытка супругов Р. припрятать среди своего домашнего скарба ювелирные изделия на сумму в несколько тысяч рублей. Но советские таможенники не дремлют, и незадачливые контрабандисты были схвачены с поличным. Теперь им не скоро придётся увидеться со своими тель-авивскими родственниками.

«Как хорошо, что нам нечего прятать среди домашнего скарба, а и было бы – ну не такие же мы идиоты, чтобы, по примеру воробьяниновской тётки, запихивать бриллианты в стулья или там в подушки!» – единогласно решили мы с женой и тёткой, обсудив противную статью у себя на кухне.

Но теперь, под звон "бухенвальда" и под леденящими взглядами таможенников (к которым тут же присоединился милицейский майор), червячок сомнения зашевелился в голове. В жене-то я был уверен, но вот тётка... Случаются ведь у пожилых людей проблемы с памятью... Вдруг ещё много лет назад, готовясь к несостоявшемуся тогда отъезду, она припрятала-таки в перине колечко или серёжки, да и запамятовала с тех пор...

Лихорадочные размышления были прерваны вежливо, но с ехидцей заданным вопросом:

- Ну что же, гражданин Черейский, добровольно выдадите спрятанные для незаконного вывоза предметы, или нам продолжать досмотр?

- Я бы, конечно, добровольно выдал, если б знал, что выдавать. Насколько мне известно, ничего мы там не прятали...

- Ну, конечно, это святым духом оно туда попало! Спрашиваю повторно, на этот раз с занесением в протокол: будете выдавать? Молчите? Ну что ж, товарищи, приступаем к изъятию. Вас, гражданин Черейский, прошу оставаться, где сидите, и воздерживаться от резких движений.

Вся груда мягких вещей была извлечена из "бухенвальда", и туда принялись их засовывать поодиночке. Первая подушка – нет, не звенит. Вторая пошла – мимо. И так далее, пока не дошло у них дело до пухлой перины – тут и зазвенело, и замигало, только не хватало аплодисментов довольных собою блюстителей. Перина была водружена на огромный стол и распорота по шву, в результате чего стол оказался заваленным огромной горой пуха и перьев. В воздухе их тоже порядочно летало, и таможенники с демонстративной брезгливостью стряхивали их со своих серых кителей. Стали они копать в этой пуховой горе. Пять минут копаются, десять – ничего не находят. А сами уже все в пуху, морщатся, чихают... Наконец, догадались поделить гору на две части и половину засунуть в камеру. Мимо. Вторую часть снова располовинили, и таким путем после четвёртого деления добрались до маленькой звенящей и мигающей горки пуха, из которой и извлекли "незаконное вложение". Одна из таможенниц ухватила крохотный предмет пинцетом и издалека торжественно продемонстрировала мне. Вгляделся – да это же магендавид, погнутый и потемневший от времени. Теперь в довесок к контрабанде ещё и сионистскую агитацию пришьют...

Правда, тут же слегка отлегло от сердца - магендавид не выглядел ни золотым, ни даже серебряным. Это явно озадачило и таможенников: пошептавшись между собой, они открыли коробку с пузырьками и пипетками и покапали на подозрительный предмет каким-то реактивом. "Металл..." – донёсся до меня разочарованный шёпот. Я выдохнул и уселся поудобнее на своём стуле.

- Что это мы там у вас нашли, Михаил Маркович? – спросила таможенница, сменив тон на более человекообразный.

- Вы нашли, вам и следует знать, мы его туда не совали. А если б и засунули, что - разве запрещено?

- Да нет, это обыкновенное железо, мы его ещё поизучаем, но не похоже, чтобы представляло художественно-историческую ценность. Мы его, наверное, вам разрешим вывезти, но мы должны знать – для протокола – что это такое? Вы же в Израиль собираетесь выезжать, а это ихняя сионистская символика.

Вот эта "ихняя сионистская символика" меня и вывела из себя. Позабыв о данном себе обещании не вступать в бессмысленные дискуссии с представителями обрыдшей

власти, притом имея уже в кармане выездную визу, я огрызнулся:

- Вы бы сходили, в порядке повышения квалификации, на еврейское кладбище – там эту "сионистскую символику" на каждом надгробном камне увидите. А я теперь понял, что вы нашли в нашей перине, и как оно туда попало – но вам не скажу. И будьте любезны вернуть мне моё имущество в его первоначальном виде пуховой перины.

- Не скажете – ваше дело. Но этот "магендавид" мы тогда задержим для экспертизы, а она проводится в Москве и занимает не менее месяца. Придется вам либо визу продлевать, хе-хе, либо уезжать без этой вашей железки. А перину мы вам обратно зашьём, уж как получится.

Так и остался маленький жестяной магендавид в бывшем городе Ленинграде бывшей Страны Советов. Не довелось ему попасть в еврейскую страну после долгих странствий – с одесского Привоза, где его привязал к лапке кошерной курицы неведомый еврейский резник-шойхет, в мастерскую артели "Красный перинщик" в куче пуха и перьев от оципанных куриц. Оттуда – уже внутри пресловутой перины – в Сухуми на пароходе в толпе эвакуировавшихся из осаждённой Одессы. Потом, вместе со своей хозяйкой, побывал наш магендавид в Москве, перебрался в Ленинград... Но закончить свои странствия на земле, где Щиты Давида красуются повсюду, а не только на еврейских могилах – видать, не судьба ему была.

К столетию Бориса Алексеевича Чичибабина (1923-1994)

Он родился 9 января 1923 года (по новому стилю) в украинском городе Кременчуге. И всю жизнь прожил в Украине (в Чугуеве и Харькове), не считая военного времени и пяти лет лагерей (1946-1951). В лагерь он попал, конечно, за стихи. Лагерная пятилетка лишила его двух возможностей: закончить учёбу в харьковском университете и законным образом, т.е. браком, завершить свой роман с Марленой Рахлиной, также будущей поэтессой. По выходе из лагеря (ещё при живом Сталине) Борис Чичибабин (далее Б.Ч.) вынужден был выучиться какому-нибудь ремеслу, чтобы прокормиться. Он стал бухгалтером, в каком-то качестве поступил на службу в трамвайно-троллейбусное управление Харькова.

Началом серьёзной поэтической работы Б.Ч. считал год 1946-й, когда сочинил стихотворение «Красные помидоры»; так его прозвали читатели, а сам автор оставил без заголовка, но с ныне широко известным, дважды повторенным двустишьем «Красные помидоры/ кушайте без меня». Любопытно, что в том же 1946-м было создано ещё одно сильное стихотворение - «Еврейскому народу», с мощной концовкой, которая при первом чтении потрясла меня тремя последними двустишьями:

*Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
Не водись я с грустью золотой и горькой,
Не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
Не войди я навек частью безымянной
В русские трясины, в пажити и в реки,
Я б хотел быть сыном матери-еврейки.*

К евреям у поэта всегда было особое отношение. Об этом свидетельствуют несколько более поздних стихотворений: с 11-го по 13-й «Сонетов любимой», «Памяти друга» (Ш. И. Шарова), «Галичу» (1974) и «Посмертная благодарность А. А. Галичу» (1988), а также «Дай вам Бог с корней до крон...» (1971) – прощание с российскими евреями, уезжающими в Израиль, и «Чуфут-Кале по-татарски значит Иудейская крепость» (1975).

Впрочем, не только к евреям. К русским, украинцам, татарам, армянам, прибалтам. Русским посвящено большое позднее (1992) стихотворение «Россия, будь!». Украинцам – «Лине Костенко» (1993, два стихотворения), татарам – маленькая поэма «Крымские прогулки» (1961), армянам – четыре «Псалма» (1982-1985) и проза «В сердце моём болит Армения» (1991), прибалтам – шесть стихотворений: «Таллинн» 1970), «Рига» (1972), «Бах в Домском соборе» (1972), «Улыбнись мне еле-еле...» (1972; ода посвящена прибалтийскому посёлку Саулкрасты), «Литва – впервые и навек» (1973), «Республикам Прибалтики» (1990). Особняком стоит стихотворение «С далёких звёзд моленьями отозван...» (1970), порождённое впечатлениями поэта от статуи Христа в литовском лесу. Вообще Б.Ч. был человеком без каких-либо национальных предрассудков.

И к животным он относился нежно и трепетно. Есть у него «траурное» стихотворение «На Жулькину смерть» (1964), с характерной строкой: «Прости меня, собачка, что я тебя не спас», и тогда же написанная великолепная ода «Верблюд» («Из всех скотов мне по сердцу верблюд...»), а позднее – «Ода воробью», концовка которой такова: «Поэты вымерли, как туры,/- и больше нет литературы». Но литература и в том числе поэзия по-прежнему существуют, чему подтверждение – последующий творческий путь самого Б.Ч.

Он прожил 71 год без 25 дней. Писать стихи начал в возрасте 6-7 лет (по воспоминаниям его младшей сестры – Лидии Алексеевны, которая сохранила /частично/ детский и юношеский архив брата). Однако сам поэт считал началом серьёзной поэтической работы – повторю это – год 1946-й, когда сочинилось стихотворение «Красные помидоры кушайте без меня...»

В своём анализе я опираюсь на итоговый сборник Б.Ч. «В стихах и прозе», вышедший в издательстве «Наука» (серия «Литературные памятники») в 2013 году, т. е. спустя девятнадцать лет после смерти поэта. Это издание подготовлено Л. С. Карась-Чичибабиной и Л. Г. Фризманом. Из него, в частности, отчётливо видно, что Б.Ч. писал не только оды, но и инвективы. «Кого-то держат в кандалах, как при Малюте.// Я только-только дотяну/ вот эту строчку,/ а кровь людская не одну/ зальёт сорочку./ <...>/ Какое пламя на плечах,/ с ним нету сладу,/ принять бы яду натошак,/ принять бы яду. // Как смертью руки сведены,/ как

смертью – веки,/ так все живём на свете мы/ в двадцатом веке» («Живу на даче. Жизнь чудна...» (1966; а в двадцать первом?) В этом жанре потрясающе: «Проклятие Петру» (Великому, 1970), «Клянусь на знамени весёлом...» (1959; рефрен – «Не умер Сталин»; повторено шесть раз), «Крымские прогулки» (1961; концовка: «Когда ж ты родишься,/ в огне трепещи,/ новый Радищев –/ гнев и печаль?») и многие другие, вплоть до одного из самых поздних (1989) – «Скользим над бездной, в меру сил других толкая...»

Попытаюсь внятно разобрать второе стихотворение диптиха «Лине Костенко» (1993). В нём идёт речь о значении в поэзии национального фактора. «Городами древними славна/ Русь моя – Украина,/ а другая русская страна/ растеклась бескрайно./ Ей земля у хаты не мила,/ канув дымной горсткой,-/ к шири страсть она переняла/ у орды монгольской». Это означает, что не стоит России так гордиться своими просторами – в ущерб Украине. А с другой стороны, что Русь соблазнилась Азией, т.е. задалась целью расширить свою и без того значительную территорию. Б.Ч. считает, что такой соблазн грешен: «...сколько помню, столько и молюсь:/ Господи, прости ей!» (Руси). Одно утешает: в этом (опять же слава Богу) «за царей ответ не понесут/ ни Толстой, ни Пушкин».

Здесь стоит отметить, что Пушкин поссорился с польским поэтом – своим прежним другом Адамом Мицкевичем: тот отнюдь не приветствовал аннексию Россией Восточной Польши, включая её столицу Варшаву. И другое: российским наместником Польши был Константин Романов, брат царствующего в России Александра Первого. Когда тот перешёл в мир иной, на царский трон должен был по старшинству пересесть Константин. Но тот отказался, а российская элита и, главное, войска опередили отказ, присягнув Константину. Хорошо известно, к чему это привело. Им приходилось повторить присягу, только уже другому претенденту на трон – Николаю, что показалось им западло. В итоге «вылупилось из гнезда» декабрьское восстание 1825 года, которое ничем хорошим не закончилось. Николай сделался императором, а декабристы... Пятерых повесили, остальных отправили – кого в ссылку, а кого и на каторгу. А ещё они едва ли не все были друзьями Пушкина. Спустя некоторое время он отправил им своё «Послание в Сибирь».

Далее следует центральная строфа стихотворения Б.Ч «Лине Костенко-2» (всего в нём 13 строф):

*На одно я в мире обопрусь –
На родное слово,
Украина, Киевская Русь –
Русскости основа!..*

(Между прочим, опора на родное слово прокламируется и в ряде других стихотворений Б.Ч.)

*Вот и значит, Лина, что на том,
Что на этом свете,
Мы один и тот же вспомним дом,
Материны дети.*

...А сегодня русские и украинцы рассорились, уверив себя в том, что они – дети разных (и взаимно враждебных) матерей.

Эти слова Б.Ч. звучат особенно актуально на фоне нынешней агрессии России против Украины. Поэт считает, что за свою бескрайность Россия заплатила свободой, «грозным царством встала супротив/ самой себя же». Утешение одно:

*Но, коль позовёт на Страшный суд
Кроткий счёт кукушкин,
За царей ответ не понесут
Ни Толстой, ни Пушкин.*

Поставив рядом Украину и Киевскую Русь, автор настаивает на тождественности этих понятий. Более того, он рискует утверждать, что они – дети одной матери, т.е. родные сёстры. Так это или не так, один Бог знает. Во всяком случае настоящее утверждение Б.Ч., будто в едином доме русские и украинцы равны между собой («В доме том господствовать и клясть/ чуждо горней воле»), сегодняшним фактам, когда русские ведут против Украины агрессивную и захватническую войну, мало соответствует. По словам Путина, «Украину выдумал Владимир Ильич Ленин». Но кто выдумал поэта Лесю Украинку (1871-1913); она, кстати, в отличие от Путина, вышедшего из простонародья, – дворянка.

Короче говоря, Украина была, есть и, надеюсь, будет, хоть и изуродованная российскими ракетами.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ В ИЗРАИЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Андрей Зоилов

Удивительная книга для особенных евреев

(Об издании «Настольная книга крымчака», Иерусалим, 2022, сост. М. Гурджи; авторский коллектив)

Евреи - многонациональный народ. Казалось бы, это оксюморон, преувеличение, ерунда, навет. Но всякий, кто жил в Израиле и ходил по оживленным улицам, знает, какими разноликими бывают евреи – темнокожими и белокурами, умными и хитрыми, корпулентными и худощавыми. И говорят они практически на всех языках мира. Определением и установлением принадлежности конкретного человека к еврейскому народу занимаются многие организации – от министерств до раввинатов и службы «Хевра кадиша». И вы думаете, они всегда угадывают? Гораздо важнее – кем человек считает себя сам.

Раньше в Израиле господствовала теория «плавильного котла»: возьми любого еврея, брось его в котёл израильской жизни - и со временем он или хотя бы его потомки станут настоящими израильтянами. Теперь, похоже, она сменилась теорией «наваристого супа»: брось еврея в котёл израильской жизни, брось рядом с ним и другого – и можно получить с них жирный навар, но морковь останется морковкой, а редиска – редиской. Человек сохраняет свою самоидентификацию, оставаясь не только частицей конкретной общины, но и становясь при этом неотъемлемой частью израильского гражданского общества. Наглядной иллюстрацией состоятельности этой теории выглядит «Настольная книга крымчака», вышедшая в свет в минувшем, 2022-м году в Иерусалиме.

Эта книга с момента своего появления стала библиографической редкостью. Её не найти в книжных магазинах; она выставлена на продажу только на интернет-страничке изготовителя – «Студии Клик». Но это становится понятным, если учесть, насколько тесна, сплочена, родственна и доброжелательна выпустившая это издание община крымских евреев – крымчаков. Подготовленная с исключительной тщательностью, любовно оформленная и отредактированная, эта книга кажется своеобразным дипломом, членским билетом невероятно стойкого, гордого, много перестрадавшего, но сильного духом сообщества – удивительной части великого и вечного еврейского народа.

Крым – жемчужина природы, истинный перл мироздания, красивейшее курортное место, всемирная здравница – и оккупированная земля, ставшая в XXI веке яблоком межгосударственного раздора и ожидающая решения своей судьбы в битве украинского народа с российскими агрессорами. Интернет – мощнейшее средство массовой информации, всемирная коммуникационная сеть, международная компьютерная паутина – и одновременно гигантская площадка для пропаганды, ставшая в XXI веке кладбищем и хранилищем как достоверных, так и недостоверных сведений и предвзятых мнений. Именно поэтому доверять следует только лично проверенным сайтам. А то ведь можно прочесть в Интернете, что на территорию Крыма претендуют не только Россия и Украина, но и еврейское государство – на основании того, что евреи издавна жили в Крыму. Израильское сообщество крымчаков создало свой сайт <https://krymchaks.info>, позволяющий подробно ознакомиться с историей, повседневной жизнью и лучшими представителями этой замечательной общины. А лучшие представители в ней – практически все.

«Крымчаками называют старожильческую иудейскую общность, сформировавшуюся из нескольких разнородных еврейских общин, оседавших на Крымском полуострове начиная с XIII века, и говоривших на диалекте крымскотатарского языка. В чем же уникальность крымчаков? Безусловно, она заключается в многогранности и сложности многовекового процесса происхождения общности. История формирования крымчакской общины уходит корнями в далекое прошлое. Первые еврейские поселенцы появляются в Крыму в античное время, не позднее второй половины I века н. э. Проживали на

полуострове евреи и в эпоху раннего Средневековья. Однако же у нас нет совершенно никаких сведений о евреях в Крыму ни в XII, ни в первой половине XIII века. Насколько справедливо утверждение, что предками крымчаков являются именно еврейские мигранты античного времени и раннего Средневековья? Увы, на данный момент эту связь доподлинно установить не удалось», - сообщает «Настольная книга». Сложностью многовекового процесса возникновения общности крымчакская община удивительно соответствует всему еврейскому народу в целом. Настоящие моряки утверждают, что даже в стакане морской воды при желании можно увидеть величие и мощь океана; так же настоящие историки умеют найти связи и параллели между событиями далёкого прошлого и нынешними днями. И то, что ныне евреи Крыма объединяются для сохранения своей автохтонности и исторической памяти именно в Израиле – очень благотворно для Израиля, но, должно быть, щемяще печально для Крыма.

С неослабевающим интересом читаются страницы «Настольной книги крымчака», рассказывающие о выдающихся раввинах прошлого, о жизни общины, об истории еврейских школ и еврейских колхозов в Крыму. Немало внимания уделено трагическим, в буквальном смысле смертоносным дням Катастрофы европейского еврейства. Вот что пишут исследователи: «Из числа подлежащих уничтожению категорий крымского населения были исключены караимы. Еще до начала Второй мировой войны, 5 января 1939 года, Ведомство генеалогических исследований Рейха (Reichsstelle für Sippenforschung) пришло к выводу о том, что караимы не являются частью еврейской религиозной общины. Свою роль в этом сыграли публикации о тюрко-хазарском происхождении восточно-европейских караимов. По этой причине среди жертв Холокоста в Крыму караимов практически не было. Узнав о том, что караимам удалось выдать себя за тюрков, керченские крымчаки во главе с И. С. Кая также попытались представить себя в качестве потомков хазар, т. е. тюрков, принявших иудаизм в средневековый период. 26–27 ноября 1941 года они передали нацистской администрации ряд документов, в которых доказывалось их якобы нееврейское происхождение. Увы, провести нацистов не удалось. Аналогичную попытку предприняли и крымчаки Симферополя. Шамес (служка) крымчакской синагоги по

фамилии Лехно также попытался представить крымчаков как «отдельную национальность, более близкую к татарам, чем к евреям». В начале декабря 1941 года меморандум с доказательствами нееврейского происхождения крымчаков уже был подготовлен; остается неизвестным, успели ли крымчаки передать его немецким властям до расстрела. Так или иначе, эта попытка спастись также не увенчалась успехом».

Но мужественные люди сопротивлялись, как умели. «Устные источники сообщают, что во время вывоза на расстрел пожилой крымчак Ешвакай Пиастро убил посохом одного из солдат, за что был расстрелян тут же вместе с женой. Ноах Ломброзо убил немецкого офицера, забрал его пистолет и переоделся в униформу. После этого сел в машину, прибыл на место расстрела и уничтожил еще двух немцев, пока и сам не был убит на месте».

Воздать славу героям и увековечить память павших – важная, но далеко не единственная цель и тема этой книги. В ней рассказывается о живых: о наших современниках-крымчаках в Израиле и Соединённых Штатах; об обычаях и общинных традициях, о праздниках и буднях, о национальной одежде и интернациональном веселье. Большой раздел «Персоналии» подробно повествует о выдающихся людях общины – как уже ушедших от нас, так и ныне здравствующих. Есть в «Настольной книге крымчака» обширный, вдохновенный и аппетитный раздел кулинарных рекомендаций и рецептов, но его я просмотрел бегло – чтобы не захлёбываться слюной. Есть поговорки и пословицы, стихи и притчи. Приведен даже начальный курс крымскотатарского языка из семи уроков. И показался он мне гораздо проще и понятнее иврита. Но освоить его пока не смог, а дальше рассуждать об этом предмете не смею, чтобы не уподобиться персонажу народной притчи, также опубликованной талантливыми исследователями:

«Сидят пожилые крымчаки, беседуют о вреде курения. Один говорит: «Бросил я!» Другой говорит: «И я бросил!» Случившийся здесь же малыш лет четырех-пяти тоже свое слово вставил; важно так заявляет: «И я бросил!» С той поры так и повелось: кто суется в разговор о деле, ему совершенно не знакомом, пожилые говорят: «Монька тутун ичме ташлады!» («Монька курить бросил!»)».

Роман Кацман
Елена Промышлянская
Алексей Сурин

Дневник событий русско-израильской литературы. Октябрь-декабрь 2022

В полном объеме дневник публикуется на сайте кафедры еврейской литературы Университета им. Бар-Илана по-русски и на иврите (<https://hebrew-literature.biu.ac.il/en/diary>).

2 октября 2022

В израильском издательстве «Книга-Сэфер» вышел сборник стихов поэта Юлии Драбкиной «Времялов». Для Драбкиной, уроженки Гомеля, репатриировавшейся в Израиль в 2000 году, это третий поэтический сборник. Драбкина – лауреат конкурса «Ветер странствий» (Рим, 2010) и конкурса им. И. Бродского «Критерии свободы» (Санкт-Петербург, 2014).

6 октября 2022

Израильское издательство «Книга-Сэфер» выпустило сборник стихов Михаила Дынкина «Ослепшие звёзды». Первая поэтическая книга Дынкина, репатриировавшегося в Израиль в конце 1980-х годов, вышла в Москве в 2007 году. Затем поэт опубликовал ещё шесть сборников, последний из которых, «Елена красит небо», вышел в московском издательстве «Водолей» в 2020 году. В 2018 году за книгу «Метроном» Дынкин получил специальную студенческую премию Центра новейшей русской литературы РГГУ в рамках номинации «Лучшая поэтическая книга 2018 года на русском языке».

11-12 октября 2022

В Иерусалиме в рамках музыкально-поэтического фестиваля «Ушпизин», прошедшего в «Бейт-Конфедерация», состоялось два мероприятия, организованные Гали-Даной Зингер и Некодом Зингером. 11 октября прошёл вечер «Дань поэзии украинского народа», во время которого Гали-Дана и Некод Зингеры, при участии музыкантов Йонатана Нива (виолончель) и Илии Маазия (духовые инструменты), прочли собственные переводы из украинской поэзии.

12 октября прошёл вечер «Да умножит и прибавит: дань уважения Иосифу Бродскому», где прозвучали стихи Бродского («Еврейское кладбище около Ленинграда», «Венецианские строфы» и др.) на русском языке в исполнении Некода Зингера, и в переводе на иврит, выполненном Гали-Даной Зингер. Участие в вечере приняла израильская группа «Ice Nokki», организованная репатриантами из России Юлией Гарниц и Антоном Дмитриевым. Дуэт исполнил музыку собственного сочинения, написанную на стихи Бродского. Ведущей вечера выступила израильский поэт Нурит Зархи.

13 октября 2022

В тель-авивском книжном магазине «Бабель» состоялась презентация нового романа писателя и арт-терапевта Елены Макаровой «Шлейф». Макарова прочла фрагменты из романа и ответила на вопросы публики.

14 октября 2022

В издательстве «Rugram» вышла книга Давида Маркиша «Быть как все». В аннотации к роману указывается, что его действие происходит на фоне «перестройки» и развала Советского Союза конца 1980-х — начала 1990-х годов. Герои повествования на осколках империи ищут и находят свой собственный путь в Землю Обетованную. Впервые роман был опубликован в 1997 году в №12 журнала «Знамя».

18 октября 2022

Вышел в свет №60 журнала «Зеркало». Открывают выпуск подборки стихов российских поэтов: Валерия Леденева, Данилы Давыдова и др. Раздел «Молодая израильская поэзия» составили стихотворения Тино Мошковица, Ларисы Миллер, Иегуды Визана и Мерхава Иешуруна в переводах с иврита Евгения Никитина. Раздел прозы представлен отрывком из новеллы израильского писателя Хаима Асы «Письма вождю» (в переводе с иврита Геннадия Гонтраса), повестью русско-французской писательницы Ольги Медведковой «Алиса в Лазури» и повестью российского писателя Антона Заньковского «Село Гоморровка и его обитатели». Кроме того, в номере опубликована переписка американского писателя Генри Миллера с русским поэтом-футуристом Давидом Бурлюком, и другие материалы.

20 октября 2022

В книжном магазине «Бабель» в Тель-Авиве состоялся поэтический вечер Юлии Драбкиной и Михаила Дынкина. Израильские поэты представили свои новые книги стихов: Дынкин сборник «Ослепшие звёзды», а Драбкина — «Времялов».

24 октября 2022

В сети вышел новый, четвёртый по счёту, номер журнала ROAR (Russian Oppositional Arts Review, «Вестник оппозиционной русскоязычной культуры»). Русскоязычные израильские авторы представлены в выпуске подборками новых стихов Гали-Даны Зингер и Евгения Никитина. ROAR, как подчёркивает его редактор Линор Горалик, имеет дело с «тем сегментом русскоязычной культуры, у которого всё это время хватает сил сопротивляться», находить новые формы для выражения протеста.

27 октября 2022

В иерусалимском кафе «Маленький принц» состоялась презентация нового, 39-го, номера журнала «Двоеточие». Открывая вечер, главный редактор издания Гали-Дана Зингер подчеркнула, что номер отражает текущую ситуацию в мире после начала полномасштабной войны России против Украины, а одним из важнейших материалов выпуска стал «Разговор о месте и времени», где авторы журнала, отвечая на вопросы друг друга, попытались задокументировать происходившее с ними после 24 февраля. Участниками презентации стали авторы 39-го номера.

27 октября 2022

В российском «Издательстве Ивана Лимбаха» вышла антология «Поэзия последнего времени». В антологию вошли тексты русскоязычных поэтов, написанные с февраля по июль 2022 года. Составителем антологии выступил Юрий Левинг. В книгу включены произведения более сотни поэтов, среди которых есть и русско-израильские авторы: Гали-Дана Зингер, Лена Берсон, Геннадий Каневский, Семён Крайтман, Сергей Лейбград, Лена Рут Юкельсон.

5 ноября

В возрасте 83 лет ушла из жизни писатель, переводчик и сценарист Светлана Шенбрунн. Она родилась в Москве в

1939 году, в 1962-1964 годах училась на Высших сценарных курсах, затем работала сценаристом на московском телевидении. Репатрировалась в Израиль в 1975 году. Печаталась в журналах «Время и мы», «Грани», «Континент», «22» и других. В 1990 году в иерусалимском издательстве «Экспресс» вышел первый сборник рассказов Шенбрунн «Декабрьские сны». Затем у писательницы выходили сборники короткой прозы «Искусство слепого кино» (Иерусалим, 1997), а также романы «Розы и хризантемы» (Москва, 2000), «Пилюли счастья» (Москва, 2010), «О, Марианна!» (2016–2020, «Иерусалимский журнал»). В 1999 году Шенбрунн стала одним из учредителей и членов редколлегии «Иерусалимского журнала».

9 ноября 2022

В Иерусалимской русской городской библиотеке состоялся литературный вечер «Рассказ. Повесть. Роман», посвящённый публикации романа Давида Маркиша «Иллюзион@ГолосСвирели». Кроме самого Маркиша, в вечере приняли участие журналист и редактор Марина Концевая, писатель и журналист Лев Мелаид, журналист и редактор Валерия Михайловская.

9 ноября 2022

В издательстве «Beit Nelly» вышла в свет новая книга Юрия Маслова «Рождественская история». Автор репатрировался из Пензы в Израиль в 2003 году. Живёт в Ашдоде.

10 ноября 2022

В Иерусалимской русской городской библиотеке прошёл вечер под названием: «Александр Иличевский и Михаил Вайскопф: новые тексты». В рамках этой встречи Александр Иличевский прочёл свои новые рассказы, а литературовед Михаил Вайскопф представил аудитории собственную рецензию на роман Иличевского «Исландия», вышедший в свет в 2021 году и вошедший в длинный список российской литературной премии «Большая книга».

10 ноября 2022

В Ариэле, в клубе «А-лев А-хам» («Горячее сердце») прошла «творческая встреча за чашкой чая» с писателем и главным редактором журнала «Артикль» Яковом Шехтером. Он представил услышанные и записанные им хасидские

рассказы, описывающие особую обстановку и неповторимый образ жизни в разных уголках еврейской Галиции, между Польшей, Литвой и Украиной.

11 ноября 2022

В израильском издательстве «Книга-Сэфер» вышел новый сборник стихов поэта Феликса Чечика «Оптика». Чечик родился в 1961 году в Пинске, в Израиль репатриировался в 1997 году. Он автор нескольких книг стихов. В 2011 году Феликс Чечик стал лауреатом «Русской премии».

22 ноября 2022

В российском издательстве «Феникс» вышел новый роман Якова Шехтера «Он уже идёт». Книга, ставшая для писателя 30-й по счёту, повествует о «всевозможных вариантах пересечения человека и демонов: духовных, деловых и любовных».

27 ноября 2022

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялась презентация книги Михаила Книжника «Отгул», вышедшей в издательстве «Библиотека “Иерусалимского журнала”». Помимо самого Книжника, в вечере принимала участие писатель и историк литературы Наталья Громова. Михаил Книжник — поэт, прозаик и врач. В Израиле с 1995 года. Автор сборника стихов «Готовальня» (1991), сборника прозы «Записная книга» (2017).

Декабрь 2022

Вышел в свет №23 журнала «Артикль». Его открывает произведение Анны Файн «Повесть о Якове, Эйсаве и сыне его Остапе». Также в раздел «Проза» вошли рассказы Давида Маркиша, Шулы Примак, Михаила Вассермана, Якова Шехтера и других авторов. В поэтический раздел вошли стихи Татьяны Вольтской, Цви Патласа, Максима Д. Шраера, Сергея Лейбграда, Игоря Иртеньева и др. В номере опубликованы короткие рассказы ивритских авторов Этгара Керета, Узи Вайля и Натана Захави в переводах Александра Крюкова. В разделе «Хроники текущих событий в израильской литературе на русском языке» помещена заметка профессора Романа Кацмана о поэзии Рины Левинзон, ушедшей из жизни в июле 2022 года.

2 декабря 2022

В издательстве «Beit Nelly» вышла в свет книга Михаила Кречмера «Игуасу». Новый приключенческий роман описывает путешествие молодых израильтян по Южной Америке, в ходе которого они получают предложение посетить логово мафии.

3 декабря 2022

В издательстве «Beit Nelly» вышел в свет «сборник русско-израильских пьес» «Драматургия без границ». В этом сборнике представили свои пьесы пятнадцать драматургов. Составителем издания выступила Злата Зарецкая, комментарии которой сопровождают каждую пьесу.

5 декабря 2022

На русскоязычной радиостанции «Davidzon Radio», вещающей в США, вышла программа «Звёздные войны», в рамках которой её ведущая Сима Березанская взяла интервью у главного редактора журнала «Артикль» Якова Шехтера. Журналистка и её гость обсудили выход книг Шехтера в Польше в переводе на польский язык и реакцию польской публики на произведения Шехтера, интерес к еврейской истории и культуре со стороны жителей Польши, а также поговорили об особенностях еврейской жизни в Польше и за её пределами.

6 декабря 2022

В рамках Программы русско-еврейской литературы кафедры литературы еврейского народа в Бар-Иланском университете, состоялся круглый стол «О литературе и истории» с участием писателей Давида Маркиша, Александра Иличевского и Якова Шехтера, приуроченный к пятидесятилетию репатриации и творчества в Израиле Давида Маркиша. Вечер открыл руководитель Программы проф. Роман Кацман. Вёл беседу поэт и прозаик, докторант Алексей Сурин. 2022-й год стал весьма урожайным в творчестве участников круглого стола: вышли романы «Иллюзион@Голос свирели» и «В отказе» Д. Маркиша, переизданы его ранние книги «Присказка» и «Быть как все»; опубликован сборник «Точка росы» А. Иличевского и готовится к публикации его новый роман; увидели свет романы «Хождение в Кадис» и «Он уже идёт» Я. Шехтера, а также две книги переводов его произведений на польский

язык. Среди гостей круглого стола были такие писатели, как Наум Вайман, автор «Ханаанских хроник» и книг о Мандельштаме; Анна Файн, чья «Повесть о Якове, Эйсаве и сыне его Остапе» опубликована в №23 журнала «Артикль»; главный редактор журнала «Зеркало» Ирина Врубель-Голубкина; издатель «Liberty Publishing House» Илья Левков; профессор кафедры и писатель Бер Котлерман; директор системы библиотек Бар-Иланского университета д-р Ольга Голдина; научный ассистент Программы д-р Елена Промышлянская. За круглым столом обсуждался, в частности, вопрос: есть ли разница между писателем-эмигрантом и писателем-репатриантом? Выяснили, что есть, - и довольно значимая. Д. Маркиш подчеркнул, что отсутствие идеологических моделей и ожиданий - наилучшее подспорье для удачной и глубокой интеграции, Я. Шехтер упомянул о зове Земли Израиля, а А. Иличевский, согласившись с ним, рассказал о собственном чувстве «ботинок с крылышками». Обсуждая вопрос, должна ли литература сегодня отказаться от претензий на истину и познание реальности, - решили, что нет, не должна, но при этом Я. Шехтер показал на примере хасидской притчи, что вымысел бывает намного интереснее и правдивее реальности, а А. Иличевский высказал предположение, что мы стоим на пороге новой философии факта и вымысла. По вопросу, ставит ли жанр антиутопии (как, например, новый роман Д. Маркиша «Иллюзион@ГолосСвирели»), «диагноз» эпохе, - мнения разделились, но стало понятно, что если не эпохе, то авторскому восприятию и настроению — непременно. Желательно ли литературе опираться на исторически достоверные и точные детали? Здесь были высказаны две противоположные точки зрения; и Я. Шехтер, отстаивавший превосходство вымысла над фактами, тем не менее, в вопросе поэтики выступил сторонником скрупулёзного изучения исторического материала описываемой эпохи; А. Иличевский высказал убеждение, что и та литература, которая не опирается на детальную репрезентацию прошлого, всё же может стать историческим свидетельством эпохи. Вопрос о роли метафоры в современной литературе вызвал бурное обсуждение как особенностей русской и советской литературы, так и сегодняшнего состояния дел в российской культуре. Открытым остался вопрос о том, как текущая война России против Украины скажется на будущем литературы, не

говоря уже о будущем самих писателей — украинских, российских, белорусских и, конечно, израильских.

13 декабря 2022

В рубрике «Мнения» русскоязычного израильского портала Zohav.ru опубликовано интервью с Романом Кацманом, руководителем Программы по русско-еврейской литературе в Университете им. Бар-Илана. Вела беседу художник, поэт, писатель и бард Ирина Маулер. Учёный рассказал о своём опыте знакомства с русско-израильской литературой и взгляде на неё в контексте нынешнего кризиса литературы, о проблемах её перевода на иврит, о работе Программы и о связанных с ней научных проектах.

14 декабря 2022

В рамках Программы по русско-еврейской литературе в Университете им. Бар-Илана Елена Промышлянская защитила докторскую диссертацию на тему «Литература репатриантов 1990-х годов из бывшего СССР: символы прошлого и настоящего» (научный руководитель — Роман Кацман). В работе, написанной на иврите, рассмотрены произведения таких израильских авторов, как Яков Шехтер, Денис Соболев, Анна Файн, Леонид Левинзон, Дина Рубина, Ольга Фикс, Лев Альтмарк, Алекс Тарн, авторов более молодого поколения репатриантов, как, например, Виктория Ройтман и Виктория Райхер, а также авторов, пишущих сегодня на иврите, таких, как Рита Коган, Мила Кедар, Рами Марк Ром. В центре внимания исследователя находятся основные тенденции в процессах смыслообразования в израильской русскоязычной и ивритской литературе на фоне израильской действительности и глобальных явлений.

15 декабря 2022

В Иерусалимской городской русской библиотеке состоялся семинар из серии «С академической колокольни», в рамках которого Михаил Вайскопф, Зеев Бар-Селла и Елена Толстая поделились своими воспоминаниями об Израиле 1970-х годов и о собственном опыте репатриации. Михаил Вайскопф рассказал о том, каким увидел Израиль в 1972 году, о жизни в киббуце на границе с Египтом, поступлении в Еврейский Университет и учёбе у филолога-слависта Омри Ронена. Зеев Бар-Селла выразил мнение, что в 1970-е годы в Израиле сложилась уникальная ситуация возникновения высококачественной

литературы на русском языке без всякой связи с Россией, закончившаяся вместе с распадом СССР и восстановлением контактов с постсоветским пространством. Елена Толстая посвятила своё выступление описанию положения дел в академической среде Израиля 1970-х годов.

15 декабря 2022

В американском издательстве «Liberty» вышла книга Давида Маркиша «В отказе». Новая работа писателя посвящена событиям 1970-х годов, вспышке в Советском Союзе еврейского национального самосознания на волне победы Израиля в Шестидневной войне и последующим репрессиям против сионистов, которым советская власть отказывала в разрешении на выезд в Израиль. В книгу вошли новеллы о жизни московских отказников и их борьбе с тоталитарным режимом СССР.

16 декабря 2022

В российском издательстве «Corpus» вышел в свет написанный в 2018 году роман Вики Ройтман «Йерве из Асседо». В романе описывается история репатриации девушки-подростка Зои Прокофьевой, её путь из Одессы в далёкий Иерусалим. Новая обстановка заставляет её пересмотреть многие жизненные ценности и посмотреть по-новому на отношения между людьми. В силу трагических обстоятельств героиня романа вынуждена вернуться в Одессу. Возвращение в край её детства и встреча с семьей выявляют произошедшие изменения в её внутреннем мире. В данное издание вошли главы романа, содержащие реалистическую линию сюжета. По словам автора, в ближайшее время в Интернете будут опубликованы дополнительные главы романа, посвященные книге, которую пишет Зоя и которая призвана помочь ей в самовыражении и самопознании. Она пишет роман о дюке Кейзегала и его верном спутнике Йерве (еврей в обратном чтении). Зоин роман наполнен символами русской, советской и мировой культуры, из хаоса которых героиня пытается построить новую, упорядоченную картину мира.

21 декабря 2022

В иерусалимском кафе «Маленький принц» состоялась презентация романа Некода Зингера «Синдром Нотр-Дам». Книга, вышедшая в Израиле в декабре 2022 года, повествует о судьбах людей, нашедших прибежище в

«Нотр-Дам-де-Франс», гостинице для паломников, построенной неподалеку от стен Старого города в Иерусалиме в конце XIX столетия. Все герои романа по своему решают непростой вопрос самоопределения и строят запутанные отношения с реальностью разделенного Иерусалима середины 60-х годов XX века. Сюжет романа, ставшего для Зингера уже четвертым в его творчестве, развивается сразу в двух плоскостях: реалистической, сохраняющей многочисленные приметы места и времени, и фантастической, с элементами литературной игры и пародии. Гостями презентации стали израильские поэты и прозаики. Первым выступил писатель Александр Иличевский, прочитавший эссе «Tulipa Singeri» («Тюльпаны Зингера») из своего сборника эссеистики «Дождь для Данаи» (2010). Писатель и переводчик Нина Хеймец прочла свой рассказ «Перекрёсток пропавших без вести», а поэт Михаил Король — рассказ Н. Мушкина «Люди, гады, жизнь», вышедший в Антологии журнала «Двоеточие», раскрыв в конце, что под псевдонимом Мушкин скрывается Некод Зингер. Поэт, пишущий на идиш - Дов-Бер Керлер не стал читать тексты, а рассказал о своём отношении к Некоду Зингеру как к представителю «иерусалимской литературы», уникального явления в израильской прозе. Поэт Гали-Дана Зингер прочла стихи из цикла «Память», вошедшего в её книгу «Хождение за назначенную черту» (2009). Строчка из стихотворения: «Памяти забудки не позавидуешь» стала эпиграфом к первой части романа «Синдром Нотр-Дам». В завершение вечера Некод Зингер прочёл несколько фрагментов из своей новой книги.

24 декабря 2022

В сети вышел пятый по счету номер журнала ROAR (Russian Oppositional Arts Review, «Вестник оппозиционной русскоязычной культуры»). Существенную часть этого журнала составили микро-эссе на тему «Год, когда война», написанные различными русскоязычными писателями, поэтами, историками и литературоведами. В раздел «Проза» в основном вошли документальные тексты. В разделе «Стихи» опубликовано, среди прочего, стихотворение русско-израильского поэта Александра Бараша из его цикла «Стихи о постсоветском человеке». Поэт пытается осмыслить вернувшееся вместе с войной России против Украины чувство безнадежности, ранее, казалось бы, канувшее в Лету после эмиграции из

«внезапно открывшейся клетки» Советского Союза. Поэт Геннадий Каневский, репатриировавшийся в Израиль в мае 2022 года, представил подборку стихов, в которой, в частности, сравнивает текущую войну с Первой мировой, а также опубликовал стихотворение-заклинание: «чтобы всем стало тихо и весело... чтобы жизнь, как всегда - незаметная, не прошла».

26 декабря 2022

Опубликован в сети №40 журнала «Двоеточие». В него включена антивоенная поэзия, проза и графика, прежде всего выражающая в разнообразных формах, стилях и образах потрясение, трагическое недоумение и бессилие перед лицом развязанной Россией войны. Но в то время, как одни авторы пытаются собрать распадающееся бытие из осколков эмоций, историй, наблюдений, бытовых сцен, городов, мелькающих во время бегства, - другие находят в себе силы для философского и антропологического осмысления свершающейся на наших глазах катастрофы. Художественный авангард, отказывающийся сегодня различать поэзию и прозу, ищет новые языки, способные к исходу первого года войны преодолеть онемение. Монотематический номер «Двоеточия», включающий длинную (быть может, слишком длинную) галерею авторов-единомышленников, рисковал бы превратиться в музейно-монотонную антологию, если бы не традиционный для журнала поэтический «кибуц галуйот» — собрание изгнанных и рассеянных, — стремящийся, если воспользоваться образом одного из авторов номера Ивана Платонова, не позволить «убить возвращение».

30 декабря 2022

В новом номере (№9-12) украинского литературного журнала «Всесвіт» вышел роман Давида Маркиша «Иллюзион@ГолосСвирели» в переводе на украинский язык. Переводчиком романа-антиутопии, опубликованного в 2021 году, стал лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко, поэт и издатель Юрий Буряк. Также в Москве, в издательстве ФТМ, вышли две книги Маркиша: первая включает романы «Присказка» (первая публикация — 1978 год) и «В отказе» (2022); вторая книга — сборник рассказов «На полпути назад», в которую вошли как новые, так и ранее издававшиеся произведения этого автора.

Взгляд на 2022 год

Прошедший год запомнился нам как год жестокой войны в Европе. Эта война изменила многое и в мире, и в русскоязычном пространстве в частности, и побудила нас начать вести дневник событий русскоязычной литературы в Израиле, с тем чтобы зафиксировать и лучше понять то, что происходит в ней на данном этапе. Нисколько не стремясь к всеобъемлющему обзору, попробуем еще раз высветить и, возможно, подытожить некоторые явления, которые привлекли наше внимание за прошедший год.

В дневнике за 2022 год нами отмечена публикация 35 книг израильских авторов, пишущих на русском языке. Назовём некоторые из них. Из прозы: Денис Соболев «Воскрешение»; Дина Рубина «Эх, шарабан мой, шарабан...»; Давид Маркиш «Быть как все», «Иллюзион@ГолосСвирели», «В отказе»; Яков Шехтер «Есть ли снег на небе», «Он уже идёт», «Хождение в Кадис»; Александр Иличевский «Точка росы»; Линор Горалик «Чёрный огонь Венисаны»; Марта Кетро «Искала я милого моего»; Вика Ройтман «Йерве из Асседо». Поэтические сборники: Александр Бараш «Чистое счастье»; Лена Берсон «Начальнику тишины»; Гали-Дана Зингер «Всё, на что падает свет». В прозе тематика была, как всегда, весьма разнообразной: реалистические романы, мемуары, фантастика, фэнтези, справочники. Были изданы новые детские книги Марины Старчевской, Антонины Глазуновой, Рут Фейгель, Алины Лицинник. Интересным явлением стала двуязычная детская литература для семейного чтения. Выход новых книг сопровождался творческими вечерами и встречами, которые позволили читателям познакомиться с новыми авторами и встретиться с уже хорошо им известными.

Мы наблюдали публикацию переводов произведений Александра Любинского на польский язык; книга Елены Макаровой «Фридл» была переведена на немецкий язык. В Польше состоялось турне Якова Шехтера, во время которого он представил свои романы, вышедшие в переводе на польский: «Бесы и демоны» и «Однажды в Галиции». Роман Елены Минкиной-Тайчер «Эффект Ребиндера» и сборник повестей и рассказов Наума Ваймана были переведены на иврит и изданы в Израиле.

Израильские русскоязычные авторы участвовали в литературных конкурсах. Роман Дениса Соболева

«Воскрешение», выпущенный издательством НЛО в январе 2022 года, вошёл в длинный список премии «Ясная Поляна». Виктория Ройтман победила на конкурсе начинающих переводчиков имени Сони Баршилон. Леонид Левинзон был удостоен литературной премии им. Марка Алданова.

На протяжении года продолжали выходить и периодические издания. Вышли в свет четыре номера «Артикля». Майский номер стал результатом сотрудничества с одесским объединением «Зелёная лампа», и в этом номере были опубликованы произведения одесских и израильских авторов.

В сети были опубликованы три номера журнала «Двоеточие». Июльский номер был посвящен «украинскому проекту», и в нём были опубликованы стихи украинских авторов и их переводы на иврит. Сентябрьский номер также посвящен военной тематике. В него включён «Разговор о месте и о времени» – текст, в котором авторы отвечают на вопросы друг друга: что для них «чувство дома», был ли переезд в Израиль осознанным выбором или необходимостью, изменилась ли их творческая самоидентификация в связи с эмиграцией, и многие другие. В декабре был опубликован в сети №40, включающий антивоенную поэзию, прозу и графику.

Также были опубликованы два номера журнала «Зеркало». В №59 вошли произведения Анны Гринько, Михаила Гробмана, Алика Фукса, Александра Ганкина, Леонида Гиршовича и других авторов. В №60 опубликованы произведения Валерия Леденева, Данилы Давыдова, Семена Ромашенко, Кати Сим и др.

В прошедшем году опубликованы в сети пять выпусков нового журнала «ROAR» (Russian Oppositional Arts Review, «Вестник оппозиционной русскоязычной культуры») под редакцией Линор Горалик, который стал важной платформой для антивоенной литературы.

В 2022 году продолжились научные исследования русскоязычной израильской литературы. В рамках Программы русско-еврейской литературы на кафедре литературы еврейского народа в Бар-Иланском университете, состоялся вечер, посвященный переводу на иврит романа Елены Минкиной-Тайчер «Эффект Ребиндера», а также круглый стол «О литературе и истории» с участием писателей Давида Маркиша, Александра Иличевского и Якова Шехтера. Попытка

осветить некоторые явления, начавшиеся в русско-израильском литературном процессе после 24 февраля, была предпринята в статье научного ассистента проекта по истории русско-израильской литературы Алексея Сурина, опубликованной в израильском литературном журнале «Мознаим». В польском научном журнале «Studia Rossica Posnaniensia» опубликована статья филолога из Силезского университета в Катовице Мирославы Михальской-Суханек «Проза Анны Файн. Русско-израильская версия еврейского юмора».

В 2022 году русско-израильская литература понесла тяжелые утраты: ушли из жизни Игорь Бяльский, поэт, переводчик, редактор «Иерусалимского Журнала», а также издательского проекта и веб-сайта «Иерусалимская Антология»; Светлана Шенбрунн, писатель, переводчик и сценарист; Рина Левинзон, поэт и переводчик; Марьян Беленький, литератор, переводчик, журналист и сценарист; Алексей Цветков, поэт, публицист и переводчик; прозаик Вильям Богуславский; поэт Вадим Халупович, прозаик Александр Рыбалка. Светлая им память.

СТИХИ И СТРУНЫ

Ирина Морозовская

Чуть-чуть надежды.

О песнях Дмитрия Долгова

Эта колонка получится короче, чем мне бы хотелось. Чем заслуживает Дима многолетним творчеством, радующим, утешающим и печалаящим, воскрешающим память и переживания, будящим спящее – или, напротив, приближающем ожидающее нас. Хорошее приближающим, это важно. Даже когда через боль, через всхлипы и прерывистое дыхание. Короче - потому что свет у нас в Одессе теперь дают пару раз в сутки на пару-тройку часов, в которые нужно уместить всё, требующее электричества - стирку и готовку, работу по интернету и прочее.

И у Димы в Киеве света ненамного больше, если больше. Все мы сейчас проживаем войну и то, что она принесла. Нужно куда больше мужества и сил, чтоб справляться с жизнью. Одна из опор моих - песни Дмитрия Долгова. Уверена, что у доброго человека песни несут другой заряд, оттенок, привкус, что ли. У недобрых могут быть блестящие технически, остроумные, заводящие публику. Но чего-то такого нежного и точного, чистого и пронзительного там лучше и не искать. Дмитрий Долгов по профессии художник, и в картинах его тоже всё это есть. Из прецедентов в авторской песне, предшественников такого дара, я только Евгения Владимировича Бачурина могу вспомнить.

Раньше я бы начинала песенные цитаты с "Занавесочек", а теперь

"КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ АНГЕЛА",

<https://www.youtube.com/watch?v=mDAY-YriGg4>.

Ангелы наши все заняты сейчас сверхурочно, надо же и им колыбельные петь.

Ну и **"ЗАНАВЕСОЧКИ"**

<https://www.youtube.com/watch?v=2raas3-RYRU>

тоже сразу пусть будут. Я разные песни Димы пою, но вот "Занавесочки" сколько ни пыталась - плакать начинаю.

Диму я знаю много лет, точно даже не скажу, сколько. И все эти годы он ровно, спокойно и уверенно набирает силу, и

его дорога ведёт вверх. Вот эта для меня - из лучшей любовной лирики, что вообще существует:

НА ПОБЕРЕЖЬЕ

<https://www.youtube.com/watch?v=4dZGRWLI31s>

она сама поётся. И этой себя подбадриваю

"ПОЙ МОЯ ДЕВОЧКА, ПОЙ"

<https://www.youtube.com/watch?v=YDteA0wQrbo>

А вот тут концерт начинается с моей любимой

"ДОРОГА", а там и дальше захватывает:

<https://www.youtube.com/watch?v=L48ujA18vOU>

И очень любимый романс **"АХ, ПОЛЕТЕЛ ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ"**

<https://www.youtube.com/watch?v=tiAbknjhSYY>

Самое существенное сказал сам про себя Дмитрий в **"АВТОПОРТРЕТЕ"**

https://www.youtube.com/watch?v=tLGOcc_9dXs

Словами почти ничего не добавить. Просто послушайте. И картины на страничке Дмитрия Долгова посмотрите. Честно говоря - про чуть-чуть надежды - это из него цитата, потому что песни и картины дарят нам надежды, тепла, понимания мира и тихой радости много, много больше. Вот, делюсь.

БОНУС ТРЕК

Двойники

Александр Кабанов

Кто на землю с небес роняет
наши клавиши и педали –
это облако сохраняет
и копирует все детали.

Начиная с велосипеда
и заканчивая рулеткой –
мир вращается до обеда
на свободе, за яйцеклеткой.

И украдены облаками,
не дозревшие до финала –
мы становимся двойниками,
даже лучше оригинала.

Открывается глаз циклопий,
от тоски и вина косяя,
но ослепнуть ему от копий
хитромудрого Одиссея.

Мы с надеждой глядим на стены,
на иконы и гобелены,
а любовь – это часть измены,
не предательства, а измены.

Нас упрячут с тобой в пробирку
при любой всенародной власти,
нас размножат, как под копирку,
а потом разберут на части.

Ветры зимние завывают,
дети глазоньки закрывают,
а потом, тебя забывают,
до весны тебя забывают.

АВТОРЫ НОМЕРА

Нателла Болтянская – автор-исполнитель и журналист, живёт в Ришон ле-Ционе.

Элла Митина – сценарист, редактор, живёт в Нетании.

Рена Арзуманова – прозаик, тренер по теннису, живёт в Эверетт, штат Вашингтон.

Элишева Яновская – антрополог, живёт в Гинот Шомрон.

Элина Свенцицкая – филолог, литератор живёт в Анцио.

Александра Ходорковская – филолог, прозаик, журналист, живёт в Атланте.

Ирина Лемешева – музыковед, живёт в Петах-Тикве.

Алексей Слаповский – прозаик, драматург и сценарист, жил в Москве.

Иван Давыдов – псевдоним писателя, жившего в Москве.

Яков Шехтер – писатель, живёт в Холоне.

Михаил Юдсон – писатель, жил в Тель-Авиве.

Эдгар Керет – писатель, сценарист, режиссёр-постановщик, живёт в Тель-Авиве.

Рои Ешурун – прозаик, бизнесмен, общественный деятель, живёт в Ход Ашарон.

Александр Крюков – дипломат, переводчик, профессор МГУ, живёт в Москве.

Этимад Башкечид – журналист, писатель, переводчик, живёт в Баку.

Катя Капович – поэт, прозаик, редактор, живёт в Бостоне.

Елизавета Михайличенко – поэт, художник, живёт в Иерусалиме.

Ирина Маулер – поэт, художник, автор-исполнитель, живёт в Беэр-Яакове.

Елена Митрохина – филолог, юрист, живёт в Барнауле.

Дина Меерсон – поэт, блогер, живёт в Беэр-Шеве.

Дина Березовская – филолог, живёт в Беэр-Шеве.

Бахыт Кенжеев – поэт, живёт в Нью-Йорке.

Дмитрий Быков – писатель, поэт, журналист, литературный критик, живёт в Итака, штат Нью-Йорк.

Владимир Друк – поэт, изобретатель, специалист по информационной архитектуре, живёт в Нью-Йорке.

Феликс Хармац – сисадмин, поэт, живёт в Холоне.

Владимир Ханан – поэт, прозаик, художник, живёт в Иерусалиме.

Алексей Сурин – журналист, живёт в Иерусалиме.

Наталья Громова – прозаик, филолог, живёт в Реховоте.

Давид Шехтер – публицист, журналист, общественный деятель, живёт в Ришон ле-Ционе.

Михаил Черейский – научный работник, переводчик, эксперт Всемирной организации здравоохранения, живёт в Реховоте.

Михаил Копелиович – литературный критик, публицист, живёт в Маале Адумим.

Андрей Зоилов – псевдоним литератора, живущего в Тель-Авиве.

Роман Кацман – профессор кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Гиват-Шмуэле.

Елена Промышлянская – докторантка кафедры еврейской литературы Бар-Иланского университета, живёт в Ариэле.

Ирина Морозовская – психолог, бард, исследователь социума, живёт в Одессе.

Александр Кабанов – поэт, редактор, живёт в Киеве.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ

Яков Шехтер, Михаил Юдсон

Ответственный секретарь

Михаил Сидоров

Редколлегия: Катя Капович, Анна Мисюк, Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Давид Маркиш, Михаэль Барам, Денис Соболев, Роман Кацман, Давид Шехтер

Корректор: Кармит Кособурд

Сайт журнала: <http://www.sunround.com/article/>

Фейсбук: <https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

Почтовую корреспонденцию в «Артикль» можно отправлять по адресу: **Irina Mauler, Journal "Article", Beer Yaakov, Arava 76, 703000.**

Телефон: 050-9080348 (в Израиле)
(972)-50-9080348 (для заграницы).



מרכז למורשת יהודית בית המועצה

Центр наследия
евреев СССР

**ГОТОВЫ ЛИ ВЫ ПОМОЧЬ НОВЫМ
РЕПАТРИАНТАМ ИЗ УКРАИНЫ?**

**АССОЦИАЦИЯ "МААЛОТ" ИЩЕТ ВОЛОНТЕРОВ
ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ",
ПРИЗВАННОГО ОБЛЕГЧИТЬ РЕПАТРИАНТАМ ИХ
ПЕРВЫЕ ШАГИ В СТРАНЕ И ПОМОЧЬ СПРАВИТЬСЯ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕЖИТОГО ИМИ УЖАСА.**

**ЕСЛИ ВЫ ГОТОВЫ ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ
НАШИМ БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ – ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ:**

lev2lev@maalot.org



